

РУСЛАН
ТОТРОВ

Любимые
дети

Отсканировано
в октябре 2012 года
специально для эл. библиотеки
паблика «Бæрзæфцæг»
(«Крестовый перевал»).

Скангонд æрцыд
2012 азы октябры
сæрмагондæй паблик «Бæрзæфцæг»-ы
чиныгдонæн.

<http://vk.com/barzafcag>



НОВИНКИ·СОВРЕМЕННОСТИ

Руслан Тотров

Любимые
дети

Роман

«Современник»
Москва
1980

Тотров Р. Х.

Т63 Любимые дети: Роман. — М.: Современник,
1980. — 287 с. — (Новинки «Современника»).

Действие романа «Любимые дети» происходит в современной Осетии. Герои его — инженеры, рабочие, колхозники — представители разных поколений, связанные воедино личными и производственными отношениями.

Роман, написанный образным языком, в философско-иронической манере, несомненно, привлечет к себе внимание широкого читателя.

Т $\frac{70303-195}{M106(03)-80}$ 234—80 4702470000

ББК84.Кав

Как бы за столом сидит она, как бы сидит она за столом в нашем старом деревенском доме, а я сижу напротив и в то же время вижу себя как бы со стороны, вижу себя и ее, сидящими за столом, и слышу голос:

«Виновата я перед тобой».

Смотрю на нее, вижу лицо ее четко, как наяву, но это не явь, знаю, это впервые за тридцать прожитых мною лет снится мне мать.

«Да, виновата, — говорит она. — Видно, не так я тебя воспитывала, раз ты получился такой. — Помолчав в задумчивости, она подтверждает: — Да, да, такой».

Мне кажется, что это уже было когда-то, этот разговор, и я даже помню, что скажу сейчас.

«А может, виновата наследственность? — улыбаюсь. — Может, кто-то из наших предков был т а к о й?»

— Какой? какой? — вижу свою растерянную улыбку.

«Нет, — отвечает мать, — все твои предки — и по отцовской линии, и по моей — все были крестьяне».

Пахали землю и пасли скот — это не все, что кроется за ее словами. Были праведными людьми — вот, что она имеет в виду, и даже не в словах тут дело, а в том, как она произносит — к р е с т ь я н е.

«Да, конечно, — киваю и, пожав плечами, мол, что с меня взять? — изрекаю пословицу: Певец дом не построи́т».

Семьей не обзаведется, добра не наживет — никак не могу отделаться от улыбки.

«Ты не певец», — сердится мать.

П е в е ц — тоже слово не из простых, — размышляю я, — ох, непростое слово!

«Да, — соглашаюсь, — дом у меня есть».

Я говорю это уже не во сне, но и не проснувшись еще, а пребывая как бы и здесь и там.

Слышу: яростно скрежещет снег под ногами. Двое идут по тротуару мимо моего окна. Глухо бубнят голоса:

— Такой зимы в Осетии еще не было.

— Говорят, будто в тридцать третьем...

— В тридцать втором.

— Ну, да.

— Нет, та была послабее.

Знаю, пора вставать, а мать смотрит на меня, улыбаясь грустно, и я смотрю, но самого себя теперь не вижу. Зато вижу Чермена, старшего брата своего. Примостившись в углу на скамеечке, он что-то шьет: то ли сапог латает, то ли хомут чинит — сидит и шьет себе, а я, глядя на него, пытаюсь вспомнить, видел ли когда-нибудь его в безделье. Я вспоминаю, а он шьет, низко склонив голову, шьет спокойно и сосредоточенно.

«Чермен был единственным мужчиной в доме, — слышу голос матери и снова вижу себя. Сажусь за столом, подперев голову руками, смотрю на мать. В который уже раз она рассказывает об этом. — Господи, — вздыхает, — ему ведь только десять лет было, когда отец ушел на войну. Десять лет, а сколько на его плечи свалилось. Весь дом на нем держался».

Этого я не могу себе представить и никогда не мог, потому что когда мне было десять лет, я всего-навсего учился в четвертом классе.

«Отец ушел двадцать восьмого декабря, а ты родился двадцать восьмого мая. Ровно через пять месяцев. — Мать улыбается: — И еще три месяца ты жил без имени».

Голос матери звучит ровно, убаюкивающе, и я уже не вижу ни ее, ни Чермена, ни себя, все заволанивается тонкой мглой, остается только голос, но слова неразличимы — ауо-оу-ау-оу. Потом вдруг:

«Пока не пришло с фронта письмо».

Появляются новые интонации, мать как бы читает вслух:

«Назовите сына Аланом».

Слышу имя свое, и звучит оно не обыденно, а словно утверждаясь в мире — А л а н, — и я думаю об удивительной связи, существующей между мной и этим словом, этим обозначающим меня созвучием.

«Старалась, чтобы ты ни в чем не знал нужды. Думала: раз уж Чермену не суждено было, пусть хоть у тебя будет детство как детство».

Возникаю, вижу себя стоящим перед Черменом. Стою, не решаюсь взглянуть на него: я получил тройку по арифметике.

«У тебя одна-единственная забота, — говорит он тихо и бесстрастно, но меня будто жаром обдаёт, — одно-единственное дело — учеба».

Слышу:

«А получилось: тебе же во вред нянчилась я с тобой. Да, да, представь себе».

Усталое лицо матери. А Чермен все шьет и шьет — шило, игла, дратва, шило, игла...

Знаю — сейчас распахнется дверь, и в комнату стремительно войдет Таймураз. Я вызываю его — сон это или явь? — и он появляется, подходит к матери, обнимает ее.

«Дался тебе этот Алан, — улыбается, — чего ты с ним так носишься?»

«Отстань», — мать, хмурясь притворно, отталкивает его.

«Я ведь твой младший, — смеется он и снова обнимает ее — большой, сильный, — а раз младший, значит, и самый любимый. Так у людей бывает».

Смотрю на него и задумываюсь, осознаю впервые, что неспроста он выше меня ростом и неспроста мы оба выше и крупнее Чермена, что есть в этом жестокая закономерность.

«Так вот и получилось — не сумела я, не научила тебя относиться к жизни серьезно».

Улыбаюсь беспечно:

«Я и к себе самому не отношусь серьезно».

«Стыдно, — качает головой мать, — хоть бы Чермена постыдился».

Чермен отрывается от работы, медленно поднимает голову, проводит по щеке темной жилистой рукой, мигает беспомощно:

«Путаюсь я, не пойму, то ли братья они мне, то ли дети, — улыбается чуть заметно, — я ж ведь их обоих нянчил».

Виджу — ворота перед нашим домом распахнуты настежь, двор чисто выметен, перед домом, строгий и неподвижный, стоит Чермен. Люди заходят к нам во двор, останавливаются перед Черменом и, склонив головы, стоят в молчании. И Чермен молчит, мальчишка в куцем выгорев-

шем пиджаке. Постояв, пришедшие идут в дом, а с улицы во двор входят все новые и новые люди.

Вижу себя — помахивая хворостинкой, слоняюсь по саду. Отцветают вишни, падают на землю бело-розовые лепестки. Подбираю их, сую в рот, жую, прислушиваюсь к звукам, доносящимся из дома. Там что-то происходит — слышу то плач, то вроде бы пение. Крадусь через сад, прячась за кустами, за деревьями, прыгаю через грядки, подхожу к задней стене дома, заглядываю в окно. Вижу выдвинутую на середину комнаты кровать, вещи отца, аккуратно разложенные на ней, и женщин, сидящих вокруг. Я не знаю, что почтальон принес в наш дом черную бумагу, не знаю, что это оплакивают моего отца, погибшего и похороненного где-то далеко от дома, но вижу слезы на глазах матери, вижу раскачивающуюся спину одной из женщин, длинную, худую спину, слышу пение, то мелодичное, то переходящее в крик. Я не знаю, что такое причитания, но вижу вдруг, как начинает раскачиваться еще одна женщина, и вот она вступает, и, чередуясь, обе женщины причитают исступленно и пронзительно, и мать, будто околдованная ими, тоже начинает покачиваться, и мне страшно видеть это, ужас охватывает меня. Я отскакиваю от окна и бросаюсь во двор к Чермену.

«Зачем они поют?!» — смотрю на него снизу вверх, смотрю с мольбой и надеждой.

«Так надо», — он кладет руку мне на голову.

Тепло его руки и безоглядная вера в его могущество чуть успокаивают меня.

«Так надо», — повторяет он, глядя меня по голове.

Но мне все еще страшно, и я жмусь к его ногам, и люди, входящие с улицы в наш двор, останавливаются перед нами и, склонив головы, стоят в молчании.

Вдруг слышу смех. Это смеются надо мной. Веселятся, тискают меня, целуют. Как смешно: причитания я перепутал с пением. Зачем они поют? Отец, оказывается, жив. Погиб кто-то другой.

МЫ — СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ.

Вижу — отец сидит на той самой кровати, сидит и разбинтовывает ногу. Вижу широкий, длинный шрам на его бедре, блестящую, розовую кожицу, затянувшую рану. Кружу возле отца, привыкаю к нему. Ловлю вдруг ревнивый взгляд Чермена, и останавливаюсь, будто делаю что-то стыдное, недозволенное.

Как страшная тайна—этот нежно-блестяще-розовый шрам.

Притворяюсь спящим. Жду, когда все улягутся и погасят свет. Крадусь, мягко ступая на цыпочках, забираюсь в постель к отцу, приникаю щекой к его щеке. Чувствую — отец рад мне, чувствую в теплом забытии руку его,правляющую на мне одеяло.

Слышу сквозь сон — отец громко стонет.

«Что с тобой?!» — мать подхватывается на своей кровати.

«Он толкнул меня», — отец улыбается, кривясь от боли.

«Разбаловали мальчишку», — ворчит мать.

«Возьми его», — просит отец.

«Господи, — вздыхает мать, — ну что из него получится?»

Она встает, подходит, осторожно берет меня на руки и несет, несет меня в темноте, несет, несет, несет.

Скрежещет снег под ногами. Голоса:

— Ну и мороз.

— Такой зимы у нас еще не было.

Слышу торопливый стук будильника. Каждый удар — итог, конец. Про-щай — про-щай. Свалка металлолома, кладбище секунд, минут, часов. А память возвращает давний снег на черепичной крыше, и птичьи следы на снегу, и следы матери на запорошенной тропинке, выющейся между деревьями в саду. Память возвращает прошлый закат, багровое солнце, оцепеневшее под горами, ленивую тучность летнего вечера, горячую пыль под босыми ногами, зов матери — Ала-а-ан! — и радостный, стремительный бег к дому.

ДВАЖДЫ ВОЙТИ В ОДНУ РЕКУ...

Открываю глаза, озираю полутемную комнату. Вижу холодно поблескивающий циферблат будильника и вспоминаю, что слышал сквозь сон звонок, доносящийся будто издали, долгий, залиvistый звон и натужное бряцанье в конце его. Всматриваюсь в циферблат, пытаюсь различить стрелки. Так и есть — десять минут восьмого. Каждое утро я просыпаюсь в это время: оказывается, привычка, образовавшаяся за семь с половиной лет работы, — некое подобие условного рефлекса.

Встаю, раздвигаю шторы — тусклый свет зимнего утра неуклюже протискивается в комнату. День умер, да здравствует новый день! Время как бы проецируется на две пло-

скости, одна из которых продолжение, а другая — начало. Он все еще бежит по деревенской улице, тот загорелый, крепенький, босой мальчишка, но топот проворных ног его теперь сосуществует с торопливым стуком часов. Под этот стук, под топот, под барабанный бой — сложенная вчетверо бумажка, лежащая на моем столе, оживает, распрямляется, обретает жесткие, реальные черты. Мальчишка останавливается, щурится насмешливо, глядя, как я снова сворачиваю ее вчетверо и сую в карман пальто, чтобы не забыть потом второпях. Это повестка из военкомата, которая служит заодно и пропуском в часть, где в течение двух недель я должен пройти переподготовку с отрывом от производства и где ровно в 8.00 должен бодро воскликнуть: «Я!», когда дежурный офицер прочтет в списке мою фамилию.

Но сейчас уже 7.16. Я не умыт еще и не одет, а добираться до части мне минут сорок, не меньше, и как бы я ни суетился теперь, все равно опоздаю, и мое восторженное «Я!» повиснет в воздухе, окоченеет на морозе.

А мальчишке смешно, он хохочет, за живот хватается, А может, это я сам смеюсь, глядя на себя, суеющегося, и на бегущего мальчишку?

Прощай.

Однажды мой брат Таймураз отозвал меня в сторонку. Он учился тогда то ли в восьмом, то ли в девятом классе и постоянно делал разные открытия. «Слушай, — сказал он, краснея от возбуждения, — Земля вертится вокруг своей оси и вертится вокруг солнца. И сама Солнечная система совершает кругообразное движение, и другие системы, и вся Вселенная. Понимаешь? Все вертится, и только время — вертикально! Время — это вертикально восходящая прямая!»

Образ времени и безучастный диск циферблата.

А мальчишка, хлопнув калиткой, вбегает во двор и останавливается у крыльца. «Господи, на кого ты похож?! Где тебя носило?» — голос матери и лицо ее. Как всполох, как озарение,

МОЛОДОЕ ЛИЦО МАТЕРИ.

Зажигаю газ в колонке, иду умываться. «Как хорошо быть генералом...» — напеваю. Вот мысль, достойная великого стратега: такси домчит меня до части за пятнадцать минут. Так что я успею еще позавтракать или побриться. Проблема выбора. Побриться или позавтракать? Форма или содержание?

Стрекошет бритва. Вижу в зеркале свое лицо — насмешливое? восторженное? печальное?

Вижу — отец ходит, прихрамывая, меряет шагами участок земли у торцевой стены нашего дома.

Слышу — осторожно дышит мальчишка. Он стоит, привалившись плечом к теплому стволу вишни, и из глубины сада втихомолку наблюдает за отцом.

Останавливаясь время от времени и задумчиво глядя вдаль, отец шевелит губами, умножая, наверное, деля, вычитая и складывая. Каждый вечер он занимается этим: забивает и вытаскивает колышки, шагает, высчитывает что-то в уме и хмурится. В сырую погоду он хромот сильнее, и шаг его становится короче, в сухую и теплую — наоборот. Не потому ли отец так хмурится, что измерения его никак не могут прийти к единственному и окончательному результату?

Открывается дверь — из дому на веранду выходит мать. Постояв немного у перил, она зовет отца. Тот оборачивается, и на широкое лицо его падает розоватый отблеск вечерней зари. Мать спрашивает о чем-то, и мальчишка прислушивается, но едва отец открывает рот, чтобы ответить, как голосом старой цыганки взывает гудок консервного завода, дымящего на краю села. Отец застывает с открытым ртом, а мальчишка чуть на землю не валится со смеху, за вишню держится, чтобы не упасть.

Гудок не унимается, и отец, махнув рукой, все же начинает говорить. Мальчишка не слышит толком, о чем речь, но улавливает имена, произносимые отцом: Чермен, Алан, Таймураз. И снова: Чермен, Чермен. Потом: Алан, Таймураз. Мальчишка вдруг чувствует, что весь переполнен радостью, и он не понимает ее истоков, но знает, что это будет всегда: теплый ствол вишни, мать, стоящая на веранде, отблеск зари на лице отца, и эти имена, как стены крепостной башни, и он слышит слово:

ДОМ.

Ах, вертикально восстающая прямая! Отец хотел, чтобы основанием ее стал фундамент нашего деревенского дома, хотел совместить во времени несколько поколений, жить, как в старину, одной большой семьей. Дети-внуки-правнуки... Радость возрождения. Не сухостойный кол гипотезы, а пышное генеалогическое древо. (Думаю, отец укрепился в этой мысли на войне. Что еще может противо-

поставить Ей крестьянин, сидящий в окопе?) Древо жизни как долговременное оборонительное сооружение.

(Корни и могучий ствол мы получили как бы в подарок от судьбы, Чермен, Таймураз и я, но о ветвях, о нежной зелени побегов нам предстояло позаботиться самим.)

Первое слово по старшинству принадлежало Чермену, и, когда пришло ему время жениться, он, верный идее Большого Дома, засучил рукава и начал строить. Он вырыл котлован и заложил фундамент — это было весной, а осенью к торцевой стене отчего дома, к саманной кладке, окаменевшей от прожитого, уже лепилась яркая, щеголеватая кирпичная пристройка. И, словно защищая от нее свое прошлое, кто-то произнес первым, размежевал — старый дом и дом новый. И хоть впоследствии оба строения были оштукатурены заодно, побелены, накрыты одной крышей, соединены общей верандой и граница между ними исчезла, старый дом продолжал зваться старым, а новый — новым.

Если считать, что развитие происходит по спирали, то Черменова кирпичная пристройка тоже станет с т а р ы м домом, когда саманные стены, сложенные отцом, осядут под тяжестью лет, и кто-то молодой обрушит их и прилепит к побуревшему кирпичному торцу светлое, веселое строение. Впрочем, может получиться и так, что идиллический наш домик снесут весь разом, и на его месте вырастет супернебоскреб, в котором каждое поколение будет надстраивать свой этаж, и дом будет уходить все дальше и дальше в небо, и дети, чтобы поиграть на травке, будут спускаться вниз по совершенно безопасным парашютиках, голубеньких и розовых.

Праправнуки, являющиеся с небес на голубых и розовеньких парашютиках.

Они спускаются, крича и постреливая друг в друга из игрушечных лазеров, а Чермен кладет кирпич за кирпичом, возводит стену, строит н о в ы й дом. И каждый удар мастерка как бы предвосхищает другие звуки, будущие. И вот они возникают — свадебная песня и ружейная пальба, — и проявляются, словно в фотографическом растворе, широко распахнутые ворота и лица поющих во дворе, синеватые дымки над ружейными стволами и белое платье невесты, серебряный с черною пояс, серебряные застёжки. Невеста идет через двор, и в глазах ее, в сиянии, рвущемся из-под опущенных век, великое торжество женского пачала и великое смущение, и я стою, оглушенный стрельбой и

пением, и мне почему-то неловко смотреть на нее. Я отвожу взгляд, но все-таки вижу: старухи, воскрешая давний обычай, протягивают ей младенца, и она принимает его, как бы присягая в своей готовности стать матерью, и с младенцем на руках медленно поднимается по ступенькам на веранду, входит в дом.

Дина — имя ее.

После свадьбы дом затих, переживая случившееся и привыкая к невестке, но вскоре взбудоражился снова, и в центре внимания теперь оказался я — близилась пора выпускных экзаменов.

Ах, голубые парашютики!

Гремит блистающей медью оркестр, приглашенный из районного центра, и школьный зал набит до отказа, и потолок, кажется, рухнет сейчас от грома аплодисментов — это вручают мне аттестат, удостоверяющий мою зрелость. И снова оркестр играет туш, и зал взрывается аплодисментами — мне преподносят золотую медаль — приз за отличное окончание школы.

Мать, помолодев от радости, принимала поздравления. Ее останавливали на улице, приходили в дом, в библиотеку, где она работала, и смысл восторженных словоизлияний сводился к следующему:

1. Счастье — иметь такого сына.
2. Умный мальчик, золотая голова.
3. Перед ним открыты все пути.

Но в праздничный хор простодушных сельчан вплетались и более осторожные голоса, и принадлежали они, как ни странно, моим бывшим учителям. Поздравляя мать и пользуясь при этом известной уже формулой «перед ним открыты все пути», они мысленно примеривали ко мне тяжелые одежды своих дисциплин, но, приглядевшись, тут же снимали их, качая в сомнении головами.

«Литература всегда была для него просто развлечением».

«Математика давалась ему так легко, что полюбить ее он не успел».

«История слишком часто вызывала в нем смех».

Учителя осторожно отрешивались от лучшего из своих учеников. Тем самым они как бы снимали с себя ответственность за его будущее. Их дело — снарядить лодку и оттолкнуть ее от берега, а уж как вы справитесь с волной и ветром, зависит от вас самого, шкипер.

Счастливого плавания!

Мы стоим посреди улицы: отец, я, директор школы и директор консервного завода. Желтеньким шумливым ручейком нас обтекает торопливый выводок гусят.

«Раньше осетины не разводили гусей», — говорит директор школы.

Директор консервного завода, соглашаясь, важно кивает головой.

«Потому что жили в горах», — поясняет директор школы. Однако речь идет не о гусах, а обо мне.

«Ученым он не станет, ему не хватит прилежания, — это директор школы размышляет вслух. — Для юриста, врача и педагога он недостаточно серьезен... Зато инженер из него получится хороший, замечательный может получиться инженер».

Вот вам и лоция, шкипер.

А мечты мои, птички отважные, взлетали и падали, расшибаясь о кирпичносаманный утес Большого Дома, падали, теряя перья...

Их можно не принимать во внимание, этих птичек, ибо ни одной из них не суждено было воспарить над черепичной вершиной утеса.

И остается таким образом:

1. Идея Большого Дома.
2. Авторитетное мнение директора школы, а также
3. Высокое покровительство директора консервного завода.

Эти три понятия, соединившись, породили четвертое — Московский технологический институт пищевой промышленности.

Сокращенно: МТИПП.

С возрастом людям свойственно несколько преувеличивать высоту препятствий, которые им пришлось преодолеть (или не удалось преодолеть) в стипль-чеже прожитых лет. Реквизит прошлого извлекается из хаотических нагромождений памяти, систематизируется — ревизия, опись, инвентаризация — и расставляется на старой дистанции в новом, удобном для себя порядке. Причина подгоняется к следствию. Создается приятный во всех отношениях вариант собственной биографии: ГЕРОИЧЕСКИЙ (все преодолев, вот кем я стал!) или СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ (вот кем бы я мог стать, если бы не тяжкие обстоятельства жизни).

Не знаю, как в будущем, но пока я не могу, улыбнувшись меланхолически, сообщить, что во мне погиб виртуоз-ксилофонист или физик-теоретик. Люди, отмеченные печатью гениальности, еще в колыбели слышат Могучий Зов, определяющий их путь к Сверхшениям и Славе. Я же, когда меня спросили в детстве: «Кем ты будешь, Алан, когда вырастешь?» — ответил, что хочу стать кухаркой или плотником. Это, с одной стороны, характеризовало меня как разносторонне одаренного мальчика, а с другой — моими собственными устами прорицало мое будущее. Получалось, что я сам издал Зов и сам же его услышал.

КУХАРКА, ПЛОТНИК.

Мечты мои, птички, которые взлетали и падали, расширяясь, не отличались такой суровой обыденностью. Одна из них, бирюзово-оранжевая, несла в клювике самый хрупкий мой помысел, робкую мечту о дальних краях и народах. Амазонка, Океания, Кордильеры. Стать путешественником, чтобы познакомиться с шерпами, поесть личинок с племенем биндибу, увидеть, как смуглые танцовщицы с острова Оаху под сладостные звуки гавайской гитары бросают белые цветы в морской прибой.

Как долго кружится в воздухе бирюзово-оранжевый пух!

Расшились и другие птички, такие же наивные и желтоклювые, и пух кружился, опадая, и; осыпавший нежным пухом, я шагнул к мрачноватому зданию МТИППа. Никто не подталкивал меня и не тащил силой, и, тронув дубовую дверь парадного, я вошел с раскрытым от восторженного волнения ртом, чтобы выйти через пять лет и вступить на благородную стезю квашения и консервирования.

Когда я закончил институт и вернулся домой, наш консервный заводик уже именовался комбинатом и всю перерабатывал красное, бурое, желтое, синее и зеленое сырье. Он перерабатывал, а я слонялся по селу, и блеяние овец, кудахтанье кур и собачий лай уже не казались мне стройной симфонией жизни. В меня была вложена новая программа, и пятки мои тосковали по асфальтовой твердости городских тротуаров, уши — по беспрестанному шуршанию шин, локти — по людской толчее. В блок моей памяти помимо специальной информации просочилось много чего лишнего, ненужного и даже вредного теперь.

Высшее образование — сокращенно: ВО.

Я осторожно обходил коровьи лепешки, а женщины, приподымаясь со скамеек, вкопанных в землю у каждого

ворот, почтительно здоровались со мной, приветствуя то ли меня, то ли ВО в моем лице, и старики восхищались при встрече: «Сын Бесагура?! Ты посмотри, как вырос! Настоящий мужчина!» Права называться собственным именем я здесь еще не заслужил. Мне полагалось чуть склонить голову и, потупившись скромно, коротко отвечать на вопросы. В сельской иерархии, в мужской ее части, я числился м л а д ш и м.

Мир сквозь розовое стеклышко, цепляющееся за ноги детство.

День уходил за днем, а я все не решался вступить в зону устойчивого запаха фруктовой прели, где для меня, сына Бесагура, было забронировано место главного механика. Бронь оставалась не востребованной, и в нашем доме возникло, появилось темное студенистое тело, колеблющимися очертаниями своими напоминавшее разжиревший вопросительный знак. Оно, это угрюмое тело, стремительно разрасталось, заполняя собой дом, мешая нам двигаться и общаться. Когда мы и ходить уже перестали, а как бы плавали в глухом, настораживающем безмолвии вопроса, Чермен не выдержал наконец и взбунтовался. Однажды за ужином он пробил в студенистом теле тоннель к уху отца и закричал как в рупор: «Ему тут нечего делать!» С того конца тоннеля не донеслось ни звука. Тогда Чермен, расширив тоннель до размеров небольшой пещеры, так, что мы все, сидевшие за столом, оказались в пределах слышимости, сказал громко и внятно: «Не для того он учился, чтобы варить, как женщина, варенье и закатывать банки». Отец спокойно доел, отодвинул тарелку и, вставая из-за стола, произнес еще более внятно: «Он взрослый человек». Студенистое тело ужалось, усохло, исчезло — где-то в дальнем углу словно камушек об пол стукнулся.

В тоне отца, внешне сухом и бесстрастном, все же слышался тоненький звон надежды. Но я, улыбаясь виновато, уже укладывал чемодан, чтобы завтра утром уехать в город, тот единственный, который в нашем селе и в окружающих все называли просто г о р о д, словно других городов на свете не было.

ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Тот загорелый, крепенький мальчишка собирается мыть ноги. Он усаживается на низенькую скамеечку во дворе, пробует воду, налитую в медный таз, и съеживается — вода

холодна как лед. Глянув украдкой на мать, мальчишка замечает, что она едва сдерживает смех. Выпрямившись, он разом опускает ноги в таз и, переведя дух, поворачивается к матери, улыбается победно.

Одна из комнат в Черменовой кирпичной пристройке, большая и светлая, предназначалась мне. Она и теперь считается моей, хотя прошло почти восемь лет, как я живу в городе.

Светлая комната и печальное лицо матери: «Ты так редко бываешь дома».

Но если та пустующая комната и есть мой дом, то что же это, обозначенное в ордере как однокомнатная квартира 17,8 кв. м. — кухня 4,8 кв. м. — санузел совмещенный — встроенных шкафов и подсобных помещений не имеется? Может ли это стать Большим Домом? Может ли здесь взойти мое собственное генеалогическое древо?

Впрочем, с генеалогией придется подождать, на нее не хватает времени. Если я не потороплюсь и опоздаю к перекличке в часть, то уже не древо-дерево, а мое собственное «Я!» не состоится.

Улыбаюсь, а будильник частит-заходится, отстреливая секунду за секундой. Стучат, лихорадочно вырабатывая в р е м я, часовые механизмы всевозможных систем и конструкций. Стенные часы, настольные, наручные, автомобильные, часы, вмонтированные в бомбы замедленного действия, — миллиарды и миллиарды часов. Неистово тикают маятники, словно маленькие кнутики, подстегивая Землю, и планета летит, обезумев от гонки, несется по кругу, скачет, сбиваясь с дыхания. Если частота колебаний всех маятников вдруг совпадет и они тикнут разом, Земля может развалиться, как разваливаются иногда мосты, когда по ним маршируют, чеканя шаг, солдаты. Происшествия такого рода случались в прошлом, они описаны в учебниках физики, возведены в степень закона и носят название

ЯВЛЕНИЕ РЕЗОНАНСА.

Широкие массы любопытствующих старушек интересуются:

«Отчего это портится климат? Неужели из-за спутников?»

Отвечаю:

«Спутники тут ни при чем. Во всем виноваты маятники».

«Но часы ходили и раньше, — сомневаются старушки, — а климат-то был хороший».

РАНЫШЕ ЧАСЫ ШЛИ МЕДЛЕННЕЕ.

А может, и вовсе остановить их? Разбить будильник, уйти в горы, отыскать сухую, солнечную поляну, сесть на теплую землю, скрестить ноги, видеть каждую травинку в отдельности, каждый цветок, слышать шмелей, колдующих над цветами, и медленно-медленно думать. Пульс 76, 68, 60, 60 — что есть Я? что есть ВЫ? что такое МЫ? Сколь велико и постоянно это число — МЫ?

Пульс 60, 68...

Вижу — отец и Чермен стоят возле дикой груши, переминаются с ноги на ногу, молчат. Пора приниматься за дело, но они все медлят, не решаясь браться за пилу, словно ждут чего-то, на чудо надеются. Томительно тянется полдень, и, кажется, стояние это может длиться вечность, и они так и не тронутся с места, и ничего не произойдет, и лица их понемногу просветлеют, и мрачноватая картина великого смущения сотрется, и вместо нее возникнет миленький, наивный лубок: сияющее солнце посреди голубого весеннего неба, дикая груша с набухшими почками на ветвях, влажно поблескивающий чернозем и двое, стоящие у дерева, отец и сын, и лица их спокойны, добры, исполнены ясной задумчивости.

Слышу шелест страниц. Это я сам, сидя за столом на веранде, листаю какой-то учебник, пытаюсь заниматься. Но и мне нелегко тронуться с места, ведь я знаю — дерево обречено. Оно стоит рядом с торцевой стеной нашего старого дома, там, где вскоре будет заложен фундамент кирпичной пристройки. Я перелистываю страницу за страницей, но думаю не об алгебре с геометрией, а о большой дикой груше, доживающей свой последний день. Когда-то в туманном младенчестве, увидев впервые, я воспринял ее, наверное, как часть самого себя, как руку, ногу, мать, Чермена, и что-то осталось с той поры, и строчки расплываются перед глазами. Ты плачешь, Алан? Это не просто жалость, это шелушится, сползает с тебя зеленая броня детства, и выставляются, будто на смех, торчащие твои ключицы, угловатые плечи, поросшая цыплячьим пухом грудь.

Отец вдруг оборачивается, зовет меня. Предчувствуя недоброе, осторожно, по какой-то замысловатой кривой приближаюсь к нему.

«Бери пилу».

Оторопело гляжу на отца:

«Почему я?»

Ответ его застает меня врасплох:

«Ты моложе нас, у тебя память короче».

Чермен отводит глаза. Улыбнувшись растерянню, поднимаю с земли пилу, берусь за ручку. Где ты, чудо?! За другую ручку берется Чермен. Ему легче, он второй. Первый был все-таки я.

Отец тычет пальцем в ствол груши:

«Здесь».

Мы начинаем, и сыпятся вместе с опилками последние крохи моей надежды, и закипает в душе запоздалая обида, и все бессилие ее я вкладываю в пилу — остервенелю тяну на себя, толкаю к Чермену — короткая память, долгая, разве дело только во времени? Краем глаза кошусь на отца, словно ответа жду от него, повинной, но лицо его непроницаемо, как всегда, спокойно. Я тоже успокаиваюсь понемногу, потому, быть может, что вижу теперь и воспринимаю не дерево, как существо, а только часть его ствола, противодействующую мне. Самообман, психология убийцы — пытаюсь подогреть себя, но тщетно.

Пилу начинает заедать, и отец останавливает нас, вбивает клинья в разрез. И снова мы пилим, и, кажется, этому не будет конца — липнет к спине взмокшая рубашка, немеет поясница, мелко дрожат колени, — и снова отец вбивает клинья; груша подрагивает, как-то неестественно колеблется, и амплитуда ее колебаний все увеличивается, и вот уже отец упирается руками в ствол, и мы с Черменом упираемся, наваливаемся изо всех сил, и дерево с протяжным треском клонится, рушится на землю, подминая под себя ветви.

Потом мы стоим, отдыхая, возле поваленной груши, отец, Чермен и я, а матери нет дома, и хорошо, что нет, зато является с улицы Таймураз, маленький, насупленный, он смотрит на опилки у наших ног, на нас самих, на грушу, спрашивает сердито:

«Зачем спилили?»

Потом вдруг:

«Кто посадил ее?»

Я поворачиваюсь к Чермену, Чермен к отцу, а тот, помедлив чуть, отвечает:

«Она была всегда».

Пульс 68, 76...

Стрекочет бритва. Жатва, косьба, косовица. Подчищаю орехи. Провожу ладонью по щеке — гладко. Выдергиваю штепсель из розетки. Споласкиваю лицо холодной водой. Надеваю пиджак, пальто и шапку. Закрываю газовый кран на кухне. Свод правил для человека, покидающего дом. Гашу свет в туалете. Смотрю на циферблат будильника — все в порядке, мое «Я!» прозвучит вовремя. Гашу свет в комнате. Обратный отсчет — четыре, три, два, один, старт!

Распахиваю дверь, захлопываю, распахиваю дверь парадного, с клубами пара вплавливаюсь в замороженный, оледеневший воздух.

В угрюмом свете простуженного утра зябко ежатся серые пятиэтажные дома. Крыши их едва различимы — там, наверху, еще не рассвело, там ночь.

Одолеваю пространство двора, иду мимо заснеженных цветочных клумб, мимо задубевшего белья, висящего на веревке, прохожу мимо дымящихся мусорных контейнеров. Кто-то из жильцов надумал поджигать их содержимое, и теперь объедки и очистки — свидетельства нашей жизнедеятельности — превращаются в процессе горения в углекислый газ и возносятся в небо. Наш двор, не отставая от века, вносит посильный вклад в загрязнение атмосферы, в умерщвление окружающей среды...

А груша лежала на земле день, другой, третий — мы разгружали кирпич, цемент, черепицу, готовились к строительству и не то чтоб забыли о ней, а старались не вспоминать, пока однажды, через неделю примерно, Таймураз не позвал и не повел меня к ней. Я увидел, и в горле у меня запершило, и я оплакал ее вторично, но про себя, чтобы не осрамиться перед Таймуразом, потом крикнул хрипло: «Чермен!»

Он услышал, подошел к нам, и мы стояли у дикой груши, сваленной во имя нашего будущего, и ветви ее уже почернели, обвисли к земле, кора на них сморщилась, усохла, нераскрывшиеся почки окостенели, но у самой верхушки еще жила тоненькая веточка — все соки умирающего тела груша перекачивала в нее, и веточка стояла пряменько, как маленькое деревце, и на ней весело топорщились зеленые листочки, а между ними проглядывали только что распустившиеся бледно-розовые цветы.

«Торопится,— сказал всезнающий Таймураз,— цветет раньше времени».

Мы с Черменом молчали.

Из дому на веранду вышла мать, позвала нас обедать.

А если не вырастет на месте дикой груши, не разветвится наше генеалогическое древо-дерево?

И не поднимется к облакам супернебоскреб?

И дети, чтобы поиграть на травке, не будут спускаться с верхних этажей на голубых и розовеньких парашютиках?

А взойдет вместо всего этого громадный

ИСКУССТВЕННЫЙ ГРИБ,

который люди научились выращивать посредством нехитрых физических реакций.

(Как буднично это звучит, как пугающе-привычно, как слово СМЕРТЬ, например.)

Вижу зеленый огонек, поднимаю руку — у тротуара притормаживает, останавливается такси. Открываю дверцу, чтобы вступить в переговоры с водителем, но тот, опережая меня, машет рукой:

— Садись, ради бога, не впускай холод!

Усаживаюсь, называю адрес, водитель трогает с места, и улица, словно русло реки, принимает нас; мы движемся по ее асфальтовому дну — машины впереди, машины сзади, — тело мое безучастно плывет в автомобильном потоке, и плывут другие тела, и множество тел собралось на автобусной остановке, мелькнувшей мимо, и все они жаждут движения —

ЧАС ПИК,

а в таксомоторе вкрадчиво шуршит вентилятор отопительной системы, и я закрываю глаза и снова, как видеозапись, просматриваю свой сон.

Слышу уличные шумы и слышу голоса братьев, еду по городу и сижу с матерью за столом в нашем старом доме, и думаю вдруг, что она, возможно, шьет мне сейчас рубашку из довоенных ситцевых лоскутьев, примеряет ее на меня, и я, радостный, выскакиваю во двор, чтобы показать обновку Чермену, бегу к нему, проваливаюсь в сугробе, падаю, барахтаюсь в снегу, а он, смеясь, поднимает меня и несет в дом.

Мать качает головой:

«Ты не можешь этого помнить, тебе было тогда два года всего».

Она качает головой, а Чермен возвращается из леса, несет вязанку хвороста за плечами. Вязанка больше его самого, и он никак не может пройти в калитку, хворост цепляется, пружинит, но, наконец, Чермен протискивается боком и, остановившись, отирает ладонью пот со лба, смотрит на окно и видит мой приплюснутый к холодному стеклу нос. Матери нет дома, она пошла, быть может, на мельницу молоть кукурузу (если у нас была еще кукуруза), и я истосковался в одиночестве, и Чермен ободряюще подмигивает мне — на большее у него не осталось сил, — не скучай, мол, теперь ты не один, и я машу ему рукой, зову в дом, и он кивает в ответ, но проходит мимо окон к сараю, и вскоре я слышу стук топора.

«Ты помнишь не то, что было, а то, что мы рассказывали тебе потом, когда ты подрост».

«Значит, я черпаю из ваших запасов?»

«Да, — улыбается мать. — Но разве это плохо?»

Нет, конечно, только неясно — кто мог рассказать мне о длинной, узкой, колеблющейся спине той плакальщицы, которую я видел сегодня во сне, видел тогда и вижу сейчас, вижу позвонки, выпирающие из-под мутно-коричневой ткани платья, они являются один за другим, как живые, когда спина клонится вперед, они прячутся, словно играя, когда она выпрямляется, и с каждым наклоном они становятся все крупнее, и спина уже слишком мала для них, и она тает в воздухе, исчезает, а позвонки остаются, растут, двигаются, обнаженный позвоночник, скорбящий в пустоте о потерянном теле, о мире, обратившемся в прах.

«Оставь, ради бога, не было никакой спины, а если и была — забудь. Все это прошлое, зачем таскать его с собой, растравлять душу».

Да, наверное, то есть нет, простите, впрочем, да, конечно. Безусловно, все прожитое должно быть осмыслено, оценено, отсечено от настоящего и аккуратно сложено в окованный позеленевшей бронзой

СУНДУК ПРОШЛОГО.

Если вам понадобится какое-либо Воспоминание, достаньте его, повесьте на бельевую веревку, выбейте пыль, проветрите, после чего попользуйтесь целомудренно, сверните и положите на место. Помните при этом, что ваше Воспоминание может оказаться вовсе не вашим, и потому пользуйтесь им еще бережнее, чем было предложено вначале. Рекомендуются также четко различать Воспоминания при-

ятные и неприятные. Первые способствуют хорошему пищеварению, а вторыми лучше не пользоваться вообще, ибо они имеют свойство вызывать укоры совести, а иногда и кошмары, неизбежное следствие которых — понижение общего тонуса и затруднение физиологических отправления. Кроме того, не следует путать или совмещать Воспоминания с Реальностью. Одновременное присутствие в прошлом и настоящем истощает энергетические ресурсы организма и сокращает продолжительность жизни.

— Ну и мороз,— вздыхает таксист.

Слышу свой голос:

— Да, такой зимы у нас еще не было.

— В тридцать втором...

— В тридцать третьем...

— С тридцать второго на тридцать третий.

Какой-то шустрый «пикап», обогнав нас, лихо срезает угол. Белесоватое облачко выхлопа ударяется о бампер нашей машины, расплзается по капоту. Таксист, чертыхнувшись, предлагает запомнить номер «пикапа». Повторяю про себя цифры, хоть и не знаю, зачем это нужно. Однако, поразмыслив чуть, догадываюсь: зная номер обидчика, таксист чувствует себя частично отмщенным. Мало того, он и мне дает возможность насладиться местью. В знак благодарности я высказываю сочувствие по поводу нервных издержек, связанных с его родом деятельности. Таксист сдержанно кивает, потом, помолчав немного, заявляет вдруг:

— Смешно мы разговариваем.

Удивленно смотрю на него.

— Я говорю по-осетински, а ты отвечаешь по-русски.

Молчу, не знаю, что сказать.

— В городе почти все так говорят,— как бы смягчая мою вину, вздыхает таксист,— слово по-осетински, слово по-русски, в общем не поймешь по какому. Только мы, деревенские, помним еще свой язык.

Пытаюсь оправдаться:

— Я тоже деревенский.

ОН НЕДОВЕРЧИВО КОСИТСЯ НА МЕНЯ.

...Мы едем, не помню куда, в разболтанном, скрипящем автобусе. Мать сидит на изрезанном ножами подростков сиденье, а я стою в проходе, и у моих ног лежит смиренная белая овечка. Я только что уступил место старику в потертой каракулевой папаше, и он, усевшись, заговорил со мной

и удивился, когда я ответил по-русски. Он удивляется вслух, а голос у него зычный, и пассажиры, услышав, тоже удивляются, с недоумением смотрят на меня. Автобус кряхтит, переваливаясь на ухабах, а я стою, смущенно опустив голову, и разглядываю белую овечку. Слышу — в разговор вступает мать, рассказывает, что я отличник, шесть классов окончил — шесть Похвальных грамот принес домой, и после школы буду поступать в институт. А русскому она меня учит с самого раннего детства, потому что на осетинском пока еще нельзя получить высшее образование. Пассажиры шумят, сомневаясь и споря, но старик кладет большую костлявую руку мне на плечо, и все стихают. Он поворачивает меня к себе, смотрит испытующе, глаза его добрееют понемногу, и он спрашивает:

«Висши получайт?»

Я киваю, потом, спохватившись, подтверждаю свой кивок по-осетински. Но старик уже полностью перешел на русский, хочет, видно, поощрить меня к дальнейшему, подбодрить и напутствовать.

«Висши,— уважительно говорит он. — Маладэц».

Настроение в автобусе меняется, лица светлеют, пассажиры чувствуют себя причастными к моей судьбе, а женщина, везущая овечку, хватает ее и оттаскивает от меня, как бы освобождая жизненное пространство для моих будущих свершений.

УМНЫЙ МАЛЬЧИК, ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА.

Слышу — сокрушенно вздыхает таксист:

— Язык умирает в своем собственном доме.

Мать снова вступается за меня:

«Да нет же, он знает осетинский».

То ли к старику она обращается, то ли к таксисту, то ли сама говорит это, то ли я за нее... Она здесь, со мной, и в то же время я, наверное, там, с нею, существую отдельно от себя и существую еще в воображении таксиста и многих других людей, и если сравнить все мои Я (эти отражения, проекции на разные плоскости), то они окажутся совершенно несхожими, не совпадут, не совместятся, и между держателями Их может выйти скандал, и если он произойдет, то мирный мой образ будет использован как боевое оружие типа рогатины, например, или просто дубинки. А первое мое Я — или последнее? — отраженное во мне самом, сидит себе спокойненько и поглядывает на дорогу, и, наблюдая за Ним, я вижу его глазами, как из-под колес

идущего впереди грузовика вылетают комья спрессованного снега и осколки льда, как они летят, разбиваются о ветровое стекло перед — Его? — моим лицом, и наша машина тоже подхватывает колесами и швыряет в следующую комья снега и острые льдинки, и та в свою очередь, и так далее, по всей улице —

АВТОМОБИЛИ, ИГРАЮЩИЕ В СНЕЖКИ,
и я думаю обо всем этом и молча говорю матери:
«А думаю-то я по-русски».

Мать молча утешает меня:

«Не беда, были бы мысли твои хорошими».

Таксист снова вздыхает, но ничего не говорит, а только покачивает головой. Не знаю зачем, но я тоже покачиваю головой. Так мы и едем, качая головами. Две головы — два мира, и качающиеся миры эти неизвестны друг другу, они едва соприкоснулись, заключив временный союз в борьбе с пространством, некое МЫ, которое распадется, когда общая цель будет достигнута, и каждый из миров сохранит свой драгоценный суверенитет, и я удивлюсь, если через много лет вдруг закачаю непроизвольно головой и забытый голос обвинит меня в умерщвлении собственного языка. Я торопливо гляну вниз, надеясь увидеть белую овечку, но нет, ее не будет больше, ах, никогда больше не будет беленькой овечки.

— Возьмем? — спрашивает таксист.

Впереди, у края тротуара стоит, машет рукой женщина в черной шубе. Не дожидаясь моего согласия, таксист притормаживает и говорит:

— Спроси, куда ей надо.

Хочу открыть дверцу, но он останавливает меня:

— Не открывай, холодно. Опустит чуть стекло и спрашивай.

Поворачиваю ручку — и в машину, потрескивая, ломится мороз.

— Вам куда? — спрашиваю.

Женщина наклоняется к узкой щели, отвечает. Ей по пути с нами.

— Садитесь, — говорю, — пожалуйста.

Женщина стоит, молча смотрит на нас. Потом, будто через силу, открывает рот, произносит:

— Мне нужно еще...

— Вещи? — догадывается таксист. Он уже не рад, что остановился.

Женщина вроде бы кивает.

— Вы не можете мне? — спрашивает, а глаза у нее, словно она милостыню первый раз в жизни просит.

Смотрю на часы. В запасе у меня еще минут десять — двенадцать, если вычесть время, необходимое на дорогу.

— Ладно, — говорю, — пойдемте.

Открываю дверцу. Таксист вытягивает голову в плечи.

— А вы? — спрашивает его женщина.

— Пусть сидит, — умехаюсь, — а то замерзнет.

— Ничего, — усмешается в ответ таксист, — он и один справится, здоровый парень.

Она поворачивается, быстро идет к дому. Я, приотстав чуть, шагаю за ней. Обычный девятиэтажный дом — мы огибаем его, обычный подъезд. Картонка на лифте — НЕ РАБОТАЕТ. Считаю ступеньки — девять, десять, одиннадцать — сколько их будет? Навстречу нам спускается старуха, тащит за руку упирающегося мальчишку, внука, наверное, ведет в детский сад. Мальчишка хватается за перила, старуха дергает его, ворчит сердито:

— Тибештидна нету?!

Поравнявшись с женщиной, старуха здоровается:

— Доброе утро, соседка.

Женщина молча проходит мимо, а мальчишка снова цепляется за перила. Тайком от старухи даю ему подзатыльник, легкий, ласковый почти.

— Ты че?! — рвется ко мне мальчишка, таращит нахальные глаза.

Старуха дергает его за руку:

— Тибештидна нету?!

— А че он?! — орет мальчишка.

(Умный мальчик, золотая голова.)

Двадцать первая ступенька, двадцать вторая... Женщина вдруг оборачивается и говорит в пустоту:

— Доброе утро.

На третьем этаже она останавливается, достает ключ из кармана, вставляет в замочную скважину, медленно, словно сомневаясь в чем-то, поворачивает, дверь, скрипнув, отворяется. Обычная прихожая — антресоли, зеркало, вешалка, телефон на тумбочке. Женщина, не задерживаясь, проходит в комнату. Я иду следом, хоть никто меня и не приглашает. Вижу — в комнате, в уголке, в большом ста-

ром кресле сидит одетая в пальто девушка. Обычная вроде бы, только очень уж бледная.

— Здравствуйте,— говорю, но девушка не отвечает мне. Она смотрит на женщину, а та смотрит на нее, и лица обеих напряжены — обе смотрят так, будто продолжают какой-то неприятный разговор, ведут безмолвный диалог, и я стою, затянутый, как в трясику, в их тягостное молчание.

ТЕАТР АБСУРДА. (Те же и посторонний мужчина. То есть я.)

Стучат часы на руке, торопят меня, понуждают к действию. Переступаю с ноги на ногу, спрашиваю, обращаясь к женщине:

— Где ваши вещи?

— Вещи? — подхватывает вдруг девушка. — Вещи? — повторяет хриплым от долгого молчания голосом. — Ты сказала ему в е щ и, мама?

— Не говорила я! — вскрикивает, словно от боли, женщина.

— Ты права, пожалуй,— спокойно продолжает девушка, — лучше не скажешь. — Она переводит взгляд с матери на меня. — Вещь — это я,— говорит,— живой вес пятьдесят шесть килограммов.

Взять бы, растянуть пальцами рот до ушей, прошепелявить: «Кушать подано»,— и гремучим козликом ускакать за кулисы, очковой козочкой, шипя, уползти. Пусть бы из шкафа выпятился толстопузый ворон, начертал крючковатым когтем окружность в воздухе, сунул в нее голову, как в хомут, оглушительно свистнул мне вслед и впятился обратно.

— Давайте сыграем в крестики-нолики,— предлагаю девушке. — Хотите?

— Что? — удивляется она.

— Если вы собираетесь ехать, вставайте,— ворчу раздраженно,— я, между прочим, опаздываю.

Не зря же на ней пальто, перчатки, брюки и теплые ботинки.

— Я не могу встать, — говорит она, — у меня парализованы ноги.

— Это правда, — всхлипывает мать, сама ужасаясь своим словам.

Понимаю — игра окончена, занавес опущен. Стихают часы на моей руке, замирает время. Стою, одеревенев,

проникаюсь тихой жалостью к себе, нечаянно столкнувшемуся с той частью жизни, которая обычно скрыта от посторонних глаз, которой вроде бы и нет, и, как возмездие за эту жалость, приходит язвящее чувство вины, словно несчастье этой девушки и мое благополучие связаны каким-то образом, как-то уравнивают друг друга, и я молчу, не зная, что сказать, — благодарить или оправдываться, — а женщина говорит, говорит, и я слышу ее, но слова воспринимаю не связно, а каждое само по себе, каждое отдельно:

— Из. Больницы. Выписалась. Но. Процедуры. Надо. Продолжать. Конечно. Можно. Договориться. Присылали. Бы. Санитарную. Машину. Мне. Обещали.

Потом вдруг:

— Но она не хочет, чтобы ее каждый день выносили из дома на носилках.

— Как мертвую, — добавляет девушка.

Представляю себе — вот они идут, санитары, каждое утро являются ко мне, пунктуальные, как сама судьба, белые, как привидения, входят, наскоро осведомляются о здоровье, берут мое немощное тело, вытаскивают из постели, осторожно, словно боясь вытряхнуть из меня болезнь, кладут на полотняные носилки, поднимают, несут, обсуждая походя очередной хоккейно-телевизионный матч, выносят из подъезда, и соседи участливо здороваются со мной, и я с нарочитой бодростью отвечаю, и они вздыхают украдкой, и прохожие, встретившись со мной взглядом, торопливо отводят глаза, а санитары ловко просовывают меня в заднюю дверцу своего фургона, усаживаются рядом на скамью и, заботливо поглядывая на меня, лежащего у их ног, продолжают обсуждать вчерашний матч. Потом они привозят меня обратно, и шествие повторяется из конца в начало, и, уходя, они говорят мне с профессиональной сердечностью:

ДО СВИДАНИЯ,

и я остаюсь, и неотвратимость их следующего явления убивает во мне надежду, обращает ее в прах.

— Простите, что я сразу вам не сказала, — вздыхает женщина.

С улицы доносятся сигналы моего теплолюбивого таксиста, напоминающие о том, что время не остановилось, что оно продолжает двигаться со скоростью 60 мин. в час.

— Надо ехать, — говорю, — машина ждет.

С этими словами отвага моя иссякает, и я топчусь нерешительно, не зная, что делать дальше.

— Надень шапку, — просит мать, обращаясь к дочери.

— Зачем? — дочь безразлично пожимает плечами.

УТОПЛЕННИК СЫРОСТИ НЕ БОИТСЯ.

Махнув рукой, мать подходит к правому подлокотнику кресла и опускается на корточки.

— Зайдите с той стороны, — говорит она, и я, повинувшись, подхожу и присаживаюсь у левого подлокотника.

Девушка поворачивается ко мне, смотрит внимательно, и я вижу свои глаза в ее зрачках и вместе с ней разглядываю себя, смущенного, и, наконец не выдержав, отвожу взгляд.

— Простите, — с едва уловимой иронией говорит она.

— Пожалуйста, — не сразу отвечаю я.

Она обхватывает нас руками за плечи, мы поднимаемся медленно и медленно поднимаем ее, и вот уже стоим, выпрямившись, и руки наши переплетены, мы образуем самодельное, неуклюжее существо о трех головах, и существо это начинает осторожное, размеренное движение. Мы удаляемся от кресла — шаг, еще полшага, — и я стараюсь не смотреть вниз, но все-таки вижу безвольно висящие ноги девушки, и временами носки ее ботинок утыкаются в пол, как бы протестуя и порываясь идти самостоятельно, и мне кажется, она шагнет сейчас, стоит только попытаться — ну, попробуй же! — но нет, ботинки оскальзываются, волочатся по полу, будто их за веревочку тащат, и мы подхватываем девушку, подымаем выше — шаг, еще полшага, — поворачиваемся, боком протискиваемся в дверь, боком проходим прихожую, переступаем порог и останавливаемся на лестничной площадке.

Спускаемся, тоже размеренно и осторожно. Лестница узковата для троих, и я прижимаюсь боком к перилам, а женщина то и дело цепляется плечом за стену, и мы преодолеваем первый пролет и переходим ко второму, и ботинки девушки соскакивают со ступеньки на ступеньку, падают с глухим стуком, словно печатью удостоверяя каждый наш шаг. Я слышу частое дыхание женщины и, покосившись, вижу капельки пота на ее переносице и на верхней губе, а ботинки стучат, отсчитывая шаги, и стук этот, размноженный эхом, разносится по этажам, возвращается, сопровождает нас, и женщина ртом хватая воздух и выдыхает

со свистом, и, отчаявшись, я чуть ли не выкрикиваю в ухо девушке:

— Дайте-ка я понесу вас на руках. Вы не против?

Она умудряется пожать плечами:

— Если хотите.

— Вам будет тяжело, — слабо протестует женщина.

— Ничего, — бодрюсь, — пятьдесят шесть килограмм мне под силу.

Нагибаюсь, подхватываю девушку под колени, поднимаю, и она, устраиваясь поудобнее, обнимает меня за шею, невзначай касается щекой моего подбородка и, словно обжегшись, отстраняется резко. Я улыбаюсь про себя, и теперь все проще, чем было только что. Лестница оказывается не такой уж длинной, и женщина открывает передо мной дверь подъезда, и я выхожу с девушкой на руках во двор, безлюдный, к счастью — ни зевак, ни сочувствующих, огибаю дом, и улица тоже безлюдна, лишь вдали на трамвайной остановке чернеет толпа, но ей не до нас, и я иду по тротуару, несущу девушку к машине, и женщина едва поспевает за мной.

Увидев нас, таксист выскакивает из машины, смотрит изумленно, стоит, забыв о холоде, потом, спохватившись, садится, заводит мотор и задним ходом едет нам навстречу. Поравнявшись, он останавливается, открывает изнутри заднюю дверцу и протягивает руки, готовясь принять девушку, но она отстраняет его взглядом, хватается за спинку переднего сиденья и ловко, а может быть, привычно, втягивается внутрь, и я подаю следом, как нечто не принадлежащее ей, ее бедра, колени, щиколотки.

Женщина усаживается рядом с дочерью, я сажусь вперед, хлопают дверцы, машина трогается, и движение, встречный бег домов и заиндевелых деревьев, подменяет собою действие и превращает нас в зрителей. Можно вполне естественно молчать и молча переживать происходящее — ах, крутой поворот, ох, злодей-самосвал, — мы свободны теперь, независимы друг от друга, сидим себе в первом и втором ряду партера, занимаем места согласно купленным билетам, и только таксист, которому, видно, приелась уже роль зрителя, все поглядывает на меня вопросительно, но я смотрю прямо перед собой, и он вздыхает — то ли о себе печалится, то ли обо мне, безъязыком, то ли о девушке.

Подъезжаем к старому трехэтажному зданию больницы, к самому входу, к высокому гранитному крыльцу, и вот

уже с девушкой на руках я поднимаюсь по ступенькам, и женщина распахивает передо мной дверь. С первого раза войти мне не удастся, и со второго тоже, и я вспоминаю избитый кинокомедийный трюк — человек с лестницей, жердью или с чем-то еще, торчащим поперек, пытается войти куда-то или выйти. Мне не смешно, я сам теперь в нелепом положении г е р о я, я вижу Чермена с вязанкой хвороста за плечами и вижу страдальческое лицо женщины и, примерившись, силой продаираюсь в дверь, с облегчением выдыхаю густой фармацевтический дух.

В коридоре стоят двое на костылях, смотрят на нас без любопытства, и мы идем мимо них — я впереди, женщина за мной, подходим к следующей двери, и я напрягаюсь заранее, но дверь открывается вдруг, и перед нами возникает крахмальный халат и круглое, румяное лицо молоденькой медсестры.

— Зарина! — радостно восклицает она и, повернувшись, кричит кому-то: — Зарина пришла!

П р и ш л а, думаю я, и повторяю про себя имя:
ЗАРИНА.

На пороге появляется вторая медсестра, такая же молоденькая, румяная и черноглазая. Сияют снежной белизной халаты, сияют улыбки. Поздоровавшись, вторая медсестра косится на меня лукаво и спрашивает:

— А это кто, Зарина? Твой жених, да? Ну, говори, не стесняйся!

Стою, переминаясь с ноги на ногу, беспомощно оглядываюсь на женщину, а девушка, которую я держу на руках, Зарина, вдруг улыбается, да, я впервые вижу ее улыбающейся. Заметив женщину, молоденькие медсестры здороваются смущенно и, вспомнив о своих обязанностях, берут у меня с рук девушку, несут к себе, и одна из них захлопывает ногой дверь, и снова, теперь уже из-за двери, слышится смех. Они продолжают допытываться обо мне, и я злюсь — нашли, о чем говорить с парализованной девушкой.

О, доброта людская!

— Как вы будете возвращаться? — спрашиваю женщину.

— Не знаю, — отвечает она, — что-нибудь придумаю.

Смотрю на часы. Опаздываю уже на двадцать минут. Спрашиваю:

— Сколько времени уйдет на процедуры?

— Около часа.

Опоздать на двадцать минут или на два часа — велика ли разница?

— Ладно, — говорю, — я помогу вам. Только пойду отпущу машину.

Лицо женщины разглаживается, черты становятся мягче, взгляд светлеет.

Выхожу на улицу. Таксист рвется мне навстречу, кажется, даже машина боком подалась ко мне.

— Что с ней такое? — спрашивает он.

— Паралич.

— Ой, горе, — сокрушается он, — ой несчастье!

— Я остаюсь, — говорю, — отвезу их домой.

Протягиваю ему деньги.

— Когда? — спрашивает он.

— Через час.

— Спрячь свой рубль! — сердится таксист. — Божеское дело делаем, а ты деньги суешь! Слушай, — говорит он, — вместе отвезем их. Через час я подъеду. Ровно через час я буду здесь. Клянусь матерью!

Он оказался клятвопреступником.

На КПП воинской части, в маленький домик, встроенный в кирпичный забор, я вваливаюсь с Зариной на руках. Мы вваливаемся все вместе — мать Зарины, таксист-клятвопреступник и другой, который вез нас обратно, две медсестры и двое на костылях, старик из автобуса, хозяйка белой овечки и сама овечка, чистенькая и покорная. Дежурный долго вертит в руках предъявленную мной повестку, подозрительно смотрит на меня, спрашивает грубовато:

— Вы что, с перепою?

— Вроде бы нет, — отвечаю. — А вы?

— Вам положено являться в 8.00, — суровееет он.

— Знаю, — говорю, — но обстоятельства выше нас.

Он нехотя возвращает мне повестку и жестом регулировщика указывает на дверь:

— Проходите.

В глубине просторного двора, у складских помещений стоят мои сопризывники, одетые в ватные бушлаты, ватные брюки и валенки, стоят все шестеро, заиндевелые, толстые, как снежные бабы, и перед ними в ладной своей шинельке,

в хромовых сапожках прохаживается младший лейтенант Миклош Комар. Увидев меня, он останавливается и, ухмыляясь насмешливо, следит за моим приближением.

— Ты, часом, не служил в гусарах? — спрашивает. — Откуда у тебя такая старомодная выправка?

Закарпатский венгр, он приобщался к русскому языку через украинский.

— Что за маскарад? — интересуюсь. — Чего нарядились, рекруты?

Мои сопризывники радостно гогочут.

— Отбываем на стрельбища, — сообщает Миклош, — а тебе приказано явиться до полковника. Шагай, — говорит он, — через пять минут придет машина, постарайся обернуться за это время.

Не получается у меня сегодня, не оборачиваюсь я.

Иду в штабной корпус, в казенный дом, построенный в начале века. Поднимаюсь на второй этаж. Передо мной длинный полутемный коридор. Останавливаюсь у печной дверцы, слушаю, как гудит огонь. Пахнет сосновой смолой, сырым углем, табачным дымом, ваксой, и запахи эти, смешиваясь, возбуждают смутные воспоминания, и я стою, вбирая тепло, и вижу приоткрытое поддувало и крашеный пол, обитый у подножья печи гнутой, продавленной жестью, и чугунную выюшку, высунувшуюся из дымохода, и высокий, сводчатый потолок, и небольшое окошко в торце коридора, и слышу глуховатый голос огня, повествующий о медленном времени, о прошлом уюте, о дороге, по которой не возвращаются.

О, светлая печаль!

Улыбаясь, отворяю дверь кабинета, заглядываю, спрашиваю:

— Можно?

Полковник Терентьев сидит за столом, складывает какие-то бумаги в папку. Тускло поблескивают звездочки на широких погонах, поблескивает седина в русых волосах.

— Здравствуйте, — говорю, — вы меня вызывали?

Он подымает голову, смотрит, и большое добродушное лицо его насупливается, и, глядя исподлобья, из-под реденьких бесцветных бровей, он кричит воинственным фальцетом:

— То, что вы одеты в штатскую одежду, не дает вам права на разгильдяйство! Вы призваны на переподготовку,

значит, находитесь в рядах Советской Армии и должны подчиняться ее уставам! Никаких «можно»! Никаких «здоровствуйте»! Вы обязаны доложиться старшему по званию как положено! Лейтенант-инженер такой-то по вашему приказанию прибыл! Вам ясно?! Выйдите в коридор и постарайтесь вернуться сюда офицером!

Выхожу, оглушенный. Снова открываю дверь:

— Разрешите?

— Слушаю вас.

— Лейтенант-инженер такой-то по вашему приказанию прибыл!

— Вольно, — не заметив ничего неладного, говорит он и приглашает вполне по-штатски: — Садитесь.

Присаживаюсь у краешка стола. Полковник подвигает ко мне лист бумаги и простенькую шариковую ручку:

— Пишите объяснение. По поводу вашего опоздания.

— Может быть, устно? — спрашиваю я.

— Устно нельзя! — отрезает он.

Задумываюсь — что писать? — а в памяти прокручивается первый день занятий. Тот же кабинет, те же действующие лица. Стоим у окна, и полковник говорит, словно сокровенным делится:

«Будем готовить вас на должность начальника полевого хлебозавода».

«Но я ничего не смыслю в хлебопечении, — развожу руками, — я ни дня не работал в пищевой промышленности вообще».

«Однако на военной кафедре института вы обучались по специальности «продовольственное снабжение»?»

«Это было так давно, что я успел все позабыть».

«Ничего, за эти две недели мы напомним вам теорию и ознакомим с материальной частью, а осенью призовем на сборы и дадим возможность попрактиковаться в полевых условиях».

«А может, оставить эту затею? Не проще ли использовать меня по профилю моей теперешней специальности?»

«Вы нужны нам именно в том качестве, о котором я говорю».

ИТАК,

если взойдет искусственный гриб, то в тени его чудовищной шляпки

Я БУДУ МЕСИТЬ ТЕСТО, ПЕЧЬ ХЛЕБ.

Торопясь, пишу в объяснительной: «Опоздал, потому

что проспал». Это в большей степени соответствует истине, чем повесть о парализованной девушке, беллетристика, которую мой единственный читатель счел бы, наверное, изощренной ложью. Да и была ли она, Зарина? (Привыкаю к ее имени.) Если бы я проснулся вовремя, встал и вовремя вышел из дома, вовремя сел в автобус или в трамвай — если бы, если бы. Отдаю бумагу полковнику, он читает, шевеля губами, отрывается, долго смотрит на меня.

— Шутка? — спрашивает наконец.

— Нет, — отвечаю, — правда.

— Что ж будильник-то не завел? — простодушно удивляется он.

— Завел, — говорю, — да звонка не услышал.

Полковник качает головой:

— Эх, молодость, молодость.

С высоты его лет я кажусь вопиюще молодым, наверное, даже юным, пожалуй.

— А я за всю свою жизнь ни разу не проспал, — с грустью говорит он вдруг, — не было такой возможности.

Вот и биография. В одной-единственной фразе. И не нужно личного дела, анкет никаких. Исчезают погоны, петлицы, мундир, и полковник предстает передо мной голым — славная наша мотопехота, царица полей — голый и грустный полковник. Серая кожа, опущенные плечи, отвисший живот. Подтянитесь, полковник, вы не так уж плохо выглядите для своего возраста. Сколько вам, кстати? А вдруг вы проживете еще столько же, и мы, сравнившись, два долгожителя — мне девяносто, вам около ста двадцати — будем сидеть себе целыми днями на бульваре и под шелест листьев беседовать неторопливо, вспоминая прошлое и предполагая будущее. Будем сидеть, олицетворяя собою вечность, и, беседуя, поглядывать исподтишка на проходящих девушек. (Вы заметили, наверное, что в каждом следующем поколении они становятся все красивее, если счет поколениям вести от окончания войн?) Ах, полковник, время опадать листьям и время распускаться. И ничего тут не поделаешь, хоть мне и хотелось бы как-то поддержать вас, помочь, хоть слово доброе сказать — но где оно, это слово?

— Вы свободны, — вздыхает он, — идите.

— Слушаюсь, — говорю, — впредь можете быть во мне уверены.

Вижу во дворе тупорылый грузовик, крытый зеленым

тентом, и подпрыгивающих своих сюрпризвников. Они толкают друг друга, греясь, смеются, им хорошо здесь, вдали от работы, от сумрачных лиц начальства, они рады двухнедельной передышке от обыденности, они играют в бравых солдат.

— Ну, как? — спрашивают меня. — Что полковник?

— А-а, — отвечаю небрежно, — поговорили по душам.

Слышу голос Миклоша Комара, он зовет меня на склад, и я иду, выбираю себе в ворохе обмундирования ватный бушлат, брюки и валенки. Переодеваюсь, подпоясываюсь брезентовым ремнем, выхожу, смешиваюсь со своими сюрпризвниками, такой же толстый и неуклюжий, как они, толкаю кого-то и меня толкают, и все мы на одно лицо, и я уже сам не знаю точно, который из нас я.

— По машинам! — командует Миклош, будто всю дивизию ведет за собой или полк по крайней мере.

Карабкаемся один за другим, оскальзываясь в негнушихся валенках, забираемся в кузов, задергиваем зеленый полог, усаживаемся на продольные скамейки, слышим, как хлопает дверца, — это Миклош занимает свое место в кабине, — как взывает стартер, и машина трогается и, проехав немного, останавливается у высоких железных ворот возле КПП. Ворота повизгивают, открываясь, и сквозь визг этот доносится до меня знакомый голос дежурного:

— Коля, опоздавший тоже едет?

— Да, — отвечает Миклош, или Коля, как зовут его сослуживцы, — едет, а что?

— Я бы не допускал его к оружию. Он не в себе, помоему. Может, алкоголик?

— Нет, — усмехается Миклош, — он не пьет. Он вообще такой.

Какой? Какой?

— Смотри, тебе виднее, но я бы поостерегся.

Мигают светофоры, красные, желтые, зеленые огоньки, но мы не видим их из-под тента, не видим дороги и не знаем, куда нас везут. Мы молчим, замороженные движением, свистом ветра, слепым стремлением вперед. Но вот уже город позади, и машина перестает спотыкаться на перекрестках и набирает ход. Нас потряхивает, колотит друг о друга, и мы оживляемся понемногу, устраиваемся поудобнее, и двое заводят разговор о перепелах, зайцах, кабанах и медведях, о различных способах их умерщвления, и мы привычно подшучиваем над ними, охотниками, пятеро про-

тив двоих, а машина мчится по шоссе, рассекая застывшее пространство, и все умолкают вдруг, ощущая в себе страстный позыв, неодолимое желание озвучить скорость песней. Из глоток вырываются коротенькие, спазматические вокализы; разноплеменное общество наше — четыре осетина, ингуш, армянин и русский — ошупью пробирается к единству, и, наконец, оно найдено: друзья-охотники запевают с отчаянной лихостью, и остальные подхватывают громкоподобно:

А если что не так, не наше дело,
Как говорится, Родина велела.
Как славно быть ни в чем не виноватым,
Простым, как я, солдатом, солдатом...

Ревет мотор, ветер полощет тент над нашими головами, и мы сидим, тесно прижавшись друг к другу, и самозабвенно поем; и я сижу на скамейке в больничном коридоре, разглядываю щербинки на противоположной стене и слушаю мать Зарины, и это не стало еще прошлым, но уже и не настоящее.

«Меня зовут Фируза, — говорит она, словно взвешивая свое имя. — Друзья Зарины называют меня тетей Фирузой. — Она сомневается — ей лет сорок пять, мне около тридцати — «тетя» тут явно не годится. — Фируза Георгиевна», — предлагает она, оставляя за мной право выбора.

«Алан», — говорю я.

Очень приятно, рад познакомиться, судьба счастливо скрестила наши пути, скрестила-совместила, и вот мы сидим и ждем, а где-то рядом люди в белом свершают таинство процедур над распростертым телом Зарины, и она тоже ждет, прислушиваясь к себе, надеясь и не веря. Она гимнастка, — узнаю, — ушиблась на тренировке, потеряла сознание, а когда пришла в себя, встать не смогла. Головной мозг не поврежден, опорно-двигательный аппарат цел и невредим, симптомы-синдромы-рентгеноскопия, врачи ничего не могут понять и тоже ждут, и это тянется уже почти два месяца.

«Почему именно с ней такое случилось? — Фируза Георгиевна смотрит на меня, словно я скрываю что-то. — Почему?»

«Если вам понадобится моя помощь, — говорю, — не стесняйтесь, я всегда к вашим услугам».

«Что вы, мы и так вам благодарны».

Подумав, она достает из кармана записную книжку и говорит:

«Дайте на всякий случай номер вашего телефона».

«Нет его у меня, — вздыхаю, — три с половиной года стою на очереди, но все не ставят».

«Да? — оживляется она. — Я имею к этому некоторое отношение... Ну-ка напишите здесь фамилию, имя, отчество и свой адрес».

Пишу, склонившись, вывожу свои опознавательные знаки и вижу вдруг краешек белого халата, появившийся передо мной, краешек халата и полные, крепкие ноги. Поднимаю голову — это знакомая медсестра, одна из тех двух, но теперь уже не румяная, как прежде, а бледная, осунувшаяся, усталая.

«Мы закончили, — говорит она. — Машина у вас есть?»

«Должна быть, — отвечаю, — сейчас проверю».

Выхожу на улицу, озираюсь, но теплолюбивого друга моего нет как нет, им даже не пахнет, и я в сердцах проклинаю род его до седьмого колена.

И снова мы едем молча, смотрим прямо перед собой — бегущие дома, заиндевелые деревья, — и теперь вздыхает другой таксист, вздыхает и вопросительно поглядывает на меня, не смея обернуться и встретиться взглядом с девушкой, и вот уже я несу ее на руках, поднимаюсь по ступенькам — двадцать пятая, двадцать шестая, — и Фируза Георгиевна открывает передо мной дверь, и я протискиваюсь боком, боком минуя прихожую, вхожу в комнату и опускаю Зарину в ее кресло.

«Вот и все, — говорю, отдышавшись, и к ужасу своему добавляю казенное: — Выздоровливайте».

«Спасибо, — кивает Зарина. — Простите, что побеспокоила вас».

«Ну, что вы, — улыбаюсь с наигранной бодростью, — я всегда готов, только скажите».

«Это вам быстро надоест», — говорит она.

«Как тебе не стыдно?!» — восклицает мать.

«Не хочу зависеть от случайностей, — говорит Зарина, — ни от кого не хочу зависеть. Пусть уж лучше выносят меня на носилках».

«Зачем вам это?» — начинаю и осекаюсь, поняв двусмысленность своих слов.

«Прощайте», — отворачивается она.

САНИТАРЫ ТОРЖЕСТВУЮТ ПОБЕДУ.

Опускаюсь по лестнице, легкий и быстрый, бегу, то-ропясь, а Зарина остается, и мне вспоминается дикая груша, лежащая на мокрой земле, и я бегу, и двое на костылях печально смотрят мне вслед, и жалобно смотрит мать Зарины, и где-то корчится в муках совести проклятый мной таксист, и я бегу, и зеленый тент полощется над моей головой, полощется от крика моего, от разудалого пения.

КАК СЛАВНО БЫТЬ СОЛДАТОМ.

Грузовик останавливается, и снова слышится повизгивание железных ворот, слышится голос Миклоша Комара, и еще чьи-то голоса, и в кузов к нам ловко запрыгивает молоденький лейтенант с двумя пистолетами на поясе. Он здоровается с нами, усаживается на краешек скамейки, и снова мы едем, но не поем больше, — молчим, предчувствуя конец пути, и машина останавливается вскоре — пункт назначения. Один за другим пробираемся к заднему борту, переваливаемся через него, прыгаем на землю.

Белесое поле простирается перед нами. Белесое солнце тускло светится в белесом небе. Белесые холмы предгорий вздымаются вдаль, и заиндевелые деревья на их склонах поблескивают, как морозные узоры на стекле. Главный хребет почти не виден, он словно размазался в белесом воздухе, потерял очертания, и только смутно проглядывают в высоте сероватые пятна — обдутые ветрами, обесснеженные выступы скал.

Поле, на краю которого мы стоим, — это место стрельбищ, тир, огороженный от мира высоким бетонным забором. Слева от нас, метрах в тридцати, опустившись на колени, стреляет из спортивной винтовки сержант в теплой меховой куртке. Винтовка вздрагивает в его руках, бьет звонко и оглушительно, и эхо подхватывает выстрел и бестолково мечется между бетонными стенами. Сержант приникает к стереотрубе и бесконечно долго, как целился только что, разглядывает далекую мишень, и лейтенант с двумя пистолетами спрашивает:

— Ну, как, Петраков?

— Неважно, — после долгого молчания отвечает тот.

— А вот и мы приступаем. Наша мишень стоит совсем рядом, до нее, кажется, рукой можно достать.

— Мало патронов даете, — жалуются охотники. Они отстрелялись первыми — 22 очка и 23 — слабовато для опытных зверобоев.

— Два пристрелочных, три зачетных — вполне достаточно, — говорит лейтенант, оставшийся с одним пистолетом.

— Вы не учиться сюда прибыли, а зачет сдавать, — поясняет Миклош Комар.

Гремят выстрелы. Методично поражает цель сержант Петраков, суетясь, дырявят мишень мои сопризывники.

...Вижу — после каждого выстрела бурыми чешуйками осыпается кора с сухостойного вяза. Чешуйки скользят по стволу дерева, мягко ложатся в подножье, в редкую невысокую траву. Смотрю на вороненый «Вальтер» в руке Чермена, слежу за самой рукой, за медленным движением ее — рука поднимается, тянется к вязу, и я жду, затаив дыхание, готовлюсь, но выстрел каждый раз застает меня врасплох, и я вздрагиваю и жмурюсь, оглушенный, а чешуйки сыпятся беззвучно, исчезают в траве. Мы одни в густом предгорном лесу, Чермен и я, и никто не знает о нас, не догадывается о нашей тайне, и причастность к запретному возбуждает, волнует меня, я с нетерпением жду, когда Чермен разрядит пистолет и даст его мне, и вот уже он у меня в руках, тяжелый, теплый; я не понимаю еще его истинного предназначения, но кровь бросается мне в лицо, и я целюсь, тычу пистолетом в разные стороны и кричу — бах! ба-бах! — кричу звонко и радостно. Верю — когда я подрасту, мне будет позволено

СТРЕЛЯТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ,

и я целюсь в дерево, представляя себе, как посыпятся вниз на траву бурые чешуйки омертвевшей коры.

Это я представляю себе, но вижу другое — отец стоит посреди двора, держа наш «Вальтер» за ствол, а мы, понурившись, смотрим себе под ноги, я и Чермен, разглядываем облупленные носки своих ботинок. Собираясь что-то чинить или просто взглянуть как там крыша, отец забрался утром на чердак, но, обнаружив случайно наш тайник, тут же спустился, вышел во двор и кликнул Чермена. Увидев пистолет, я тоже подошел, хоть меня и не звали, и вот мы стоим, невеселые братья, и отец спрашивает хриплым от ярости голосом:

«Где ты его взял?!»

Чермен еще ниже опускает голову, молчит, и я, чтобы взять часть вины на себя, хочу ответить за него, признаться в своей осведомленности, сказать, что он нашел пистолет в брошенном окопе, во время войны — тогда много чего

можно было найти, — хочу сказать это, но не могу, не смею открыть рта. Не дождавшись ответа, отец поворачивается и, хромя сильней обычного, идет к уборной, распахивает дверь, входит, и зловонная жижа, тяжко хлюпнув, глотает наш «Вальтер». Выйдя, отец подходит к нам, останавливается на прежнем месте и, глядя на Чермена в упор, говорит:

«Если тебе не терпится, если так хочется стрелять, можешь достать его оттуда».

Как страшно он произносит это слово — с т р е л я т ь.

И вдруг, словно впервые заметив меня, отец рывкает:

«А тебе что нужно?! Ну-ка, марш домой!»

Свет меркнет в моих глазах, и последние слова я слышу уже на ходу — ноги сами срываются с места, сами несут меня к дому, и, преследуемый отцовским взглядом, холодея от жуты, я перескакиваю через ступеньки, пробегаю веранду, толкаю дверь, стремясь скорее к матери, к ласковому теплу ее и спокойствию.

...Гремят выстрелы. Сопризывники мои выбивают по очереди 18 очков, 21, 22, 19...

— Вольные стрелки, — усмехается Миклош Комар. — Пистолет, как рогатку, держат.

— Миклош, — спрашиваю вежливо, — а сам ты умеешь стрелять?

— Я?! — взвизгивает он. — А ну иди, стань по перед мишенью, если не боишься! Пули у тебя по-над ухом цвиркнут и все в десятку лягут!

— Иду, — пожав плечами, трогаюсь с места.

— Линию огня без команды не переходить! — вскрикивает лейтенант.

Останавливаюсь, возвращаюсь.

Миклош стягивает перчатку, берет пистолет и трижды стреляет навскидку. 28 очков.

— Ковбой, — восхищаюсь я, — гроза прерий.

— Не то, что некоторые, — сплевывает он. — Которые только языком могут трепать.

— Подожди, — говорю, — теперь моя очередь.

...Спускаюсь в подвал, в наш институтский тир, тяну на себя тяжелую, окованную железом, дверь.

«Явился, — ворчит кудрявый тренер Бегма, — давненько не виделся».

«Зачеты», — улыбаюсь виновато.

«Нашел причину, — кривится он. — Ладно, — машет рукой, — раз пришел, стреляй».

Потом мы разглядываем мою мишень, и Бегма удивляется и сокрушенно качает седой головой.

«Ты же стрелок от бога,— вздыхает он. — Ходи каждый день, и года через два-три мы будем золото брать, мир повидаем».

На левой руке его вытатуирована женская головка с высокой довоенной прической. Под головкой крупные, аляповатые буквы: ЛЮБА-ЛЮБОВЬ. Документально зафиксированная, заверенная печатью, НЕСБЫВШАЯСЯ МЕЧТА.

(Жену его зовут Клавдией Ивановной.)

«Хорошо,— киваю неуверенно,— с будущего понедельника»...

Мне видится наш с Черменом «Вальтер», вспоминается праздник в глухом лесу, игра, которую Бегма пытается скопировать, лишит волнующей прелести, превратить в обыденность, в ежедневный прозаический труд, возведенный в смысл жизни, и я слышу окрик отца: «Ты что тут делаешь?!» и голос директора школы: «Ему не хватит прилежания», и знаю, что не приду сюда завтра, и послезавтра тоже, и мне неловко перед тренером, и утешает меня только то, что на другой, на правой его руке еще не вытатуирована мужская голова с разлапистой подписью: АЛАН-ЧЕМПИОН.

Бегма с сожалением смотрит на меня.

«Не обижайся,— говорит,— но на инженера можно выучить любого дурака, а классный стрелок — это явление».

...Держу пистолет, привыкаю после долгого перерыва к его веской массе, обретаю его, и вот уже он не просто лежит у меня в руке, а рука как бы продолжается им, и это единство становится все органичнее, и взрывчатая сила, заключенная в нем, ощущается мной, как собственная,— кто знает, может, слияние это предопределено, заложено в мой генетический код? Ах, видно, предкам моим, к р е с т ь я н а м, частенько приходилось упражняться в стрельбе.

Трижды нажимаю на спусковой крючок, выбиваю 29 очков.

— Ну,— улыбаюсь Миклошу,— что вы скажете?

— Случайность,— отмахивается тот. — Ну-ка, дай пистолет!

Он тщательно прицеливается, но прежней уверенности

в нем уже нет, есть только азарт и страх поражения.

Три новых дыры появляются в мишени — 27 очков.

— Да-а,— сочувственно тяну я,— плоховато.

— От же хвастун! — злится Миклош. — От выставляется! — Он сует мне пистолет: — А ну, давай еще раз, если отвечаешь за себя!

Стреляю, и сюрпризники мои ликуют — снова 29.

Лейтенант, безучастно наблюдавший за состязанием, расстегивает кобуру, достает пистолет, становится в позицию — все это ловко, изящно — и выбивает 30 очков. Честь армии спасена.

— Чемпион части,— уважительно сообщает о нем Миклош,— мастер спорта... Витя,— заискивающе обращается он к лейтенанту,— дай я из твоего попробую, этот плохо пристрелян.

Лейтенант застегивает кобуру:

— Свой пистолет и жену...

— Куркуль ты, Витя! — обижается Миклош. — Куркулем и помрешь!

— Не кипятись,— успокаивает его лейтенант,— все равно он лучше тебя стреляет.

— Он лучше меня?! — оскорбленно переспрашивает Миклош и собирается сказать еще что-то, но умолкает вдруг, и лейтенант тоже, и мои сюрпризники, и даже Петраков откладывает винтовку — и мы все умолкаем, удивленно прислушиваясь к резким гортанным вскрикам, доносящимся сверху, задираем головы и смотрим в небо.

Там, в промозглой белесой высоте, нестройным клином летят журавли. Они уже прошли над горным хребтом, над вечной мерзлотой вершин, и это было самое трудное, и, оставшись позади, оно еще придерживает их за оцепенело вытянутые ноги, а внизу, в начале равнины не слышно журчания талых вод, и не цветут фиалки, и дальше на тысячи километров земля заморожена и замечена снегом, но журавли ворочают крыльями, словно обледеневшими веслами гребут, устало, через силу, подвигаясь к северу, и что-то безысходное есть в тяжелой их работе, в упорном стремлении к неясному, призрачному берегу.

— Одиннадцать,— шепотом считает лейтенант.

— В этом году все перепуталось,— вздыхает кто-то.

— Эй, как там тебя?! Петраков! — дурашливо орет один из охотников. — Можешь достать их из своей пушки?

— Я тебе достану! — срывает накопившееся Миклош

Комар. — Так тебе достану — кишки свои не соберешь!

— Они же все равно на верную смерть летят, — оправдывается крикун.

— Нет, — говорит второй охотник, — раз летят, значит, знают где-то теплое озеро или болото.

— А может, вожак ошибся? Это с ними бывает, с вожаками.

— А я думаю, они потепление чувствуют. Иначе не сунулись бы в перелет.

— Старики говорят — весна должна быть ранняя в этом году.

— Если ранняя, то где же она?

— Чего захотел! Только февраль начался.

Слушаю, смотрю на журавлей, стою как в сказке у развилки трех дорог и думаю о том, что мог бы стрелять сейчас на первенстве страны или мира, и это был бы кто-то другой в моем обличье, с другими связями и образом жизни, и в том же самом обличье я мог бы консервировать овощи и растить внуков Бесагура, крепить нашу семейную цитадель, и это тоже был бы я, как и третий, отвергший первых двух и размышляющий теперь о том, закономерен его выбор или случаен, и если это пришло мне в голову, значит, я сомневаюсь? или просто любопытствую? или печалюсь о том, что не могу идти сразу по трем дорогам и, следовательно, обречен на сомнения? Сентиментальный вариант биографии — ах, кем бы я мог стать! Или героический? Прекрасная тема для детской радиопередачи:

УГАДАЙКА.

А журавли улетают все дальше, и крики их уже не доносятся до нас, и только черные точки можно еще разглядеть в морозной дали, а вот уже и точек не видно, но мы смотрим им вслед, в пустое белесое небо, стоим как завороченные, не можем опустить головы.

— Отбой! — командует Миклош Комар. — По машинам!

И снова мы едем, и зеленый тент полощется над нами, и можно вроде бы заводить песню, но сюрпризники мои молчат, приуныв, каждый думает о своем. Один из них смотрит на меня, не отрываясь, он начал игру в гляделки еще на первой нашей переключке, и лицо его тогда же показалось мне знакомым, и надо было сразу подойти к нему и спросить: «Где я мог видеть вас раньше?» — но я не решился, а потом уже и не хотел этого, противясь его настой-

чивости, и вот он сам подсаживается ко мне и улыбается.

— Ты не помнишь меня? — спрашивает.

— Нет,— говорю,— прости,— развожу руками.

— Мы учились в одном институте, — слышу укоризну в его тоне.

— МТИПП? — уточняю, надеясь на ошибку.

— Я поступил, когда ты был уже на четвертом курсе,— говорит он,— потому, наверное, и не пришлось нам познакомиться... Хетаг,— он называет себя и протягивает руку. — Лучше поздно, чем никогда.

Киваю, соглашаясь:

— Алан.

В полном соответствии со сценарием, утвержденным для подобных встреч, он спрашивает: «Ты помнишь?», и я спрашиваю: «Помнишь?», и мы добросовестно вспоминаем, и он рассказывает институтские новости трехлетней давности, и лирическая часть сценария подходит к концу, и я жду, когда же будет задан наконец, бабахнет дуплетом неизбежный вопрос: «Где ты? Кто ты?», в ответ на который я должен буду огласить последнюю запись из своей трудовой книжки, выставить себя, как индюка на торгах,— смотрите, щупайте, приценивайтесь. Имя мое поблекнет, увянет, потеряется в тени громоздкого словосочетания —

СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,

и я не знаю, во сколько это будет оценено, но чтобы назваться так, я шагнул за порог, переступил мечту отца о Большом Доме, зачеркнул формулу, которую он вывел, пытаюсь определить

СМЫСЛ ЖИЗНИ,

и это легло на одну чашу весов, а на другой подпрыгиваю я сам, подпрыгиваю и надеюсь, что потяжелею со временем, нагрузившись еще более громоздкими словосочетаниями, и чаши уgomонятся наконец, и я войду в состояние равновесия.

А может, просто набрать в карманы камней?

— Помнишь? — спрашивает Хетаг.

— Помню, — киваю в ответ.

Он умолкает на мгновение и задает ожидаемый мною вопрос:

— Где ты работаешь? Кем?

— Я растратчик,— отвечаю, — скрываюсь от правосудия.

Он смеется, оценив шутку, говорит что-то, смеясь, и я вроде бы слушаю его и в то же время слышу другие голоса

и речи, вижу другие лица, сижу и, глядя на трепещущее полотно тента, думаю о том, что сыграл сегодня две роли на выезде, Санитара и Стрелка, и это ушло — надолго ли? — отодвинулось в прошлое, и мне предстоит теперь выступить на основной сцене в роли Конструктора, и занавес не поднят еще, но из оркестровой ямы доносится уже, пробивается сквозь смех торопливое соло будильника.

Шагнув за порог и выскользнув, таким образом, из теплых пеленок отцовской идеи, я сел в автобус, приехал в город, сдал чемодан в камеру хранения и пошел бродить по улицам, читая объявления о найме на работу и присматриваясь к фасадам учреждений и заводов. В первый день я ничего подходящего для себя не нашел, а на второй мне приглянулось трехэтажное здание с колоннами — административный корпус предприятия, которое горожане называли КБ, и я уже слышал это название, но что за ним кроется, понятия не имел. Сосчитав колонны, — восемь, — я потянул на себя дверь, вошел и оказался в тесной выгородке, за остекленной стеной которой мелькали люди в синих и белых халатах и люди в обычной одежде. Я двинулся дальше, в широкий проем, ведущий к ним, этим людям, но меня остановил пожилой и суровый боец ВОХР.

«Куда?» — спросил он.

«В отдел кадров», — ответил я.

«Налево», — сказал он.

Я повернулся и увидел дверь в торце выгородки и табличку над дверью — ПРИЕМНАЯ ОТДЕЛА КАДРОВ.

«Постучись», — предупредил боец, воспитывая меня попутно.

Недовольно покосившись на него, я постучал.

«Войдите», — послышалось изнутри.

Я шагнул в небольшой кабинетик и остановился у письменного стола, перед полной смугловатой женщиной, олицетворяющей собой неизвестность, в которой скрывалось, возможно, и мое будущее. Поздоровавшись, я выложил все, что имел, — свое имя, которое никому здесь ни о чем не говорило, и диплом МТИППа, явно не подходящий к случаю. Женщина внимательно просмотрела его, перелистала толстую тетрадь с записями, подумала, глянула на меня и вздохнула.

«Люди нам нужны, — сказала она и улыбнулась виновато: — Но вы совсем из другой оперы».

«Смейся, паяц», — пропел я про себя.

«Почему вы не устраиваетесь по специальности?» — спросила она.

Не зная, как ответить, я пожал плечами.

Отрекшись от консервного завода в селе, я не мог теперь консервировать и в городе, не мог подвизаться в пищевых производствах вообще — Чермен произнес, вступившись за меня: «Не для того он учился, чтобы варить варенье, как женщина», и слова его обернулись приговором, и я должен был реабилитироваться, найти какое-то оправдание своему уходу из кирпичносаманного Дома, и даже не просто оправдание, а нечто большее — смысл, который устраивал бы отца и служил компенсацией за разбитую его мечту.

«Простите», — сказал я и протянул руку к диплому.

«Подождите минутку, — остановила меня женщина; — я попробую позвонить в конструкторский отдел».

Она сняла трубку и набрала номер, а я стоял, готовый уйти без промедления, и слушал на прощание доступную мне часть диалога:

«Заурбек Васильевич?.. Здравствуйте... Да... Нет, он уехал в командировку... Двенадцатого... Не знаю... Обязательно... Температура уже нормальная, поправляется... Спасибо, передам... Нет, не видела... Что вы сказали?.. Конечно... Да... Да... Приятный молодой человек... Нет... Пока ничего не слышно... Хорошо... В четвертом квартале... Да... Ну, хорошо».

«Садитесь, — сказала она, — сейчас он придет».

«Кто?» — спросил я.

«Начальник отдела. — Она улыбнулась ободряюще: — Хочет поговорить с вами».

Он вошел, невысокий, плотный, большеголовый, и голова его чуть ли не от висков переходила в короткую, расширяющуюся книзу, шею, а шея как бы продолжалась туловищем — головогрудь, успел подумать я, вставая ему навстречу, и он сказал, покосившись на меня серым, утонувшим в набрякшие веки, глазом, буркнул невнятно:

«...а-а-ов», — то ли поздоровался, то ли фамилию свою назвал.

«Здравствуйте», — ответил я на всякий случай.

«Трудовую книжку», — сказал он в пространство.

«Нет у него, — мягко вступила женщина, — не успел еще завести».

Он взял мой диплом, повертел в руках, раскрыл, глянул мельком и усмехнулся криво:

«М-да, кадры решают все».

Я проглотил это и понял, удивившись, что каким-то образом уже подпал под его власть.

«Как у вас с дисциплиной?» — спросил он вдруг.

«В каком смысле?» — заинтересовался я, вскипая.

«В смысле поведения», — сказал он.

Я помолчал немного и, будто вспомнив, сообщил радостно:

«Папа и мама учили меня слушаться старших, не лгать и не обижать слабых. — Он насторожился, и я добавил с удовольствием: — По дисциплине у меня всегда была пятерка».

«М-да, — протянул он и отдельно, по складам произнес: — Хо-ро-шие-у-вас-ро-ди-те-ли».

«Спасибо», — поблагодарил я и улыбнулся про себя, подумав, что он похож на возницу, упустившего вожжи.

Однако он был из тех, кто умеет подхватывать упущенное на лету.

«Наше предприятие, — заговорил он жестко, — конструирует и производит нестандартное оборудование для научно-исследовательских институтов и заводов отрасли. (Какой? — чуть не спросил было я, но сдержался вовремя.) Дело это непростое и достаточно ответственное, а у вас, как я понимаю, нет ни опыта работы, ни специальной конструкторской подготовки. Поэтому единственное, что я могу вам предложить, — это должность техника... — Заметив, как вытянулось мое лицо, он добавил: — Старшего техника».

«Но я инженер вроде бы», — в отличие от него я не умел подхватывать вожжи на лету.

«Именно вроде бы, — едва заметно улыбнулся он. — Пусть вас не смущает мое предложение. Поработаете три-четыре месяца, — в тоне его зазвучали отеческие нотки, и я догадался, что с техниками у него неважно, — освоитесь, втянетесь в работу, и все станет на свои места. Обещаю вам. Производство наше расширяется, перспективы для роста — прекрасные, — он начал тормозить дремлющее мое честолюбие, — старший инженер, руководитель группы, ведущий конструктор... Все будет зависеть только от вас».

Вместе с вожжами он держал в руках уже и меня самого, и, переметнувшись на его сторону, я помогал угова-

рить себя: «Три-четыре месяца — пустяк по сравнению с вечностью, которая у тебя впереди», и, обескураженный собственным предательством, я рванулся в отчаянии:

«Учтите, я верю вам! Я вообще доверчивый!»

Он мягко, но решительно придержал меня:

«Как вас зовут?» — спросил.

«Алан», — послушно ответил я.

«А вашего отца?»

«Бесагур».

«Алан Бесагурович, — проговорил он, как бы утверждая меня в должности, и величественно протянул руку: — Заурбек Васильевич».

«Когда выходить на работу?» — спросил я помимо воли.

«Хоть завтра», — ответил он.

«Послезавтра, — уперся я на последнем рубеже своей свободы и оправдался тут же: — Мне надо определиться с жильем».

«Договорились, — сказал он и, повернувшись к женщине, покачал головой: — Ну, молодежь пошла, — усмехнулся, — мы были попроще».

Только на улице я вспомнил, что не спросил его о зарплате. Остановился было, спохватившись, но махнул рукой: десяткой больше, десяткой меньше — велика ли разница?

Оказалось — десяткой меньше, а три-четыре месяца растянулись почти на два года, и я освоился, и Заурбек Васильевич сдержанно похваливал меня на собраниях, ценя, видимо, за неприхотливость, и в то же время чуткой рукой натягивал поводья, стараясь и губы мне не порвать, и удила дать почувствовать, и неопределенность уже начала тяготить меня, но я не взбрыкивал и не взвивался на дыбы, зная, что последнее слово в любом случае останется за мной. Через год бесплодного ожидания, поняв, что ничего кроме комплекса неполноценности мне не дожидаться, я решился наконец сказать это слово, запечатлеть его на листе желтоватой конторской бумаги, написать размашисто и весело — ПРОШУ ОСВОБОДИТЬ МЕНЯ ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ. Поставив точку, я вздохнул было с облегчением, но тут же сообразил, что заявление это перечеркивает не только мое знакомство с неким З. В., неудавшееся и невозможное более, — оно перечеркивает заодно и целый год моей жизни,

отрицает его, отбрасывает меня назад во времени, толкает вспять к родительскому порогу.

(Счастье — иметь такого сына.)

Размышляя и сомневаясь, я носил заявление во внутреннем кармане пиджака, словно камень за пазухой держал, камень, которым чуть было не угодил себе самому в лоб, носил, пока оно не истерлось на сгибах и не упокоилось в мусорном ящике.

Внутренний бунт мой, по-видимому, каким-то образом проявлялся внешне, и З. В., приметив это, то и дело поглядывал на меня, беспокоясь. Он ждал, наверное, резкого выпада с моей стороны и хотел, чтобы все обошлось по-хорошему, чтобы я подошел к нему, деликатно напомнил о себе, попросил, и он осмотрел бы меня как собственное произведение, как чурбан, от которого отсечено все лишнее, и задумался бы, всем своим видом показывая сколь тяжки сомнения истинного художника. Он мог бы удовлетворить мою просьбу или отказать, оставшись на высоте и в том и в другом случае, но я молчал, и теперь уже он томился ожиданием, и мы общались т е п е р ь посредством мимики — я дарил ему сыновние улыбки, обескураживающие и раздражающие его, а он прятал глаза, стараясь не замечать меня и стараясь остаться незамеченным, неслышной тенью проскальзывал мимо моего кульмана, и я улыбался, вычерчивая несложные узлы и детали, пока не понял, что невинное развлечение мое изрядно пахнет мазохизмом.

Послав З. В. последнюю, прощальную улыбку и разоружившись тем самым, я взгрустнул, беззащитный, и подумал, грустя, о том, как славно было изобрести небольшой аппаратик, способный улавливать тот роковой миг, когда в сером веществе человеческого мозга начинает зарождаться
ДУРНОЙ ПОМЫСЕЛ.

Уловил этот миг и зафиксировав, аппарат незаметно развевал бы дурное, успокаивал пациента, убаюкивал и навевал ему

СВЕТЛЫЕ СНЫ ДЕТСТВА.

Ах, мечты мои, птички отважные!

Такой аппаратик, возможно, появится в будущем, но вслед за его появлением неизбежно возникнет проблема морально-этического свойства, требующая точного ответа на вопрос: что такое Дурной Помысел вообще и какими данными пользоваться при его опознании? Известно, что Дурной Помысел, наряженный в праздничные одежды, может

выглядеть добрее Доброго, а Зло — и это тоже известно — нередко творится как бы во имя грядущего Добра. И наоборот, и еще раз наоборот. И если бы кто-то непристрастный спросил З. В., зачем он два года выдерживал меня в техниках, как выдерживают в бочках вино, З. В. наверняка бы ответил, что делал это исключительно для моей же пользы, воспитывая и доводя меня до кондиции. И я, контролируя его при помощи лучезарных улыбок, тоже желал ему добра, и оба мы в конце концов оказались правы: после полуторагодовой выдержки я сумел сконструировать нечто не слишком значительное, но единственное в своем роде, нигде и никогда в мире до этого не существовавшее, а З. В., который вручал мне авторское свидетельство, выданное Комитетом по делам изобретений и открытий, сумел вполне душевно поздравить меня. Таким образом, помогая друг другу, мы поднялись над самими собой.

Авторское свидетельство — лист гербовой бумаги — я отвез в село и предъявил отцу как индульгенцию, отпускающую все мои грехи. Отец долго разглядывал красивую бумагу, пытаясь вникнуть в суть сотворенного мной и определить его истинную ценность, и, прочитав вслух мою — и свою, естественно, — фамилию, напечатанную крупно, сказал наконец, словно флажком отмахнул на промежуточном финише:

«Ну, что же».

Чермен хмыкнул, давая понять, что сдержанность отца ему кажется чрезмерной, и в тот же день вставил свидетельство в рамку, застеклил и повесил на стену в моей большой и светлой комнате, и все вошли и смотрели, радуясь и подшучивая надо мной, а я улыбался в ответ, и будущее рисовалось мне в самых радужных тонах.

Однако З. В., поздравляя меня, истратил, видимо, слишком много сил и на следующий шаг его не хватило — я по-прежнему оставался техником, а он все тянул, выжидая, и положение его было не из простых, в отделе уже начали поговаривать о наших отношениях, и однажды я услышал невзначай — речь шла обо мне, — как он сказал, защищаясь: «Случайность».

Слово это, тысячекратно преломившись в моем сознании, повергло меня в смятение, ошеломило, оглоушило, и, свалившись с высоты застекленного свидетельства своей недолгой славы, стоя на четвереньках и беспомощно озираясь по сторонам, я уже и сам не понимал, как удалось

мне вознестись до этого, и готов был поверить в собственную случайность, но З. В., сбив меня предварительно с ног, сам же и помог мне подняться. То ли контрвоспитание мое сказалось, то ли он решил, что дело зашло слишком далеко и может быть истолковано не только в его пользу, но так или иначе он подготовил вскоре и огласил, как бы отрекаясь от своего слова, приказ о переводе меня на должность инженера-конструктора. Отдел среагировал на это жиденькими, но достаточно ироничными аплодисментами, и З. В. растерялся на мгновение, не понимая, кому из нас двоих они адресованы, а я, высунувшись из-за кульмана, прокуковал застенчиво:

«Заурбек Васильевич, можно я еще три-четыре месяца побуду техником?»

«Скромнее надо быть! — рявкнул он, пригнув, как разъяренный бык голову, переходящую в шею, переходящую в туловище. — Надо быть скромнее, Алан Бесагурович!»

Головогрудь, подумал я, и четыре года ходил в рядовых инженерах, хоть перспективы для роста в отделе действительно были прекрасные.

За это время на стене моей комнаты рядом с первым пристроились еще три авторских свидетельства, потом еще два, и возле них, на верхней полке старого шкафа хранилась выгоревшая, вылинявшая детская рубашонка, та самая, сшитая для меня матерью из довоенных ситцевых лоскутьев, и светлая комната моя при мне живом начала обретать черты музея.

— Так все же, — допытывается Хетаг, — где ты работаешь? Кем?

Скажу ли — строю глобальные ракеты или конструирую механические игрушки для детей — что изменится здесь, в полутьме, под трепещущим тентом грузовика? Воссияет ли над моей головой нимб или я уменьшусь до размеров самоскачущей железной лягушки?

В каменном веке, вспоминаю, в добрые доисторические времена, двое знакомых, столкнувшись случайно в дремучем лесу, испуганно отпрыгивали в разные стороны, уползали в заросли папоротника, замирали, лежа, боясь шелохнуться, дыханием выдать себя, но, поборов страх, все же выглядывали осторожно, принохивались и, узнав друг друга, вскакивали на ноги, скалили щербатые пасти, вос-

клищали с радостным изумлением: «Жив?!» — и это «жив» более всего другого определяло тогда

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ.

— Ну, так все... — домогается Хетаг, хоть мне казалось, что я каким-то образом уже ответил ему.

Завести, что ли, сказочку, небылицу, заплести, понести окошеницу, задудеть, словно в пастуший рожок, заунывно и долго, запеть глуховато, как пели когда-то старики-сказители, слепцы и зрячие, пели, неторопливо поводя смычками по струнам бесценных своих самоделок.

Где они теперь, сказители?

— Там-то и там-то, — говорю, — работаю. Тем-то и тем-то, — отвечаю. Хетаг удивленно смотрит на меня, а я под гул грузовика начинаю бубнить монотонно: — Шагнув за порог и выскользнув, таким образом, из теплых пеленок отцовской мечты о Большом Доме...

Однако продолжить мне не удастся. Грузовик останавливается, слышится голос дежурного офицера и голос Миклоша Комара, повизгивают, отворяясь, ворота, машина снова трогается и, проехав чуть, останавливается во дворе воинской части. Круг замыкается, как замкнулся бы он, если бы мы не на стрельбище съездили, а кругосветное путешествие совершили, не выглядывая из-под тента.

Хлопает дверца кабины, и Миклош Комар командует: — Отбой!

Как кроток зимний свет, как быстро смеркается.

Предъявляю пропуск (в развернутом виде), боец ВОХР кивком благословляет меня, и, миновав проходную, я — отставной Санитар и несбывшийся Стрелок — поднимаюсь на третий этаж, иду в конструкторский отдел. Рабочий день закончился десять минут назад, в коридорах безлюдно, и я шагаю в ритме собственного пульса, и пустое здание резонирует, будто полость барабана, и я впечатываю каблук в ликующий паркет, озвучивая свое движение, и гулкий, грохочущий проход мой исполнен цирковой помпезности.

ПОСТУПЬ КОМАНДОРА.

Иду, смотрю в торец коридора, на дверь, в которую мне предстоит войти, пытаюсь увидеть, представить себе лицо Зарины, но тщетно — лишь белое пятно мерещится мне, белое пятно и смутно темнеющие впадины глазниц.

И снова она не Зарина, а безымянная девушка, сидящая в кресле, и она смотрит на неизвестную мне женщину, а та на нее, и обе смотрят так, будто продолжают какой-то неприятный разговор, и я стою, смущенный зритель, случайно оказавшийся на сцене, и, не решаясь прервать действие, терпеливо жду окончания безмолвного диалога. Рассеянно озираю комнату, в которой нахожусь, приглядываюсь внимательнее, но не замечаю ни одной вещи, хотя бы косвенно свидетельствующей о мужчине, обитающем здесь, и если бы он умер, соображаю, то на стене висел бы его портрет или что-то другое подтверждало бы его присутствие в прошлом, однако ничего похожего я не нахожу, мужчиной в этом доме не пахнет.

Уравнение с одним неизвестным.

Решаю его с помощью собственного жизненного опыта, обогащенного кинотелеинформацией, и получаю ответ, из которого явствует, что он бросил их, муж и отец, ушел к другой, давно или недавно, и мать, потерпевшая matrimonialное поражение, обесценилась в глазах дочери, и, рассматривая сл у ч и в ш е е с я как бы в диалектическом развитии, дочь с жестокой старательностью выкраивает из него первопричину всех своих неудач, настоящих и будущих.

Робкое молчание застывшей посреди комнаты женщины и хмурый, осуждающий взгляд девушки, обращенный к ней.

Они смотрят друг на друга, а я на обеих поочередно, и в душе моей, в этой мнимой субстанции, начинают прорастать семена раздражения. Девушка одета в пальто, на ногах ее теплые ботинки, и, следовательно, она тоже собирается ехать или собирается ехать одна, а ловить такси была отправлена другая, — подогреваю себя, — мать, персональная коза отпущения.

Вижу — она стоит на тротуаре и машет рукой, женщина в черной шубе. Мы останавливаемся и после недолгих переговоров — нам по пути — я приглашаю:

«Садитесь, пожалуйста».

Женщина мнетя в нерешительности:

«Мне надо еще»...

«Вещи?» — догадывается многоопытный таксист.

«Вещи? — подхватывает девушка. — Вещи? — переспрашивает хриплым от долгого молчания голосом. — Ты сказала ему — в е щ и, мама?»

«Не говорила я!» — вскрикивает женщина.

Жалкий вскрик этот звучит для меня как боевой при-

зыв. Я шагаю вперед и, вступаясь за женщину, за вселенскую женщину-мать, падвигаюсь на кресло и говорю девушке, словно камень в нее бросаю:

«Вставайте! (Если вы собираетесь ехать.)»

Она поворачивается ко мне, долго смотрит и спокойно так, безучастно отвечает:

У МЕНЯ ПАРАЛИЗОВАНЫ НОГИ.

Рушится стройное логическое здание, возведенное мной, дворец, сложенный из твердокаменных глыб обобщений, и я умолкаю, растерянный, мне хочется взять назад это злобное «вставайте», вговорить его обратно е-т-й-а-в-а-т-с-в, — н о с л о в о уже обрело собственную плоть, оно как бы материализовалось в пространстве, стало жестким и неподатливым, и я останавливаюсь в коридоре, замираю, вытянувшись, как шпагоглотатель, подавившийся клинком, и мне видится вдруг лицо Фирузы, Фирузы Георгиевны, и она спрашивает с тоскливой надеждой: «Вы не поможете нам?», и глаза у нее такие, будто она милостыню просит.

А из-за двери, ведущей в отдел, доносится звучное щелканье, но это не кастаньеты и Андалузия, мелькнув несбывшейся мечтой, тут же пропадает, выжженная равнина, на которую, знаю, никогда не ступит моя нога, размеренной трусцой бегущие мулы, неясные голоса и снова щелканье, и я устремляюсь на звук, путник, услышавший в ночи писклявый лай дворняжки, бегу, спасаясь, — топот разносится по коридору. Там, за дверью, в просторном и светлом зале мои коллеги-конструкторы, зависшие в сладостном безвременье между работой и домом, самозабвенно играют в домино, занимаются спортом, как это называется в отделе, играют в шахматы и в нарды, одерживают бескровные победы и терпят простительные поражения, свободные люди в мире условностей, отшельники, уклоняющиеся от семейных обязанностей, мужское, избранное общество, на страже интересов которого стоит суровый и бдительный боец ВОХР.

Приоткрываю дверь, вижу в ярком сиянии люминесцентных солнц построенное в семь рядов, дисциплинированное стадо кульманов, дремлющее на паркетной лужайке. Стою на пороге и, пытаюсь забыться и налегке войти в этот мир, придумываю сказочку о том, как поздно вечером, когда отдел пустеет, кульманы пробуждаются от спячки и начинают жить своей тайной, настоящей жизнью. Самый тяжеловесный из них усаживается в кресло начальника,

внимательно оглядывает зал — все ли на месте? — потом склоняет массивную голову и не спеша, с удовольствием просматривает бумаги, оставшиеся на столе — накладные, докладные, техзадания и техусловия — и, насмотревшись, встает и, в точности копируя походку З. В., совершает инспекторский обход. Он идет от кульмана к кульману, останавливаясь у каждого, мельком покосившись на чертеж, наколотый на доску, роняет фразу, другую и двигается дальше. Слышатся тяжелые шаги железных лап, и слышится железо-деревянный голос: «Как у вас дела, имя-отчество? Вы что-то затягиваете с эскизами, имя-отчество! Сходите в цех, имя-отчество, там не могут разобраться с вашими чертежами».

В конце каждого месяца кульман З. В. собирает подчиненных на производственное совещание. Он встает и, держа в правой передней лапе стопку рапортчиков, а левой упираясь в письменный стол, заводит речь о достижениях и недостатках: «Хорошо поработали кульманы шестой, четвертой, девятой и одиннадцатой групп. Кульман такой-то начертил столько-то листов. Кульман такой-то столько-то». Молодые кульманы насмешливо аплодируют. Это бунт, и З. В. умолкает на секунду, чтобы пресечь его строгим взглядом, и, выявив зачинщика, бросает походя: «Вы, между прочим, имя-отчество, два раза в этом месяце проснулись с опозданием». Прimitивно-количественная оценка их работы не нравится молодым кульманам, она кажется им обезличивающей, абсурдной, и, сговорившись, они в знак протеста записывают почти все чертежи, выполненные группой, на кого-то одного, и З. В. спотыкается на полуслове и договаривает неуверенно: «Кульман такой-то, фамилия-имя-отчество, начертил 42 листа». (48, 54) Бурные аплодисменты. (Головоломку с листами я придумал не сейчас, а раньше, в самом начале своей блистательной карьеры. Не потому ли мне так долго пришлось ходить в техниках?) Оправившись от потрясения, З. В. заканчивает речь. На дворе уже светает, и кульманы с тихой детской песенкой разбредаются по своим местам.

Сказочка кончается, и я вхожу в отдел и, стараясь перекрыть грохот разваливающегося за моей спиной Дворца обобщений, рявкаю молодцевато:

— Здравия желаю!

(Школа Миклоша Комара.)

Рабочий день окончен, но З. В. все еще листает, прос-

матрирует и складывает в папку бумаги. Его письменный стол стоит у лицевой стены зала, а напротив, у задней стены, сидит и пишет что-то Эрнст, Эрнст Урузмагович, ведущий конструктор. В центре зала, расположившись на своих и чужих рабочих местах, сражаются спортсмены, имена-отчества, герои настольных битв. Увидев меня, они машут приветственно, но соблюдая субординацию, я направляюсь не к ним, а к З. В., иду, а следом за мной плетется, поскрипывая слогамн-суставами, длинное, как жердь, слово в с т а в а й т е.

Прибавляю шаг, надеясь избавиться от него, но и оно прибавляет, не отстает от меня, гонится по пятам, и, отчаявшись уже, я вспоминаю о дереве, стоящем во спасение мне, о дикой груше. Бросаюсь к ней, подпрыгиваю, цепляюсь за ветку, лезу — мальчишка с ободраанными коленками — и слышу голос матери: «Не забирайся высоко, сорвешься!» и свой голос: «Не бойся, не упаду!», и лезу, торопясь, все выше и выше, к самой верхушке, и останавливаюсь вдруг, заметив в стороне, на тоненькой веточке крохотное гнездышко, высланное изнутри светлым пухом, гнездышко и четыре рябеньких яичка в нем.

Кричу, ликуя:

«Нашел гнездо!»

«Чье?» — спрашивает мать.

«Не знаю! Скоро в нем выведутся птенцы!»

«Не трогай его. Если птицы почуют чужой запах, они улетят и никогда больше не вернутся к нам».

Застываю с протянутой рукой.

Отворачиваюсь от гнезда — кто знает, может, и взгляд оставляет след?

Поднимаю голову и вижу сквозь листву яркое небо, вижу небо до самого горизонта и равнину, начинающуюся у края неба. Они разделяются там, голубое и зеленое, и равнина, обойдя село, мягко утыкается в подножье округлых предгорий, за которыми круто встает, устремляясь ввысь, горный хребет, и круг замыкается — снежные вершины сливаются с небом, белое и голубое, и слияние это, лед и солнце, порождает речку, бегущую через равнину к горизонту, к черте разделения, и я слышу взволнованный говор воды, объясняющей на ходу извечный смысл возвращения, и слышу собственное дыхание, вторящее реке. Дикая груша держит меня на своих ветвях, как бы приподнимая над привычностью, держит меня и четыре будущих жизни в

крохотном гнездышке, и где-то в глубине корни ее ищут тайну Начала, и внимая ласковой мудрости шелестящей листвы, я задумчиво отправляюсь в обратный путь, спускаюсь с дерева, и З. В., встречая, протягивает мне руку — о, единство всего сущего на земле! — и я пожимаю эту руку, присаживаюсь к столу и, расстроганный, спешу обрадовать З. В., рассказываю ему о ночной жизни кульманов.

Он хмурится, останавливает меня.

— Столько лет я вас знаю, — говорит, — а все никак не могу понять, когда вы шутите, а когда говорите серьезно.

— Я тоже, — киваю сочувственно.

— Что? — удивляется он.

— Не могу понять, когда шучу, а когда говорю серьезно.

— Ну, хватит! — он натягивает вожжи. — Скажите-ка лучше, как обстоят дела с изделием номер триста восемьдесят шесть?

З. В. предлагает мне сосредоточиться. Отречься от себя во имя изделия № 386. Забыть о дикой груше, лежащей на мокрой земле, о разлетевшихся птицах.

Формулирую: любой успех есть результат самоотречения.

Отрекаюсь.

Или вхожу в роль по системе Станиславского?

— Все нормально, — говорю, — можете ни о чем не беспокоиться.

— Что значит «не беспокоиться»?! — З. В. выпрямляется, упершись кулаками в стол. — Через пять дней изделие должно быть принято комиссией, а оно уже неделю стоит, брошенное, и никто им не занимается!

— Простите, — теперь уже я останавливаю его, — но вы, наверное, забыли, зачем я всю эту неделю являюсь сюда после занятий?

Мне не хочется распространяться о том, что домой я возвращаюсь за полночь, но З. В. сам высказывается об этом, ворчит недовольно:

— Ночью только совы мышей ловят.

Он не может по ночам присматривать за моей работой, и это раздражает его. То, чего он не видит, не происходит вообще — таково его убеждение.

— Не знаю насчет сов, — пожимаю плечами, — я на-чисто забыл зоологию.

З. В. меняет тон.

— Может, стоит все же обратиться в военкомат? — спрашивает он, как бы советуясь. — Попросить, чтобы вас освободили от переподготовки в связи с производственной необходимостью.

— Нет, — отвечаю, — не надо.

К ЭТОМУ Я ОТНОШУСЬ СЕРЬЕЗНО.

— Вы будете поливать меня напалмом, — продолжаю вслух, — а я буду печь для вас хлеб.

ТАКАЯ ИГРА.

— Не буду я никого поливать напалмом, — отмахивается З. В., — мне шестьдесят пять лет.

Он ровесник моего отца.

— Да я не вас имел в виду, — улыбаюсь. — Сам не пойму, как это получилось, но я нечаянно воззвал к человечеству.

— Не морочьте мне голову! — сердится З. В. — У вас есть дело поважнее!

Вижу — он открывает калитку, заходит во двор, и я смотрю на него с удивлением и страхом (изжелта-бледное лицо, костыли под мышками, зеленая, застиранная гимнастерка, зеленый горб на спине — вещмешок), смотрю и догадываюсь, и знаю уже, что это он,

МОЙ ОТЕЦ,

вернувшийся с войны, и, пересилив себя, делаю шаг ему навстречу, стою оторопело, а он протягивает руку, чтобы погладить меня по голове, но роняет костыль, нагибается неуклюже, но не может дотянуться; лицо его искажается от боли, на лбу появляется испарина, и я смотрю, не могу оторваться, и, кажется, тоже совершаю непосильное для себя физическое действие, и, не выдержав, срываюсь вдруг, бросаюсь наутек, бегу за дом, в сад, в самый дальний конец его, и прячусь там в колючих зарослях акации.

Слышу голос З. В.:

— Вы осуществляете авторский надзор и в полной мере ответственны за сроки.

Откликаюсь:

— Знаете, что бы я сделал на вашем месте? Написал бы в стенгазету очерк о человеке, который восемь часов в день отдает своему воинскому долгу, а потом еще восемь — мирному труду. Это ли не пример гражданского подвига?

— Значит, можно надеяться, что изделие будет сдано в срок?

Заявляю с пафосом:

— Оно будет сдано на полдня раньше срока!

— Дай-то бог, — недоверчиво хмыкает З. В. и, помедлив чуть, добавляет укоризненно: — Трудно с вами.

Он надевает очки, склоняется над бумагами, давая понять, что тема исчерпана. Однако есть еще одна, другая, очень важная для него, и мы оба знаем об этом, но, не решаясь подступить к ней, он бесцельно перебирает бумаги и ждет, томясь, моей помощи, а я молчу, — часовой на страже собственного достоинства, и З. В., наверное, все же начал бы, заговорил со мной — не зря же он покашливает то и дело? — но ему мешает присутствие Эрнста, самого молодого из наших ведущих конструкторов. Вижу его краем глаза — он сидит в дальнем углу зала и пишет и, словно почуяв неладное, отрывается от письма, поднимает голову, очки его поблескивают холодно, и, уловив этот блеск, З. В. настораживается и тоже поднимает голову. Некоторое время они разглядывают друг друга сквозь линзы своей оптики — плюс у З. В., минус у Эрнста — разность потенциалов высекает искру посреди зала, и оба с достоинством опускают головы, каждый возвращается к своему занятию.

Констатирую: в отделе, в светлом просторе его созрел так называемый

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНФЛИКТ.

(Столкновения подобного рода, безусловно, способствуют прогрессу, но конфликтующие стороны, борясь за него, не всегда желают друг дружке доброго здоровья и многих лет жизни.)

Словно испытывая меня, З. В. вдруг морщит нос, жмурит повлажневшие глаза, торопливо отворачивается и чихает.

— Будьте здоровы! — отзываюсь я.

Он молчит, то ли собираясь с духом, то ли осмысливая услышанное, и наконец произносит, явно недовольный собой:

— Спасибо.

Ах, улыбнуться бы сердечно и сказать в утешение ему, что любой из нас может чихнуть не вовремя — такова она, человеческая суть, но я не решаюсь, боясь остаться не понятым, а он сидит, олицетворяя собой праведную обиду, и, глядя на него, насупившегося, я почему-то чувствую себя виноватым.

Около месяца назад он положил на мой стол техзадание, просмотрев которое, я узнал, что неизвестные мне дотолы реагенты А и В, взаимодействуя в жидком состоянии, выделяют газообразное производное АВ. Затем оно очищается от примесей, сжижается и так далее, но это уже никак не касалось меня — за оборудование для всего процесса в целом отвечал Эрнст. Мне же предстояло сконструировать лишь первое звено цепи: емкость, в которой должна была происходить сама реакция между А и В, сосуд, напоминающий пивной котел, только закрытый наглухо и снабженный вводящими и выводящими патрубками.

Вручив мне техзадание, З. В. прогулялся по отделу и вскоре снова возник у моего кульмана.

«Ознакомились?» — спросил он.

Я кивнул невесело.

«Понимаю, — сказал он, — вам бы хотелось что-то повеселее, поинтереснее, но работа есть работа».

«Тем более что я не сам выбираю ее для себя».

«Да, — подтвердил он, — мы делаем то, что от нас требуют, а не то, чего нам хочется. Это задание, — голос его окреп, — отнимет у вас неделю, не больше. Потом вы месяца на два подключитесь к восьмой группе. Поможете им с детализацией, а то они не укладываются в сроки».

«Если нужно будет, я и полы в отделе вымою».

Он усмехнулся:

«Для этого есть уборщица».

В последнее время, боясь, видимо, что я не выдержу испытания славой, сопыюсь, зазнаюсь и вытатуирую у себя на лбу скромное слово

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ,

З. В. встревожился вдруг и снова занялся воспитательной работой. Оценивая некогда результат моей конструкторской деятельности, а заодно, быть может, и сам факт моего присутствия в этом лучшем из миров, он пометил меня другим знаком:

СЛУЧАЙНОСТЬ,

которая, как философское понятие, есть то, что может быть, а может и не быть. Впоследствии он вроде бы отрекся от сказанного, но не забыл и теперь, словно опомнившись, принялся втискивать меня, живого, в жесткие рамки своего определения, в зауженные рамки, в щель, в которую могло втиснуться только

БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.

Теперь, вороша бумаги в своей папке, он выискивал для меня самые простенькие, незамысловатые задания, и вскоре я уловил в этом определенную закономерность, но не огорчился, а принял игру, вернее, новые правила ее, потому что сама игра, оказывается, не прекращалась, финальный свисток еще не прозвучал. Он возвестил лишь о начале очередного тайма, в течение которого мне предстояло сконструировать печь для сжигания отходов, стеллажи для инструментального цеха, урыльник для столовой и так далее и тому подобное, и все это срочно, все для быта родного предприятия. Я стал, если можно так выразиться, придворным конструктором. Чертил я быстро, листы слетали с моего кульмана, как с осеннего дерева, и З. В., подсчитывая их, пел мне хвалу на собраниях, и наша игра, таким образом, стала походить на ватерполо. (Там на поверхности вполне благопристойно торчат головы в прелестных шапочках, а под водой идет невидимая, но жестокая борьба конечностей.) Когда дело дошло до благодарности с занесением в трудовую книжку и З. В., огласивший приказ, стал поздравлять меня, я улыбнулся, не выдержав: «По-моему, вы неравнодушны ко мне».

«Ошибаетесь, — парировал он, — я отношусь к вам так, как вы заслуживаете».

Раздумывая об этом, я вычерчивал вешалку для нашей новой раздевалки — стойки, поперечины, крючки с номерками, и неожиданно для себя нарисовал ее вдруг в стиле рококо, с разными завитушками и балбошками. З. В. насторожился, увидев мое произведение, но поразмыслив чуть и успокоившись, заметил сочувственно, что вешалка красива сама по себе, только уж очень сложна в изготовлении, а раз она сложна — какая жалость! — то лучше сделать ее, как это водится, как принято всюду и привычно. Я согласился — да, конечно, простите, не учел, — и мы разошлись умиротворенные и довольные друг другом. И уже в качестве подарка я преподнес ему следующее свое творение, проект тележки, оснащенной системой тяг для опрокидывания кузова, велосипедной фарой для движения в потемках и сигнальным устройством, которое должно было ухать филином: «У! У!» и орать извозчичьим голосом: «Поберегись!» Глянув на эскиз, З. В. усмехнулся — юмореска? — но, вспомнив, что создавалась она в рабочее время, посуровел.

«Это для механического цеха?» — спросил он.

«Да!» — радостно подтвердил я.

«Им нужна простая тачка. Вывозить металлическую стружку».

«В техзадании написано — тележка», — уперся я.

«Это ошибка».

З. В. был строг, но справедлив.

«Тачка — это совсем другое дело, — признал я, — у нее одно колесо».

«Да, — кивнул он, — одно, — и добавил, предостерегая, — единственное».

Разве я против? Пожалуйста. Заточиваю карандаши. Провожу линию, еще линию, еще и еще — кузов. Две концентрические окружности — обод колеса. Еще две — диаметром поменьше — ступица. Вычерчиваю вторую проекцию — готово. Делаю разрез по оси. Пишу спецификацию. Приступаю к детализовке. Считайте листы! Расклеивайте афиши — только один день на манеже

КОНСТРУКТОР-ЭКСЦЕНТРИК,

акробатическое черчение и клоунада. А вы уже стоите за моей спиной, чувствую, и наконец выдаете себя, произносите удовлетворенно:

«Что и требовалось доказать. — И, глядя на чертеж, спрашиваете: — Готово?»

«Как видите», — отвечаю.

А вы:

«А я принес вам новое техздание».

Только я прочитал — реагенты А и В, взаимодействуя — как З. В., прогуливавшийся по отделу, снова остановился у моего кульмана.

«Ознакомились?» — спросил.

А мне послышалось:

«Давай, попробуй и з о б р е т и что-нибудь, если ты умный такой, разумный».

«Думаю, за неделю вы справитесь», — сказал он.

«Попробую», — хмуро пообещал я.

Ответ мой прозвучал угрожающе, но З. В. лишь усмехнулся, услышав, и двинулся дальше, завершая прогулку — как у вас дела, имя-отчество? а у вас, имя-отчество? — и, глядя ему вслед, я в бессильной ярости придумывал, пересякая с одного на другой, варианты будущей конструкции. Я схватил карандаш, чтобы запечатлеть свои видения и с ответной усмешкой приподнести их З. В., но, ткнувшись в бумагу, карандаш замер, и мне не удалось сдвинуть его

с места — хрустнул, ломаясь, грифель, и только черная точка осталась на белом поле, точка, орнаментированная графитной пылью. Оно закончилось так же произвольно, как и началось, мое антитворчество, и, со стыдом вспоминая вешалку в стиле рококо, я пытался откинуть прошлое, забыть и успокоиться, но мне слышался голос З. В.: «А потом вы два месяца будете заниматься детализировкой», и я шарахался в испуге, бросался назад, и, накатываясь на меня, ожившая тележка орала по-извозничьи: «Поберегись!» Ошеломленный, я метался — одно страшней другого — и никак не мог собраться, взять в руки скальпель и заточить карандаш. Боясь будущего и отдаляя его, я увиливал от работы — линия, еще линия и еще, — сидел целыми днями в библиотеке, изучая для очистки совести свойства реагентов А и В. Но отвращала меня не столько работа, вернее, не сама она, как таковая, сколько другое — я смутно чувствовал это — необходимость подчиниться чужой и чуждой воле.

Совершая по утрам традиционный обход, З. В., проходя мимо, косился на чистый лист, приколотый к доске моего кульмана, но не останавливался, молчал, и только через неделю, когда лист уже начал желтеть от времени, не выдержал и заговорил наконец.

«Хотелось бы знать, — сказал он, — чем вы занимаетесь все это время?»

«Изучаю, — ответил я, — свойства реагентов А и В».

«Все, что вам нужно, изложено в техзадании».

«Этого мне недостаточно, я не умею довольствоваться малым».

«Вы прекрасно знаете, что от вас требуется».

«Знаю, — кивнул я, — сконструировать сосуд, похожий на пивной котел».

З. В. приумолк, опасаясь подвоха, но согласился, подумав:

«Да, на старинный осетинский котел, — и добавил: — Если вам так хочется».

«Только с патрубками», — гнул я свое.

«С патрубками, — послушно повторил он за мной и, поняв это, чуть ли не крикнул, вскипев: «Даю вам еще неделю, заканчивайте, если не хотите неприятностей!»

«Не хочу», — повторил я за ним.

Однако лист на моем кульмане по-прежнему оставался чистым, только пожелтел еще больше и начал кукожиться,

но я уже не прятался в библиотеке, а сидел на своем рабочем месте, забыв об окружающем, или слонялся по коридорам, или поднимался на чердак и там подолгу стоял в тишине и полумраке, разглядывая пыльную прошлогоднюю паутину и прошлогодние ласточкины гнезда. Это было не безделье, а тот, сокровенный вид работы, которая характеризуется не внешними проявлениями, а творится внутри самого себя. Чуждые мне прежде реагенты А и В ожили в моем воображении, две добропорядочные жидкости, которые, оказывается, под давлением Р и в присутствии катализатора К сшибаются насмерть, взрываются, попросту говоря, и сбразуют при этом то же самое производное АВ, но в большем количестве и лучшего качества. Никто и никогда не использовал этого их свойства в промышленных целях — тут сказывалась, возможно, подсознательная боязнь всякого рода взрывов, включая термоядерные, и внутренний протест при мысли о расширении их ассортимента, — по мне уже виделось амортизационное устройство, принимающее на себя удар, клапан, переводящий безумие взрыва в спокойное русло технологического процесса. Неясная поначалу идея стала понемногу обрастать деталями, конкретизироваться, обретать форму, а время летело, словно взрывной волной подхваченное, и, казалось, будильник мой не часы и минуты отстукивает, а утро-день-вечер-ночь, и снова утро. Я поднимался и шел на работу, усаживался, смотрел невидящими глазами на пожелтевший лист ватмана, а З. В., наверное, смотрел на меня, недоумевая, ждал и, не дождавшись ничего, решил напомнить о себе. Он подошел, когда я стоял у окна, уставившись в пространство, подкрался, или я просто не слышал его шагов, и сзади, из-за моего плеча проговорил негромко:

«Между прочим, зарплата вам начисляется не за это». Вздвогнув, я повернулся к нему, но ответил вполне дружелюбно:

«Считайте, что я живу в долг».

«А чем вы собираетесь расплачиваться?»

«Готовлю для вас сюрприз».

«Боюсь, что этого мало, — сказал он. — Придется, наверное, готовить проект приказа».

«За нерадивое отношение?» — поинтересовался я.

«Хорошая формулировка», — одобрил он.

«Пожалуй, — согласился я, будто мы с ним вдвоем решали судьбу кого-то третьего. — А не покажется ли стран-

ным — только что благодарность и тут же выговор?»
«Строгий, — уточнил он. — Сожалею, но другого выхода не вижу».

На следующий день я сам подошел к нему и, услышав: «Присаживайтесь», сел у края стола и молча протянул эскиз. Едва глянув издали, З. В. насмешливо хмыкнул:

«В остроумии вам не окажешь».

«Это не шутка!»

«А что же?»

Я начал объяснять, волнуясь, — реагенты А и В, давление Р, катализатор К, — а З. В. подвинул к себе эскиз, надел очки и, слушая, стал разбираться в начерченном.

«Но какое отношение это, — он отодвинул эскиз, — имеет к вашему заданию?»

«Прямое», — ответил я.

«Послушайте, — сказал он, — мы конструируем это оборудование для головного НИИ отрасли. Они разработали у себя технологию и применительно к ней заказали нам полупромышленную линию, чтобы продолжать на ней исследования и одновременно производить АВ. Это вам понятно?»

«Абсолютно».

«Так чего же вы хотите? Чтобы они зачеркнули свои разработки и в угоду вам начали все сначала?»

«Но способ, который я предлагаю...»

«Нигде в мире не используется, — перебил он меня. — Вы же сами сказали. Ни в Америке, ни в Японии... А там ведь тоже не дураки сидят. Значит, не такое это простое дело, как вам кажется».

«А может, дело во мне? — усмехнулся я. — В том, что я живу не там, а здесь?»

«Да будьте же вы скромнее! — вспыхнул он. — В конце-то концов!»

«То есть знай свое собачье место, — подумал я, — и таявкой только в унисон его басовитому лаю».

«Выбросьте этот листок, — он толкнул ко мне эскиз, — и занимайтесь тем, что вам поручено. Все, — хлопнул ладонью по столу, — разговор окончен».

«Выброшу, конечно, только не сразу, — сказал я, вставая. — Сначала покажу ведущему конструктору, фамилия-имя-отчество».

«Что?» — не понял З. В.

«Простите, оговорился. Я хотел сказать — покажу Эрнсту Урузмаговичу».

«На здоровье», — буркнул он мне вслед.

Эрнст долго разглядывал эскиз, потом меня, как бы сопоставляя, и я извелся в ожидании, но не торопил его, зная, что он не скажет ни слова, пока не осмыслит увиденное и не выработает

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ.

«Слушай, — проговорил он наконец, — тебе не кажется, что эта штука дееспособна?»

«Кажется, — ожесточенно кивнул я, — и даже более того».

«А что начальник?»

«Послал меня вместе с эскизом»...

«Ко мне?»

«Нет, подальше»...

«Ах, да, — усмехнулся Эрнст, — у вас же отношения. Впрочем, — посерьезнел он, — отношения — это ваше личное дело, можете оставить их при себе. То, что ты начертил, касается уже не только вас».

«Да, — улыбнулся я, — имеет народнохозяйственное значение».

«Ничего смешного тут нет, — оборвал он меня, — действительно имеет. И раз уж ты это понимаешь, значит, должен был доказать».

«Не буду я лбом об стену биться, противно мне это! Если человек поет, нельзя же требовать от него, чтобы он еще и подковы гнул!»

«Все ясно, — насмешливо вздохнул Эрнст, — белую работу делает белый, черную работу делает черный».

Он помолчал, вырабатывая решение.

«Ладно, — сказал, — пойдем. Я выступлю в роли стенобитного орудия, а ты хоть свидетелем побудь».

Он встал, а я бы с удовольствием остался на месте, но поднялся послушно, и мы двинулись цугом — Эрнст впереди, я за ним — к столу начальника.

«Что у вас?» — спросил З. В., не поднимая головы.

Мы уселись, Эрнст положил перед собой эскиз.

«Свое мнение по этому поводу я уже высказал», — З. В. нанес упреждающий удар.

«По-моему, вы неправы, — ответил Эрнст. — Амортизационное устройство, предложенное»...

«Оно не будет работать, ваше устройство, — З. В. отошел на заранее подготовленные позиции, — заклинит в первые же пять минут».

«Будет», — атаковал я с фланга.

Будет не будет — завязалась перестрелка.

«Раз уж возникли сомнения, — предложил Эрнст, — давайте сделаем макет и проведем испытания».

«Некогда нам заниматься ерундой! Мало ли что кому в голову взбредет!»

Очки Эрнста взблеснули.

«Простите, — сказал он, — но я не привык, чтобы со мной разговаривали в таком тоне».

«Простите и вы, но я говорю то, что думаю».

«В таком случае, я считаю своим долгом сообщить о возникших разногласиях заказчику».

«Это ваше право, — отмахнулся З. В., — и я не собираюсь оспаривать его».

Мы встали.

«А вы, — он глянул на меня с такой злостью, что я чуть на ноги не осел, — принимайтесь за работу! Сейчас же, немедленно! Сколько можно бездельничать?!»

И вот мы сидим за тем же столом, З. В. и я, и молчим. Что он может сказать мне? И что я отвечу?

А вот что.

— Идите, — говорит он, — вас ждут в цеху.

Встаю, смотрю на часы, отвечаю:

— У меня еще пятнадцать минут в запасе.

Направляюсь к Эрнсту, иду и чувствую спиной тяжелый взгляд З. В., оборачиваюсь — он по-прежнему листает бумаги в папке.

— В пятницу техсовет, — сообщает Эрнст. — Приехал Васюрин.

Главный инженер головного НИИ, доктор наук, руководитель темы.

— Как видишь, человечество заинтересовалось тобой, — улыбается Эрнст. — Придешь?

Представляю себе: произношу речь на техсовете — реагенты А и В, давление Р, катализатор К, — говорю, казалось бы, на сугубо производственную тему, а в углу сидит, понурившись, немолодой и невеселый человек, и каждое слово мое бьет его по редковолосому темени, по голове, переходящей в шею, переходящей в туловище.

МЕСТЬ ВРЕМЕН НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

Или: толкая речь, а собравшиеся позевывают, скучая, — еще один пытается всучить миру сомнительную идейку, — и судьба моя предрешена, но я все еще говорю по инерции, хоть никто и не слушает меня, да и сам я уже не слышу собственных слов, а может, и не произношу их, только рот открываю беззвучно, зеваю, как рыба, вытщенная из воды, и З. В. с лицемерной жалостью наблюдает за моей агонией.

— Нет, — отвечаю Эрнсту, — не приду. Служу в армии.

— Ты не спортсмен, — морщится он.

Это не самое лестное из определений, принятых в отделе, и я не знаю, как опровергнуть его, но тут на выручку мне приходят бойцы-доминошники.

— Алан, — зовут они, — забьем козла?

— Видал? — торжествую. — А ты говоришь — не спортсмен... Спасибо, — благодарю доминошников, — не могу, мне пора на работу.

— Ты — чистоплюй, — уточняет Эрнст.

Он склоняется над листом бумаги и продолжает писать, а я стою рядом и смотрю, как подергивается в его руке карандаш, выводящий мелкие и точные, без излишеств и недостатков, буквы, как выстраиваются они в ровную, словно по линейке выверенную строку, и спрашиваю, хоть уже и сам понимаю это:

— Готовишься к техсовету?

Эрнст не отвечает.

— Ладно, — ворчу, — сами разберетесь...

Он молчит, а я все еще стою, и мне неловко уйти, не договорив и не попрощавшись, но и стоять уже неловко, и, пересилив себя, я делаю наконец первый шаг и второй тоже, подхожу к игрокам, к шахматистам и доминошникам. Они рады мне, и я пожимаю протянутые руки, слушаю хвастливые речи победителей и жалобы побежденных, восторгаюсь и сочувствую, и понемногу освобождаюсь от прошлого, и вот уже смеюсь, беззаботный, но повернувшись нечаянно, вижу хмурое лицо З. В., вижу — он закрывает папку и завязывает тесемки. После этого он встает обычно и, обращаясь к старшему по должности, а если таковых оказывается двое или трое, то к старшему из них по возрасту, и говорит: «Вы не уходите еще? Оставляю отдел под вашу ответственность. Не забудьте запереть дверь, ключ сдайте вахтеру», и если настроение у него хорошее, добавляет:

«И вообще, заканчивайте свои игры и расходитесь по домам. Вас ждут жены и дети».

Сегодня он о детях не вспомнит.

Смотрю на часы — у меня в запасе около пяти минут, но что-то не стоит мне на месте, и я переступаю с ноги на ногу, как конь перед скачками, и, еще не понимая причины своего беспокойства, начинаю прощаться: «До свидания, всего хорошего, счастливо оставаться», и только у двери догадываюсь, что бегу от З. В., боясь оказаться его попутчиком, — идти рядом и вести притворно-непринужденный разговор, соблюдая

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА.

Закрываю дверь за собой и тут же останавливаюсь — у меня развязался шнурок. Можно, конечно, удирать и с развязанными шнурками, но это кажется мне унижительным, и я нагибаюсь и слышу:

— Вы не уходите еще, Эрнст Урузмагович?

— Нет, — слышу голос Эрнста.

И снова голос З. В.:

— ...Ключ сдайте вахтеру.

Открывается дверь — я на ходу уже, успел пройти метров десять — пятнадцать, — и слышатся шаги З. В. Он молчит, а я не оглядываюсь, и мы идем по длинному пустому коридору, два человека, знакомых уже семь с половиной лет, и на похоронах друг у друга мы говорили бы хвалебные речи, а тут — ни слова, только каблуки стучат, и дистанция между нами не сокращается и не увеличивается, и нелепость происходящего начинает смешить меня, я оборачиваюсь наконец и, дождавшись З. В., улыбаюсь, признавая свою часть вины и его призывая к тому же:

— Посадить бы нас с вами в клетку и проверить на психологическую совместимость!

З. В. останавливается, удивленно смотрит на меня, а я все еще улыбаюсь, и, выдержав паузу, он говорит негромко, но жестко и непреклонно:

— Не теряйте времени, изделие номер триста восемьдесят шесть должно быть сдано в срок.

Вхожу в цех. Слышу гул станков, тот самый, многократно описанный в литературе, воспроизведенный в радио- и телепередачах, в документальном и художественном кино, неприятный и даже вредный для слуха, но возведенный в ранг символа, приподнятый до патетических высот и в этом качестве уже привычный для восприятия — не лязг и гро-

хот, не вопль насилуемого резцом материала, свидетельствующий о несовершенстве метода, а стройная полифония, гимн во славу человека-творца,

ПЕСНЬ СОЗИДАНИЯ.

Припадаю ухом к планете — мир кует и фрезерует, люди и станки, строгают, сверлит и шлифует, продираясь из настоящего в будущее и озвучивая каждый свой шаг, и множество звуков, сливаясь воедино, образуют общую мелодию, бодрящую и утешающую, и подтверждающую правильность пути, и — я, ты, он, она — мы движемся в непроглядной космической тьме, держа в вытянутой руке зажженную спичку и ориентируясь на ее огонек, как на свет маяка, ищем то, что придумали сами: счастье и бессмертие.

И вполне современный токарь — его зовут Габо (5-й разряд, рационализатор), — вытачивая бронзовую втулку, насвистывает мотивчик популярной песни:

Как прекрасен этот мир, —
и станок старательно вторит ему, и цвета побежалости на стружке — еще одно свидетельство несовершенства, и цвета побежалости — светомузыка:

Как прекрасен этот мир, —
и простенькая втулка войдет при сборке в несложный узел, а тот, в свою очередь, в установку, а установка — в технологическую линию, на которой в результате каких-то процессов будет получен какой-то материал, который, возможно, используют при создании электронных приборов для тех систем, которые могут быть установлены на самолетах, и Габо, выточив множество втулок, фланцев и других деталей, заработает деньги, купит туристическую путевку, сядет в самолет и, не подозревая даже, что участвовал в его сотворении, вознесется в небо, облетит полмира, приземлится у пирамиды Хеопса, построенной сотнями тысяч безымянных, и поразится грандиозному величию знака, оставленного ими на пройденном пути.

«Какой там Хеопс! — усмехнется Габо. — Мне бы джинсы фирменные зацепить. Не впряжешься?»

Переведу для себя: зацепить — достать, впрячься — помочь; осмыслию услышанное и отвечу в том же духе:

«Сам плечами тряс!».

То есть делай свое дело, как можешь.

«Ништяк!» — оценит мои языковые познания Габо. Этот разговор произойдет позже, а сейчас я спрашиваю: — Алапа не видел?

— Алана? — Габо удивленно таращится на меня, а станок продолжает вытачивать втулку. (Эту интермедию мы разыгрываем уже целую неделю, и она пока еще не надоела нам.) — Секу! — восклицает он, радостно скаля белые зубы. — Секу живьем!

Интермедия и урок языка одновременно.

— Не мотай нитки! — ворчу сердито.

Послушали бы нас таксист-клятвопреступник, старик из автобуса и белая овечка! Перевожу для них: секу живьем — вижу перед собой; мотать нитки — путать, запутывать. А может, они и без меня уже знают это? В таком случае, на осетинский пусть переводят сами.

Продолжаю ворчать:

— Другого Алана, твоего кента.

— Твоего тезку? — Габо расплывается до ушей. — Так и сказал бы!

«Тебе бы пасту зубную рекламировать, — сказал я, — прославился бы на всю страну».

«А мне ломается, — ответил он, — не климатит».

«Что?» — удивился я.

«Ой, трески! — рассмеялся он. — Ты что, по-русски не понимаешь?»

Этот разговор произошел раньше, а сейчас он говорит:

— Алан нарисовался тут и поканал на трудовую вахту.

Перевожу для беленькой овечки: а мне ломается — неохота; не климатит — не нравится; ой, трески — смех, смешно; нарисовался — появился; поканал — пошел. Но нарисовать — значит также и украсть, то есть из ничего сделать вещь. Следовательно, вор — это художник? Пока я раздумываю над забубенной образностью вторичного словотворчества, Габо заявляет вдруг, продолжая свою первую фразу — нарисовался и поканал, — произносит насмешливо, но не без гордости:

— Рабочий класс не опаздывает, не то, что прослойка.

Делаю обиженное лицо, хоть почему-то и в самом деле чувствую себя задетым.

— Нашел свободные уши? — бубню раздраженно.

— Не быкуй! — веселится он так искренне, что и я улыбаюсь невольно и, улыбаясь, перевожу для беленькой: нашел свободные уши — не заливай, не верю; быковать — обижаться, хмуриться.

Прощаюсь с Габо:

— Будь здоров, дорогой товарищ!

— Не чихай и ты! — ликует он.

— Не буду.

— Ой, трески! — смеется.

Он и меня заразил весельем, и я ухожу, чуть ли не пританцовывая — прощайте, З. В.! — поднимаюсь на второй этаж, но не по лестнице, как положено, а на грузовом лифте, презирая запреты, и, совершив чудо самовознесения, захлопываю тяжелую дверь и раскланиваюсь, сам себе и артист и восхищенная публика, и — ах, танго! — вхожу в просторное и чистое помещение, где собираются самые сложные изделия (№ 386 удостоилось такой чести), и вижу его, свое творение, мысль, материализованную и окрашенную серебристой эмалью.

Сколько их, разноцветных, останется на пройденном мною пути! Я помечаю ими дорогу, как сиротка из сказки, который сыпал белые камушки в дремучем лесу, чтобы вернуться из тьмы, но у меня обратного пути нет, и разноцветные мои устареют со временем, превратятся в металлолом и будут переплавлены во что-то новое, более совершенное, а я тихонечко доживу, досчитаю дни свои и незаметно исчезну, и вскоре выцветут, истлеют бумаги, в которых значилось мое имя, и, свободный, я войду в великий сонм безымянных, но не тех, что воздвигали пирамиду Хеопса, а других, чей знак эпохальный будет оставлен на Марсе или — где вам хочется? — на Юпитере, если в эпоху эту какой-нибудь пиротехник, страдающий комплексом Герострата, не сделает из самой Земли шутиху.

Но — ах, танго! — пока пиротехники начинают планету порохом, действие продолжается.

Изделие № 386, наинovelшее в своем роде, включено в сеть (360 в) и работает вхолостую, гудит-покряхтывает, дитятко железное, производственной гимнастикой занимается, а тезка мой и дядька моего дитяти (слесарь 5-го разряда, студент-заочник) сидит в углу за столом, склонившись над чертежами, изучает анатомию своего подопечного. Когда я поздороваюсь: «Привет, Алан!», он ответит: «Привет, Алан!» и протянет мне руку, пряча в кулак замасленную ладонь и выдвигая вперед запястье, крепкое и в меру волосатое, и — стоп-кадр! — мы замрем в рукопожатии, два Алана, а не так уж и давно нас было множество на огромном пространстве, большой народ, именующий себя а л а н а м и, и родословная наша восходит к скифам, и родословная наша нисходит к осетинам, и теперь при пе-

реписи населения нас нетрудно пересчитать — спасибо вам, гуны, готы и дедушка Чингисхан, спасибо тебе, хромоногий Тимур, — нас теперь 500000 — всего? — или чуть больше, или чуть меньше...

А действие между тем продолжается.

Алан поднимает голову и, не отвечая на мое приветствие, кивает в сторону 386-го:

— Слушай.

Значит, снова что-то не так, что-то опять не ладится.

Через час после того, как мы с Эрнстом атаковали 3. В., два фокстерьера отчаянных против старого льва, и, отброшенные, уползли, зализывая раны, — он — лев? — зычным рыком призвал меня к себе, и я подошел, но не обрубком хвоста виляя, а вздыбив шерсть на загривке, подошел и уселся без приглашения и даже ногу на ногу закинул нахально.

«Только что звонили из сборочного, — сказал 3. В., хмурясь. — Никак не могут запустить триста восемьдесят шестое, автоматика не срабатывает... Вот она, цена ваших фантазий, — помолчав, добавил он и еще добавил: — На бумаге и блажь может показаться открытием, бумага все стерпит, а вот металл ошибок не прощает».

Таким образом, перечеркнув еще раз мой последний эскизик, он заодно и экскурс в прошлое мое совершил и, не найдя в нем ничего утешительного — для себя? — вздохнул ретроспективно и сокрушенно покачал головой, с грустью утверждаясь в собственной правоте. Он не повторил вслух: «Случайность», но я и без того понял, что мне еще долго придется конструировать стеллажи-тачки-вешалки.

«Идите в цех и разберитесь, в чем дело, — сказал он. — И помните — за триста восемьдесят шестое вы отвечаете головой! Сумели напачкать, сумеете и прибрать за собой!»

Я взвился было, оскорбленный, но он властно пресек мой порыв:

«Исполняйте!»

Но промолчал я еще и потому, что такой оборот вполне устраивал меня. Вернее, он устраивал нас обоих. 3. В., не сумевший до этого преодолеть мое сопротивление, все же навязал мне свою волю, заставил подчиниться, хоть и по другому, но достаточно неприятному для меня поводу, и

тем самым потрафил своему самолюбию, а я, уходя в цех на неопределенный срок, избавлялся от его предыдущего задания, от пожелтевшего листа, кукожившегося на кульмане, и тоже мог подштопать, подлатать свое потрепанное достоинство.

И, словно читая мои мысли, он проворчал мне вслед: «Пивной котел, как вы его называете, остается за вами. Никто другой делать его не будет».

«Но и триста восемьдесят шестое никто не наладит за меня», — усмехнулся я, оборачиваясь.

«Идите!» — рявкнул он и хотел, наверное, добавить «к черту!» или что-нибудь еще покрепче, но только рукой махнул.

Изделие № 386, серебристое мое, действительно явилось на свет мертворожденным, но виной тому было не фантазийное зачатие его, как поспешили сообщить из цеха, а нечто другое — ошибки, допущенные при изготовлении и сборке. Обнаружив их, я пригласил для разбирательства цеховое начальство, переведя его из обвинителей в ответчики, а в качестве свидетеля пригласил З. В. и, оглашая приговор и торжествуя внутренне, обращался главным образом к нему. Цеховые, ушлые ребята — начальник, зам и два мастера, все работяги в прошлом — мигом уловили это и, слушая, то и дело поглядывали на него, а он молчал, как бы принимая на себя груз чужих грехов, принося в жертву престиж собственного отдела и жертвуя мной в конечном счете. Цеховые и этого не упустили и, не вдаваясь в причины столь странного его поведения, осторожно покачивали головами, соглашаясь со мной вроде бы, а вроде бы и нет, и когда я закончил, покряхтели в раздумье, оглядели 386-е, повздыхали — придется дорабатывать, вспомнили о погоде — такой зимы у нас еще не было, — поговорили о том, о сем, и один из мастеров рассказал старый анекдот, и все посмеялись деликатно и разошлись, довольные друг другом.

«Дадим самого лучшего слесаря», — пообещал мне в утешение начальник цеха.

«Золотые руки», — подхватил зам, хоть яснее ясного было, что они и сами еще не знают, кого имеют в виду.

«Алана», — сказал я.

Цеховые переглянулись, заулыбались, чуть ли не пальчиками стали грозить, умиляясь — ах ты, проказник! — и, расчувствовавшись, окончательно уверились в себе, добрые дяди, благосклонно вззирающие на проделки шкодли-

вого, по симпатичного мальчишки, и в полном соответствии с ролью, на которую обрек меня З. В., я сказанул милую дерзость:

«Ну и хитры же вы, голубчики!»

Тут уж они рассмеялись вполне искренне.

«Значит, договорились? — спросил я. — Алан?»

«Ну, куда от него денешься? — развел руками начальник, обращаясь к своим, и те закудахтали дружно: — Никуда, никуда не денешься».

И потом, когда мы с Аланом занялись реанимацией и 386-е начало оживать понемногу, они все продолжали играть и, принимая на переделку забракованные мной узлы и детали, улыбались понимающе, словно знали за мной какой-то грешок и предлагали сознаться в нем, а я только плечами пожимал в ответ, подтверждая тем самым замечательную житейскую мудрость:

РАЗ МОЛЧИТ, ЗНАЧИТ, ВИНОВАТ,

и, не дождавшись раскаяния, они кивали мне милостиво, укоряя за скрытность и прощая одновременно — не хочешь, не говори, нам и без того все ясно.

Вооружившись гаечным ключом, пассатижами и отверткой, я работал в паре с Аланом, то ли подмастерье по слесарной части, то ли руководитель по инженерной, осуществлял авторский надзор, как это именовалось официально, и, появляясь время от времени, З. В. надзирал за мной самим, все ходил вокруг да около, приглядывался: «Как у вас дела? Что сделано на сегодняшний день?» и наконец задал тот самый вопрос, который прочитывался в улыбках цехового начальства.

«Дефекты изготовления, конечно, исправимы, — проговорил он как бы между прочим и спросил: — Но как быть с дефектами самой конструкции? — и, понизив голос: — Как б у д е м выпутываться?»

Вскипев, я схватил молоток, размахнулся и бросил его в дальний угол, в ящик с инструментами. «В десятку», — услышал насмешливый возглас Алана и, остыв разом, смутился и забормотал невнятно:

«Конструкция в порядке, ничего переделывать не придется, — и, злясь уже на самого себя, чуть ли не крикнул в сердцах: — Да вы и сами это знаете!»

З. В. усмехнулся понимающе, и я умолк, невольно вспомнив замечательную житейскую мудрость:

РАЗ ОПРАВДЫВАЕТСЯ, ЗНАЧИТ, ВИНОВАТ.

Когда он ушел — желаю успеха! — Алан, проводив его взглядом, повернулся ко мне:

«Чего кипятиться? — спросил удивленно. — Запустим изделие, и все станет на свои места».

«Хватит на сегодня», — сказал я и, сняв синий замасленный халат, пошел к чугунной раковине мыть руки.

Комковатая сода и вонючее жидкое мыло.

Алан укладывал инструменты, хоть они и так уже были на месте — молоток лег в ящик последним, — перебирал, осматривал, устраивал на ночь и убаюкивать, наверное, начал бы, но вдруг, словно вспомнив что-то, окликнул меня, а я, вытирая руки мокрым, грязным полотенцем, отозвался, недовольный:

«Ну?» — буркнул, не оборачиваясь.

«Неудобно, конечно, просить тебя, — услышал, — но...»

«Давай без церемоний».

«Понимаешь, — сказал он, — я договорился в институте, хочу сдать кое-что досрочно, а такие дела, сам знаешь, легче делать днем, когда преподаватели на месте. Вот я и подумал, не перейти ли нам с тобой в вечернюю смену, если ты не против, конечно? И если начальство твое согласится. Мое-то пойдет мне навстречу»...

«Ну, что ж, — сказал я, — поговорю попробую, — и, глядя на растерзанное, раскуроченное 386-е, — по вечерам нам хоть мешать никто не будет».

На следующий день я получил повестку и не без удовольствия — вот вам и пивной котел! — предъявил ее З. В.

«Может, стоит обратиться в военкомат? — спросил он, поморщившись. — Попросить, чтобы вам дали отсрочку?»

«Нет, — сказал я, — буду приходить после занятий. Хочу пожить в две смены».

«М-да, — протянул он с сомнением, — мне бы ваш оптимизм».

Но разговор с З. В. произошел позже, а тогда я спросил Алана:

«Зачем тебе это нужно?»

«Как зачем? — удивился он. — Хочу окончить институт за пять лет, вместо шести».

«Да я не о том... Ну, закончишь ты его, и что?»

«Перейду к вам, в конструкторский».

«И будешь получать в полтора-два раза меньше, чем теперь».

«А ты? — обиделся он вдруг. — Почему не идешь в

слесаря? Работать умеешь, доказал, на четвертый разряд вытянешь, а там и на пятый — вот тебе и в полтора-два раза больше? Давай, слесарей у нас не хватает!»

«Нет, — покачал я головой, — если уж закладывать такие виражи, то лучше мне в деревню вернуться, к земле».

(Ах, неправда, нет, не тянет меня к земле, да и не тянуло никогда.)

«То-то же!» — усмехнулся Алан.

Но разговор этот произошел раньше, а сейчас он говорит: — Слушай, — и повторяет: — Слушай!

386-е гудит, работая, и я смотрю на него, и одно из моих Я ищет, волнуясь, собственные черты в железном облике своего дитяти; второе прислушивается к голосу его — еще один звук для всеобщей песни, слагаемой во времени, еще одно слово; третье добродушно подтрунивает над первыми двумя — не такое уж дитяtko, не такое уж слово и не такая уж песня; четвертое страдает, разочарованное, видя в творении своем лишь недостатки — то можно было сделать лучше и это; пятое присматривает за ними, примиряет и успокаивает, пытаясь удержать их в рамках приличий, сохранить хоть какую-то видимость гармонии. Каждое из этих дробных Я делится, в свою очередь, на несколько подвидов, тоже достаточно самостоятельных, и есть еще шестое и седьмое Я, и так далее, которые думают сейчас вполмысли о другом и по другому поводу переживают втихомолку, и, наконец, последнее — или первое? — мое Я, футляр для остальных и орудие действия, стоит, перешагнув порог, у двери и улыбается неопределенно.

— Ты чего? — спрашивает Алан. — Опять с Габо трепался?

— А что, — отвечаю, улыбаясь, — заметно?

Он встает из-за стола, подходит к 386-му, выключает, обесточивает его и в наступившей тишине произносит похоронным тоном:

— Пропадает парень.

— В каком смысле? — удивляюсь.

— Слепой, что ли, сам не видишь?! — взрывается он вдруг. — Как прекрасен этот мир! — запекает, передразнивая Габо. — Как воробей чирикает, как воробей! Здоровый, красивый, бабы за ним бегают, вот он и радуется, дурак, думает, что так будет вечно! А молодость пройдет, что тогда? Что он запоеет?!

— То же самое, — посмеиваюсь. — Как прекрасен этот

мир, — насвистываю. — Может, это и есть высший дар, — размышляю вслух, — жить и радоваться самой жизни?

— Вредная философия! — протестует Алан. — Для насекомых!

— Не уверен.

— Ты как по-писаному говоришь, — обижается он, — а я о живом человеке!

— Да и я вроде бы не о мертвом.

— Он же способный! — напирает Алан. — Ему учиться нужно! Цель ему в жизни нужна!

— А навести его на эту цель должен я? — усмехаюсь, догадываясь. — Этого ты хочешь?

— Теперь уже ничего не хочу! — отмахивается он. — Извини, но ты пустой человек, — и, подумав, — не такой, как Габо, но тоже пустой.

ХАРАКТЕРИСТИКА. (Дана для личного пользования.)

Тут бы мне сказать что-нибудь, отшутиться, но Алан резко нажимает кнопку, включает 386-е, и оно — третье действующее лицо — отвлекает меня, загудев, и надо бы подойти, выключить его и ответить, но я улавливаю в гуле какой-то посторонний звук, едва различимый, то ли стон, то ли скрежет, и, не трогаясь с места, пытаюсь определить его источник, и слышу сквозь гул укоризненный голос Алана:

— Твое слово он бы не оставил без внимания, только тебе это безразлично.

Мне хочется подъярить его, сказать, например: «Чего ты пристал? Какое мне дело до этого?!» и, посмеиваясь про себя, я представляю, как он взбеленится, оскорбленный, и понимаю в то же время, что и он прав отчасти, и форма моих отношений с Габо, если отбросить темные силы подсознания, есть ни что иное, как

СЛОВЕСНЫЙ АТТРАКЦИОН,

и белая овечка, присутствуй она на нем, заплакала бы от изумления, а я смеюсь, и не сквозь слезы, и мне печего сказать в свое оправдание, разве что покаяться в собственном легкомыслии: «Ах, мы с твоим Габо два сапога пара, — и улыбнуться, — только он лучше, он сапог поповее:

Снова я опаздываю. Алан кивает на 386-е, как бы отряхаясь от постороннего и приглашая приступить к делу. Работа есть работа.

— Слушай! — требует он.

Когда явные дефекты были устранены, и мы запустили

386-е, и оно загудело, очнувшись, цеховое начальство в полном составе явилось к нам с поздравлениями. Но, ушлые ребята, они и тут остались верны себе и, пожимая мне руку, не моему успеху радовались, а своему собственному:

«Слава богу! План теперь в кармане!»

«Будет, — усмехнулся я, — будет вам премия».

«Разве мы о деньгах? — посуровел один из мастеров. — Мы о производстве».

«О производстве раньше надо было думать. Когда брак гнали».

Теперь я был хозяином положения.

Когда явные дефекты были устранены, полезли скрытые, и, принимая на переделку очередной узел или деталь, цеховые не улыбались уже, а только вздыхали: у них и без того дел хватало, и они не прочь были сдать изделие, как оно есть, но помня свою вину, не осмеливались сказать это вслух, лишь головами покачивали, коря меня за излишнюю щепетильность. Мы с Аланом в азарте бесконечной погони за совершенством не пропускали ни одной мелочи, и это могло длиться вечно, и З. В., хмуро наблюдая за нашей деятельностью, молчал пока, не зная, радоваться ли благополучному исходу или огорчаться тому, что я опять вышел сухим из воды, и наконец, соединив то и другое воедино, он вывел формулу, стреножившую нас, и произнес впервые:

СРОК.

«О сроках пусть думают в цеху, — ответил я не без намека, — пусть прибирает тот, кто пачкает».

«Это касается не только цеха, но и всего предприятия в целом. Мы берем на себя определенные обязательства перед заказчиком и должны их выполнять».

З. В. был прав, как всегда.

— Ну? — спрашивает Алан, и, давая понять, что помнит о Габо: — Усек?

Прислушиваясь к гулу 386-го, я уже выделил фальшивый звук как целое и определил его источник, но и Алан определил, догадываюсь, определил и теперь экзаменует — ну, что вы скажете, школяр? А вот что:

— Червячный редуктор, — отвечаю. — Сб. 04—06—11.

Ни слова не говоря, он подходит к столу, роется в чертежах и, найдя, удивляется искренне:

— Точно! Сб. 04—06—11. Ну, и память же у тебя!

— Перекошен вал, — усмехаюсь.

— Согласен, — кивает он.

Берет ключи и, остановив 386-е, открывает дверку и лезет в чрево его. Пытаюсь просунуться рядом, но он отстраняет меня:

— Некуда, места не хватает.

Слышу, как он рассоединяет муфту и начинает раскручивать крепежные болты.

— Не доберешься, — сопит, — плохо скомпановано.

Я и сам уже это знаю, убедился при доводке.

— Ничего, — вздыхаю, — если пойдет в серию, можно будет доработать.

— Держи! — высунувшись, Алан протягивает мне редуктор.

Беру и едва не роняю его — он раскален, как утюг.

ШУТКА?

Но Алан-то держал его в руках — десять килограммов раскаленного железа.

Не так уж и раскаленного, впрочем.

Алан умоляюще смотрит на меня — брось!

Поворачиваюсь неторопливо и неторопливо иду к верстаку. Останавливаюсь на полпути — все это замедленно, а железо жжет, как огонь, — и спрашиваю, выдержав паузу:

— Сколько тебе лет?

— Двадцать пять, — торопливо отвечает Алан.

— А Габо?

— Столько же.

Они ровесники моего брата Таймураза.

— А мне скоро тридцать, — говорю и думаю вдруг, что двадцать девять и двадцать пять — это одно и то же почти, а тридцать — на порядок выше, другое качество, все другое. Но будет ведь и сорок, и пятьдесят, и шестьдесят, а если повезет, и семьдесят, и восемьдесят — мне?! — едва не вскрикиваю, а память, не спросив на то позволения, продуцирует стихи Мандельштама:

Неужели я настоящий

И действительно смерть придет?—

и, держа огонь в руках — градусов 90, не больше, хотите попробовать? — я завершаю свой путь, но не жизненный пока, и, поставив редуктор на верстак, слышу:

— А ты ничего парень.

Две взаиммонключающие характеристики, выданные мне в один вечер.

Стою лицом к верстаку, спиной к Алану, а он из чрева 386-го таращится на меня, чувствую, и мне хочется глянуть на свои ладони, но нельзя, надо доигрывать роль до конца, и я играю, и, положив, будто невзначай, руки на тиски, смиряю боль холодом, стою с отрешенным видом, словно задумавшись о чем-то, понтуюсь, как сказал бы Габо, то есть притворяюсь, но и на самом деле думаю о себе, и не восторженно отнюдь, и все нейдет из памяти, тревожа — неужели я настоящий? — и, возвратившись в прошлое, я снова еду с таксистом-клятвопреступником по замороженному городу и говорю, оправдываясь: «Я деревенский», а таксист недоверчиво косится на меня и покачивает головой: «Что-то не похоже».

— Бог в помощь! — глуховатый голос слышу, и это НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ, а я все еще держу руки на тисках и пытаюсь разгадать — ах, неужели? — загадку Мандельштама.

Это директор пожаловал к нам собственной персоной, и появившись он не вечером, а днем, когда многолюдно, кто-нибудь обязательно заглянул бы в дверь, предупреждая о его приближении, шелест пронесся бы по коридору — директор идет! — человек и должность в едином обличье — Директор. Он не заходит пока, стоит в дверях и смотрит внимательно, но не на нас (Алан торопливо выбирается из 386-го), а на потолок и на стены, и если он заметит на них хоть малейшую трещину или щербинку, сюда обязательно явятся маляры-косметологи, которые замажут, забелят, закрасят то, чего вы бы не углядели при всем старании. Интерьеры наши и наши здания самые ухоженные из ухоженных, и это предмет его особой гордости. Но есть тут и свои проблемы, и одна из них, например, каблучки-каблучища, которыми наши прелестные сотрудницы сковывают лак с великолепного, блистающего паркета, и как-то раз директор полушутя-полусерьезно заговорил об этом на собрании, и, не удержавшись, я крикнул с места, внес рацпредложение: «Надо им шлепанцы выдавать, как в музеях, или калоши полотняные!», и он ответил, отыскав меня взглядом, сказал с печалью непонятого человека: «Не смейся, сынок, порядок в доме не приносит беды хозяевам».

И вот он входит наконец, а следом за ним — Васюрин, тот самый, главный инженер головного НИИ, доктор наук, о приезде которого мне сообщил Эрнст — реагенты

А и В, давление Р и катализатор К, если вы помните, — и я усмехаюсь про себя, поняв, что директор не стены осматривал, а нас в первую очередь — мало ли что может случиться в вечернюю смену, когда начальство отдыхает у телевизоров! — и если бы мы с Аланом играли в карты или спали валетом на полу, он оттеснил бы спиной, как домкратом, Васюрина и повел его дальше: «Здесь нет ничего интересного», и утром бы разобрался с нами по-свойски, без лишних глаз и ушей. Потом он действительно озирает потолок и стены, но длилось это чуть дольше обычного и, кроме прямого, имело и другой, тайный смысл: загородив дверной проем своим немалым телом, он продержал некоторое время Васюрина в коридоре, дав понять тем самым, что превосходит его не только ростом и статью, но и является здесь полновластным хозяином.

— Здравствуйте! — энергично здоровается Васюрин.

Говорят, что он побочный сын одного из известнейших киноартистов, фамилию которого почему-то произносят шепотом; и криминал его рождения каким-то странным образом воздействует на наших дам, добропорядочных по сути, но так упорно не желающих носить мягкую обувь, и когда он приезжает, а это случается нередко, взволнованный шелест пронесется по предприятию — Васюрин! Васюрин! Он действительно похож на многих злодеев, но и похож на многих героев, сыгранных — его отцом ли? — и, как герой, он крепко пожимает нам с Аланом руки и, как злодей, ребром ладони резко постукивает по железному боку 386-го, а постучав, пылливо смотрит мне в глаза.

— Алан, кажется? — спрашивает, вспоминая.

— Бесагурович, — уточняю. — А вас как величать?

— Не балуйся, сынок, — директорская рука остерегающе похлопывает меня по холке, оглаживает, как норовистого коня — тпру-ру-у.

— Юрий Степанович, — с некоторым недоумением отвечает Васюрин.

Я мог бы и не спрашивать, он — лицо известное, основоположник и зачинатель, отец — незаконнорожденный? — молодого нашего предприятия. Так говорят, во всяком случае, и он не отрицает этого, принимая почести, как должное, и популяризируя себя. Прпезжая в командировки, даже на самый малый срок, он успевает выступить по телевидению с рассказом об успехах нашей отрасли и предприятия. В частности, нанести визиты секретарям обкома и горкома,

побывать в театрах и на концертах, но не в качестве рядового зрителя, а с обязательным заходом в артистические гримерные, посетить Дворец пионеров — встреча с интересным человеком, — прочесть лекцию в университете и так далее и тому подобное, включая футбольные матчи с участием местного «Спартака», с посещением раздевалки, естественно, Васюрин и сопровождающие его лица. Живой, приятный в общении — герой, одним словом, он известен в самых различных кругах, и только что не почетный гражданин нашего города, хоть и это возможно в будущем.

Имеет он и оппозицию. Поговаривают — злые языки? — что неумная энергия его вторична, она лишь результат, первичной же является его любовь к дензнакам любого достоинства, вплоть до разменной мелочи, вот он и хапает, где может, выражаясь по-хамски, а из предприятия нашего родного сделал себе кормушку: заключает договора на какие-то работы, о которых знать никто не знает, — злодей, да и только! — и директор, представьте, потворствует ему, потому что у него, Васюрина, есть рука в главке, и он, директор, имеет тут свою выгоду: и оборудование у нас самое современное, и заказы самые выгодные, и переходящие знамена нам вручают регулярно. Об этом не только поговаривают, но и пописывают, и уже дважды на предприятие приезжала комиссия из министерства, но оба раза уезжала ни с чем, и после первого ее отъезда уволился по собственному желанию главный бухгалтер, а после второго — начальник планового отдела.

ТАКАЯ ИГРА.

«Васюрин приехал, — сообщает мне З. В., а я только что получил техзадание на 386-е, а на улице весна, сияет солнце и девушки прохаживаются с распущенными волосами, а я должен сидеть, чертить эскизы, искать решение. — Вы что, не слышите меня? — бубнит З. В. — Васюрин, говорю, приехал. Надо бы встретиться с ним, проконсультироваться — я думаю, это вам будет полезно».

386-е мы делаем для одного из воронежских заводов, но и Воронеж, оказывается, входит в сферу влияния Васюрина, он и там подвизается, и еще в Одессе, Томске, Ашхабаде — осуществляет художественное руководство, по его же собственному выражению.

«Я привык надеяться на себя, — отвечаю с легкой улыбкой, — и на вас, конечно».

«Я тоже поеду», — кивает З. В.

Васюрин всегда останавливается в мотеле, за городом, в начале Дарьяльского ущелья, — любитель природы, З. В. звонит ему и просит зайти к нам при случае, а тот приглашает нас к себе, сейчас же, и обещает прислать машину — директорскую, — и вот мы усаживаемся в нее, З. В. впереди, рядом с шофером, а я на заднее сиденье, категорией ниже, и мы едем по веселому, зеленому, солнечному городу и минут через десять останавливаемся у мотеля, вваливаемся в холл — чеканка, мрамор, деревянные панели, — подходим к дежурной и спрашиваем Васюрина. Если бы это был Иванов-Петров-Сидоров, она бы долго искала его в книге, а тут без запинки сразу же называет номер. Мы поднимаемся на второй этаж, идем по коридору, по пушистой ковровой дорожке. З. В. осторожно стучит согнутым пальцем в дверь, и, услышав энергичное: «Прошу вас!», мы входим, а на диване сидит, поджав ноги, и смотрит на нас, не мигая, молодая женщина в японском кимоно, и З. В. улыбается, он знаком с ней, она уже приезжала в Орджоникидзе, третья или четвертая? жена Васюрина, которых он меняет периодически, по мере их старения — ах, злые языки! — и которой представляет меня:

«Алан, кажется?»

Длинная, гладкая рука тянется ко мне снизу вверх, и шелковый рукав скользит по ней, опадая к плечу:

«Люда».

Белокурая, красивая женщина с твердо очерченным подбородком и затаенной тревогой в глазах.

«Перейдем к делу?» — предлагает З. В.

«Смотрите, — Васюрин показывает на окно, — смотрите, какая погода! Чего сидеть тут, в конуре? Пойдемте на воздух! А, Людок?»

Он улыбается жене и смотрит, не отрываясь, словно подарок ей преподнес, и ждет восторга и благодарности, и улыбка застывает на его лице, как бы поощряя и требуя, и жена — Людок — кивает ему и говорит, насмешничая мило:

«Ах, Юрий Степанович, я вам так признательна».

«Я знаю тут одно местечко, — торопит он, — там и стол есть, там и поработаем».

Он достает из шкафа кожаную сумку со многими застёжками, и мы выходим из мотеля, — какой-то шофер-деревенщина таращится на васюринскую жену, как на жар-птицу, — спускаемся по довольно крутому склону, по тро-

пе, петляющей между деревьями, и вступаем на поляну, посреди которой, на самом солнцепеке, стоит вкопанный в землю стол и лавки, вкопанные по его периметру. Вынув карандаши и бумагу, Васюрин бросает сумку жене — лови, Людок! — и, весело посапывая, начинает раздеваться и через секунду оказывается в плавках, неожиданно пухленький, весь в складочках, как младенец.

«Надо прихватить немного солнышка!» — деловито сообщает он, втягивая живот и по-петушиному переступая ногами.

Жена его, расстелив на траве ярко-красную подстилку, сбрасывает кимоно и предстает перед нами в голубеньком бикини — можете любоваться.

«Хорошо?!» — требовательно улыбается Васюрин.

«Прекрасно», — стонет она.

Достает из сумки журнал, укладывается животом вниз на подстилку, расстегивает крючочек на спине, отбрасывает в стороны ляпочки и, надев огромные, на пол-лица, очки-светофильтры, принимается за чтение.

«А вы чего?! — подбадривает нас Васюрин. — Чего не раздеваетесь?»

«Нет, нет, — З. В. смущенно мотает головой, — не хочется».

«Понимаю, — смеется Васюрин, — обычаи, суровые законы гор!»

Он усаживается за стол, и мы следом, и они с З. В. заводят разговор, но не о деле, а так, треп о каких-то неизвестных мне людях, сотрудниках главка и министерства, и я тут сбоку припеку, бантик к известному месту, а в трех-четыре метрах от нас на изумрудной траве, на красной подстилке лежит Люда, Людок, чужая жена, и я стараюсь не смотреть на нее, но все-таки вижу ее, белокожую, и узкие плечи, и крохотную родинку между лопатками, и ложбинку, сбегающую вниз по спине, и возвышающийся задик, едва прикрытый голубеньким, и крепенькие бедра, и гладкие икры, и пятки наконец: ей хорошо здесь, на поляне, она читает себе и солнышка заодно прихватывает, или читает заодно, а мы с З. В. паримся, соблюдая приличия, два пиджака при исполнении служебных обязанностей, а Васюрин рассказывает, смеясь, о чем-то непонятном мне, и словно почувствовав мой взгляд, жена его поднимает голову, задумчиво смотрит на нас из-под темных очков и говорит с кокетливой строгостью:

«Юрий Степанович, эту повесть я включаю в список».

«Хорошо, Людок, хорошо! — улыбается ей Васюрин, и обращаясь к нам: — Подбирает для меня художественную литературу».

«Не может же он читать все подряд, — пожимает она плечиками, — да и времени у него нет на это».

ЕЙ ПРАВИТСЯ БЫТЬ ЖЕНОЙ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА.

Она откладывает журнал в сторону, переворачивается на спину, и голубенький лифчик ее топорщится, чуть отстает от тела, и в образовавшемся просвете показываются два холмика с розоватыми бутонами на вершинах, и З. В., углядев их, косится, старый садовник, посматривает оценивающе и сердито на всякий случай, и — нельзя же упускать такую возможность! — я пытаюсь встретиться с ним взглядом, намекнуть, что от меня не укрылось движение его души.

«Хорошего понемножку, — говорит Васюрин, — давайте приступать к делу».

Он берет карандаш, подвигает к себе лист бумаги, и это уже совсем не тот человек, что заигрывал только что с собственной женой и перемывал, посмеиваясь, косточки знакомым, теперь он напряжен, сосредоточен, в глазах его появляется блеск вдохновения, речь ярка и убедительна, мысли формулируются четко, и карандаш, послушно следуя за ними, скользит по бумаге, оставляя точные, выверенные линии, тут ни убрать, ни прибавить, и мы с З. В. только глазами хлопаем, ошеломленные зрители на чудо-представлении, а Васюрин уже бросает нам первый вариант — пожалуйста! — и принимается за второй — пожалуйста! — за третий и четвертый, и все это подряд, легко и непринужденно, а мне бы один паршивенький недели за две сотворить, и, закончив, он, возбужденный все еще, кричит жене:

«Людок, я выдал им четыре варианта! Этого достаточно?»

«Вполне», — отвечает за нее З. В.

«Ну, а теперь — обедать!» — командует Васюрин и улыбается ей.

«Ой, я и правда проголодалась», — немедленно откликается она.

Одевшись, они берут свою сумку и трогаются к motelу, и мы с З. В. тащимся за ними как замороженные.

За обедом опять начинается веселый треп, и даже

я участвую в нем, острить пытаюсь, но доморощенный юмор мой не имеет успеха — здесь бенефис Васюрина.

Все смеются, а жена его — теперь она в оранжевых брючках и синей, не прикрывающей пупок, блузчонке — рассказывает мне:

«Юрий Степанович всегда готов помочь. Может бросить все свои дела и выехать по первой же просьбе. Особенно к вам, в Осетию, он так ее любит. Не обижайтесь только, но у вас ведь нет настоящих специалистов. Кто лесотехнический окончил, кто пищевой, кто авиационный, вот ему и приходится ездить к вам чуть ли не каждый месяц. Да вы и сами знаете — он палочка-выручалочка для вас. Вот и представьте, как ему обидно слышать вместо благодарности, что он за деньгами гонится... Зачем они ему? Денег у нас и без того достаточно. Даже больше, чем нужно... Вы понимаете, как ему обидно?»

«Да, — говорю, сочувствуя, — понимаю».

Она на четверть века моложе его, и у нее есть шанс остаться последней его женой.

А Васюрин рассказывает о Бельгии — слышь, Людок?! — и, когда официантка приносит счет, он переходит к Японии, и З. В., чтобы не отвлечь его и не смутить, незаметно достает деньги и незаметно расплачивается — слышь, Людок?! ах, Фудзияма! ах, сакура! — и, распрощавшись, мы усаживаемся в директорскую машину, любезно предоставленную нам Васюриным, и едем обратно, с поляны солнечной в замкнутый четырьмя стенами мирок конструкторского отдела, и З. В. долго молчит, глядя прямо перед собой, и заявляет вдруг, словно споря с кем-то:

«Что бы про Васюрина ни болтали, а голова у него работает».

Я не могу не согласиться с этим, но думаю о другом и спрашиваю:

«Интересно, разделся бы он при министре или при начальнике главка хотя бы?»

Поняв вопрос по-своему, З. В. отвечает задумчиво:

«Да, умеет жить человек».

Вспомнив о розовых бутончиках, я усмехаюсь:

«А вы, наверное, тоже не прочь закатиться куда-нибудь с молоденькой девчонкой? В Акапулько, например, а?»
Затылок его багровеет.

— Не балуйся, сынок, — говорит директор, — а лучше запусти-ка нам свою бандуру. Уважь старика, я еще не видел, как она работает.

— Нельзя, — отвечаю, — только что редуктор сняли. Все четыре варианта васюринских я нашел потом в специальной литературе, и все они существовали испокон века, и все устарели так или иначе, а пятого не было никогда, им стал мой собственный.

— Что значит нельзя? — напирает Васюрин. — Трудно редуктор поставить?

— Сами попробуйте, — говорю я, выдержав паузу: — пощупайте его.

Он дотрагивается и отдергивает руку — что за шутки?! — и Алан едва сдерживает улыбку, а я бы показал 386-е в работе, не развалился бы редуктор, но слишком хорошо мне помнится его, васюринское — слышь, Людок?! — представление на поляне.

— Нельзя так, нельзя, — соглашается директор. — А ты запустишь его к сроку?

— Обязательно, — улыбаюсь. — Провалиться мне на этом месте! — и, отозвав его в сторонку, сообщаю конфиденциально: — Под раковиной штукатурка треснула. Хотите покажу?

— Ах ты, подлец! — он замахивается, смеясь, но я уклоняюсь вовремя. — Дослужишься ты у меня!

Они уходят. Я слышу их шаги в коридоре, но не удаляющиеся, словно директор и Васюрин маршируют на месте, и вот они уже сворачивают в главный корпус, идут по другому коридору, а шаги доносятся все так же явственно — что это? акустический эффект или слуховая галлюцинация? — и я стою оторопело и слышу их голоса.

— Он хороший конструктор, — говорит директор, — только гоносистый немного, но это пройдет с возрастом.

— Способный парнишка, — соглашается Васюрин. — Я набросал ему схему, так, в общих чертах, а он уловил — и, смотри, какой аппарат получился.

— Ты не финти, — усмехается директор. — Конструкция-то патентоспособная, что же ты на нее заявку не сделал?

— Времени на все не хватает, руки не доходят.

— Можешь это другим рассказывать, а я-то тебя знаю, ты своего не упустишь.

— Некогда, говорю! — сердится Васюрин. — Некогда мне пустяками заниматься!

Хлопает дверь, они заходят в директорский кабинет, и сразу становится тихо.

— Плюнь, — говорит Алан, — не обращай внимания.

Значит, он тоже слышал. Впрочем, бывают и массовые галлюцинации.

Он усаживается на длинную деревянную скамейку, стоящую у стены, и протягивает мне пачку сигарет:

— Закуривай.

— Ты же знаешь, — отмахиваюсь, — я не курю.

— Прости, опять забыл, — он щелкает зажигалкой, затягивается со смаком и говорит: — Я тоже брошу. Как только закончу институт — сразу же бросаю.

Он такой, у него все будет как у людей.

— Можешь не приходить завтра, — говорит, — ректор я и сам налажу, а в остальном у нас порядок.

— Ладно, — отвечаю, — не приду.

Мы долго сидим молча, я на одном конце скамейки, он на другом, а между нами широкая доска, отполированная многими ногами, и вдруг, словно прорывает меня, я рассказываю ему о Зарине, с болью и жалостью — слышь, Людок?! — о парализованной девушке рассказываю, о том, что скрыто от посторонних глаз, чего вроде бы и нет вокруг — о беде человеческой рассказываю.

ЗАРИНА.

На языке скифов, сарматов, аланов и осетин — зарин — это золото, известный своими свойствами желтый металл. Или — золотко, золотце — ласкательное.

Зарин — на языке военных специалистов — это отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Со-
кращенно: ОВ.

ВПОЛНЕ СОВРЕМЕННОЕ ИМЯ.

— Слушай, — говорит Алан, — то ли в Зарамаге, то ли в Хумалаге есть один лекарь. Если хочешь, я узнаю о нем...

... и журавли, печально пролетая...

Домой я возвращаюсь кружным путем, скорее удаляясь, чем приближаясь к дому. День кончился, а я все еще живу, вступив в пределы д р у г о г о времени, я пережил

праправнуков своих и прапраправнуков, и они разбрелись по свету, размножившись, образовав большие и малые народы, а я все еще бреду по оледеневшей земле, по окраинной улочке, и они, проходя мимо, не узнают меня и не узнают друг друга, забыв о родстве, бегут, глядя себе под ноги, одинокие в ночи, и я не узнаю их, забыв о единокровии нашем, и неожиданно для себя подхожу к мосту, под которым река течет, но не Лета, а Терек, скованный льдом у берегов, но свободный в стремнине, рокочущий сдержанно, и, явившись из тьмы, передо мной возникает встречный, старик, лицом похожий на грека, и, тревожно озираясь по сторонам, он шепчет, словно в заговор приглашает вступить:

— Дай мне точку опоры, и я переверну этот мир.

— Где ее взять? — спрашиваю.

— Переверну, — настаивает он.

— Зачем?

Старик открывает рот, чтобы ответить, но где-то рядом слышится вдруг сирена «скорой помощи», и, вздрогнув, он исчезает, словно его и не было вовсе.

Машина въезжает на мост и останавливается, проехав немного. Распахивается дверца, та, задняя, через которую носилки выдвигают, и на мороз высовывается молодое черное лицо.

— Тебе в какую сторону, братишка?

— Мне? — спрашиваю удивленно.

— В какую сторону идешь?

Отвечаю.

— Садись, подвезем, нам по пути!

Забираюсь, усаживаюсь на скамеечку возле свернутых носилок, машина трогается, а напротив еще один в белом халате сидит, такой же молодой, как первый.

— Только началось дежурство, — это черноусый говорит, — а уже два инфаркта, ботулизм и ножевое ранение.

— Проникающее, — уточняет второй.

Спрашиваю, чтобы не молчать, давно ли они работают.

— Мы студенты, — отвечает черноусый, — практику проходим.

— Медбратья, — улыбается второй.

И погода немного:

— Смотрим, человек идет. В такое время, в такой мороз. Несчастье у него, думаем, что ли?

— Нет, — отвечаю, — все в порядке.

— Сигареты у тебя не найдется? — спрашивает черноусый.

— Прости, не курю.

Он открывает лючок и обращается к врачу, сидящему рядом с водителем, просит жалобно:

— Римма, дай табачка.

Она роется в сумке, достает пачку и просовывает в лючок сигарету.

— Последний раз куришь в машине, — говорит. — Вот тебе яркий пример феминизации — мужчина просит курево у женщины.

Слышится треск рации, и она отвечает что-то, слов не разберешь, и спрашивает, и снова отвечает что-то, взвизгнув тормозами, машина останавливается.

Снова откидывается лючок.

— Высаживайте своего приятеля, — говорит она, — едем на вызов.

— Прости, — разводит руками черноусый, — сам понимаешь.

— Ничего, — отвечаю, — спасибо, мне уже недалеко.

Стою на тротуаре, смотрю, как разворачивается машина, как уносится вдаль, как тают в морозной ночи красные огоньки.

ДРУГИЕ ЛЮДИ, ДРУГАЯ ЖИЗНЬ.

Укладываюсь в постель, читаю на сон грядущий:

«В десяти милях от Виктории (английская Колумбия) два крестьянина, рывшие яму, нашли окаменелый труп человека гигантских размеров. Вещество, покрывающее труп, твердо, как кремьнь. У трупа недостает рук и ног. Ребра и жилы дали ясные отпечатки на камне. Этот ископаемый человек имел рост около двенадцати метров».

О, тоска по неведомому прашуру!

Окончание переподготовки мы отмечаем вчетвером — полковник Терентьев, Миклош Комар, Хетаг и я. Обещали явиться и остальные, но отсеялись один за другим, исчезли, укрывшись в каменных тайниках города, — служба завершена, и армейское братство наше распалось, чтобы возродиться попозже, когда, состарившись и огрузнев, мы приступим к ревизии своей биографии, создавая героический ее вариант, и мимолеетный эпизод — стрельба по фанерной мишени — вдруг вырастет в наших глазах, обретет значимость боевого действия и, оказавшись общим для всех, объединит нас, и, сыграв торжественный сбор,

мы слетимся, орлы подержанные, ветераны-сюрпризники начала мирных семидесятых годов, и, не скорбя о потерях, которых не понесли, станем рассказывать, перебивая друг друга, о совершенных подвигах — выбил 32 очка из 30! помнишь?? а я 36! 38! 380 из 30! но разве такое бывает? ах, чего только не бывало в наше время! — и, разомлев от счастья, грянем дребезжащими, но бравыми еще голосами любимую свою, походную песню:

КАК СЛАВНО БЫТЬ СОЛДАТОМ...

Но до этого пока не дошло, и мы сидим вчетвером в ресторане «Нар», пьем популярный общевойсковой напиток, закусываем шедеврами осетинской кухни и под оглушительный рев оркестра — рок, твист, шейк! — беседуем о хлебопечении в условиях термоядерной войны, о выборе позиции, о способах маскировки.

— У землю надо закапываться, у землю, — твердит Миклош Комар, — чем глубже, тем лучше.

Полковник Терентьев кивает, соглашаясь:

— Но и возможность для маневра надо предусмотреть.

Разговор наш никак не может сойти с этой единственной, наезженной совместно колеи, и это становится темой застольной беседы — вам смешно, мадам Бомба? — и я, словно в противоатомное убежище юркаю, ныряю в теплое, уютное прошлое, но слишком глубоко ухожу — там раскачивается тощая, мутно-коричневая спина плакальщицы, там причитания иступленные, — и снова я не могу понять, плач это или песня, и спрашиваю в ужасе:

«Зачем они плачут?!»

«Война, мальчик, война», — слышу в ответ и торопливо выбираюсь повыше — вперед или назад во времени? — и снова оказываюсь за столом, но за другим: это я в институт поступаю, собеседование прохожу, отвечаю на вопросы четко, не задумываясь, мальчишка из глухомани, из деревни нерусской.

«Она у вас — аул?» — интересуются.

«Нет, — говорю, — село, селение, к а у — по-осетински».

«Хорошая школа в этом вашем кау», — улыбаются.

«Да, — киваю, — действительно хорошая».

Выхожу, счастливый, и Москва у моих ног, яркая, солнечная, невообразимо красивая. Я иду по ней наугад, кружусь в людском водовороте, и радостное кружение это может длиться бесконечно долго — Москва

приняла меня, я свой здесь, я озираю вывески, ищу харчевню, чтобы войти в нее, как домой, и пообедать похотевши, и вот она, «Националь», читаю, а заведения такого рода мне не в новинку — однажды мы с отцом были в ресторане нашего райцентра, — и я уверенно поднимаюсь на второй этаж, вхожу в просторный, сверкающий зал, усаживаюсь за широкий стол, покрытый крахмальной скатертью, с достоинством оглядываю немногочисленную публику — темнолицые индусы откусывают интеллигентно, сосредоточенно жуют японцы, слышится негромкая разноязыкая речь, — и к столу моему подходит официантка, в наколочке, в передничке, румяная, круглолицая, подходит и спрашивает вдруг:

«Что вы хотите?»

«Есть», — отвечаю удивленно.

«Мальчик, — говорит она, — у нас очень дорого, тебе лучше в столовую пойти».

Мне уже и самому понятно, что это не райцентр, но и отступать обидно, и мужества не хватает — через себя ведь переступить нужно, — и я выдавливаю, преодолев спазм:

«Дайте меню».

Она пожимает плечами, но карточку все же кладет передо мной, и я выбираю, стараясь не смотреть на цены — какое это имеет значение?! — и называю то, что известно мне из прочитанных романов, и вот уже ем, запивая еду минеральной водой, чтобы проглотить поскорее, отделаться, и кажется мне, что индусы темнолицые исподтишка следят за мной, а официантки, словно сговорившись, то и дело проходят мимо, и каждая косится, и все они на одно лицо, и я не знаю, которая из них моя, и жду, нетерпеливо ерзая, и вот она появляется наконец, приносит счет и спрашивает, улыбаясь, но не насмешливо, а добро:

«Наелся? — чуть ли не по головке меня гладит: — На здоровье».

Она одна такая здесь, думаю, а остальные наблюдают за мной, спиной чувствую, даже сосредоточенные японцы перестают жевать, даже повара прибежали полюбопытствовать — ах, рубашечка моя новенькая, штанишки от сельпо! — и блеск этого зала, такой приятный вначале, теперь враждебен мне, и пол враждебен, и, боясь споткнуться-поскользнуться, я истуканьей походкой иду,

тороплюсь в будущее — или возвращаюсь? — в шумный, разноречивый гомон — тосты громогласные, сытых утроб балдеж, — и слышу голос в шуме:

— Сиротой остался. Беспризорничал. Пух от голода. Пристал к отряду красноармейцев. Они меня гонят, а я плачу и за ними бегу. Одиннадцать лет мне было тогда.

Это полковник Терентьев рассказывает о себе.

— Пристал к отряду и прошагал через две войны, через всю свою жизнь.

Улыбается невесело:

— А труба-то уже отбой играет, в отставку пора.

И помолчал немного:

— А я о гражданской жизни представления не имею. Все надо заново постигать. Не поздно ли?

Тут Хетаг вступает:

— Один полковник-отставник у нас директором мельзавода работает и неплохо справляется, между прочим. Приходите и вы к нам. Договоримся.

Он главный инженер Управления хлебопродуктов, мой бывший однокашник.

— Не обязательно директорствовать, — говорит Терентьев. — Мне бы только среди людей быть, в коллективе.

— Приходите, — повторяет Хетаг. — Потолкую я о вас с начальником отдела кадров и оставлю записку своему преемнику.

— А вы что, уходите с работы? — встревожился полковник. Надежда, забрезжившая было перед ним, померкла.

— На два года, — сообщает Хетаг. — Еду на Кубу строить элеватор.

Он собирается что-то еще сказать, полковника, наверное, ободрить, но в это время к нам подходит официантка, приносит бутылку коньяка и подсахаренные лимонные дольки.

— Прислали вашему столу, — улыбается.

— Кто? — спрашивает Хетаг.

— Просили не говорить, — отвечает она и, стрельнув глазами в мою сторону, шепчет, будто страшную тайну открывает: — Ваши друзья.

Оглядываю зал и вижу в углу веселую рожу Габо. Они сидят четвером, — он, Алан и еще двое неизвестных мне. По ресторанному этикету мне положено с бокалом в руке прошествовать через зал и, поблагодарив за презент, выпить с ними. Или положено прошествовать с тремя бокала-

ми на тарелочке — священное число — и преподнести их, как ответный дар, от нашего сообщества? Ах, никогда я не мог разобраться в этих тонкостях и никогда на разберусь, наверное. Встаю, извинившись: «Я на минутку», и шагаю, как хам, с пустыми руками. Когда я достигаю пункта назначения, Габо поднимается и протягивает мне полный фужер водки.

— Дружеский! — смеется он. — Встречный!

— Отстань, — отмахиваюсь, — я же не пью.

— Большой, что ли? — интересуется один из незнакомцев. — Печень?

— Бери, бери! — Габо сует фужер мне в руку.

Беру — куда тут денешься? — отпиваю половину.

— До дна! — весело требует Габо. — Ты что, не уважаешь нас?!

А тезка мой, Алан, помалкивает себе и усмехается едва заметно, и это почему-то задевает меня, и я допиваю — ему или себе назло? — переворачиваю фужер, показывая, что в нем не осталось ни капли, и возвращаю порожнюю тару Габо, а незнакомец, обозвавший меня больным, подносит, как микрофон, к самому рту моему подсовывает кусок мяса, насаженный на вилку, и я машинально хватаюсь за нее, но он не выпускает, насмерть держит: угощение я должен принять из его рук — это входит в ритуал оказываемых мне почестей. Стаскиваю зубами мясо с вилки — великоват кусочек, не прожухешь — и с полным ртом усаживаюсь за стол, пожимаю руки, знакомлюсь: «Заур, — слышу и, — Берт», и сам мычу в ответ: «Алан», а Габо уже снова наполнил фужер и протягивает мне его:

— За сказанное!

Теперь я должен выпить за то, что говорилось до меня за столом, признать и одобрить, после чего меня наделят всеми правами и привилегиями, которые выразятся, видимо, в том, что пить можно будет не из фужера, а из рюмки. Вскликаю и, всем своим видом показывая крайнюю степень испуга и ужаса даже, порываюсь бежать, но Алан хватает меня за руку и ворчит, сердясь на Габо:

— Оставь человека в покое!

Тот смеется, довольный, а я снова усаживаюсь за стол и проглатываю наконец дарованный мне кусок.

— Ради него на стакан сели, — сообщает Габо, кивнув на Алана, запускает руку во внутренний карман его пиджака и достает зачетку, — кнокай.

Можно и не переводить для беленькой — сесть на стакан — и так понятно. Кнокай — смотри. Раскрываю зачетку — отл., отл., отл. — шикакого разнообразия. Улыбаюсь Алану:

— Ты не шутишь?

Он пожимает плечами: делаю, мол, что могу.

— Сегодня сдал последний экзамен, — говорит. — Они меня прямо из института вытащили.

— Упали ему на хвост! — ликует Габо.

Выследили, пристали, приклеились.

— Он же стремный, — вступает Берт. Или Заур. — Сам не догадается обмыть.

— Что такое стремный? — интересуюсь.

— Долдон, значит, — отвечает Заур. Или Берт. — Старомодный такой, без понятия.

— Ой, трески! — веселится Габо. — Долдон — это же совсем другое!

— Кончайте! — морщится Алан.

Но Берт, или Заур, вернее, оба они уже завелись, и Габо поддразнивает, подъяривает их — завязывается шумный диспут.

— Как триста восемьдесят шестое? — спрашиваю Алана.

— Приняли, — отвечает он.

— Это я и сам знаю, — говорю, — расскажи, как было.

— Приехали двое из Воронежа, ну и Васюрин, конечно, а от наших — директор, З. В. и Эрнст. Воронежским изделие понравилось, подписали акт без единого замечания.

— Слава богу.

Алан пожимает плечами:

— При чем тут бог? Изделие работает как часы, не придерешься.

Но речь идет все не о том, ах, не о том, и я не знаю, любопытство ли меня одолевает, гордыня или, еще хуже, тщеславие, но жду в нетерпении, хочу услышать, — а было ли сказано хоть слово в мой адрес? Произнес ли хоть кто-нибудь вслух мое имя — и не дождавшись, спрашиваю как бы между прочим:

— А по мне не скучали?

— Директор все объяснил приезжим, — отвечает Алан. — Сказал, что в настоящее время ты проходишь переподготовку по своей военной специальности.

Скрывая смущение и разочарование, поворачиваюсь к Габо;

— Ну, — интересуюсь, — выяснили, что такое долдон?

— А-а, — машет он рукой, показывая на Берта, или на Заура. — Что с ним спорить? Уперся, как сивый яшка. Спрашиваю, усмехаясь:

— А как по-осетински — кит?

Габо растерянно смотрит на меня, потом, вопросительно, на Берта, Заура и Алана, но те как бы не замечают его взгляда.

— А лемех, шкворень, ступица?

ЭТОГО ОНИ НЕ ЗНАЮТ.

— Ой, мои венки! — хватается за голову Габо.

Для овечки: прозвучавший взглас выражает удивление.

— А сам ты знаешь? — напирает Заур или Берт.

— Я деревенский, — отвечаю.

— Ну, а в городе все эти дышла-постромки никому не нужны, — находит выход из положения Берт или Заур.

— Конечно, — говорю, — киты в деревнях живут, на пастбище травку пощипывают.

— Какие вилы! — восторгается Габо и сам же переводит для беленькой: — Законно ты его подколот?!

То есть здорово поддел.

А жизнь ресторанная продолжается, ножей и вилок бодрый перестук, голоса зычные, но оркестр уже не ча-ча-чайе-йе играет, а тапец ингушский — дробь барабанная, электрогитар переборы, — и на площадку, где только что шейк отплясывали, три парня выходят, ингуши, и двое из них останавливаются на краю, словно у обозначенной ими же самими границы, а третий, стройный, высокий, в блайзере темно-синем, в пуговицах золоченых, легким шагом вступает в круг. Остановившиеся как бы тянутся к нему, но не смея перейти незримую черту, застывают в напряженных позах, и только ладони гулкие выносят за нее, хлопают яростно, и оркестр прибавляет, подчиняясь, и темно-синий начинает в таком бурном темпе, который и двадцать, десять секунд выдержать невозможно, и лица всех тронх суровы и решительны, будто они крепость приступом взять собираются, и танцующий еще и прихвастывает чуть, удалю похвально перед осажденными, у самых стен крепостных прохаживается, то и дело закидываясь назад, словно падает навзничь, сраженный, но каждый раз удерживаясь в последний миг, выпрямляется ловко — рук и ног пластическая работа, пуговиц золотых сверканье.

— Хорошо танцует, — говорю, — ничего не скажешь.

— Берт, — роняет Габо, — сделай.

Берт встает — теперь я знаю, кто из них кто — и направляется к оркестру, но не напрямик, а кружным путем, огибает площадку, чтобы не мешать танцующим. Сует деньги ударнику, и тот, подбросив палочку, кладет их в карман, ловит палочку и, не переставая стучать, говорит что-то, кивает. Вернувшись, Берт подмигивает Габо — дело сделано.

— Что вы затеяли? — спрашиваю.

— Сейчас увидишь, — обещают мне.

Ингуши заканчивают, и темно-синий замирает, вскинувшись, и, выдержав паузу, пожимает руки своим соратникам, и, сопровождаемый ими, возвращается к столу, к прерванной на время трапезе.

Оркестр, переведя дух, заводит новую музыку, и тоже танец, но осетинский на этот раз, и я вижу то, что обещали мне: Габо, Берт и Заур поднимаются и стремительно, в ритме уже, проходят между столами к площадке, и двое останавливаются — все, как было только что, — но Габо начинает еще резвее темно-синего, а Берт и Заур хлопают так, что в ушах звенит, и, хлопая, подступают к нему, покрикивают строго — арс! арсэй! давай, мол, шевелись, раз уж вышел! — и, улыбаясь, он прибавляет без видимых усилий, и еще прибавляет, и даже ручкой нам с Аланом умудряется сделать — чего нахохлились, как сычи?! жизнь прекрасна! — а я и сам уже плечами повел, выпрямился горделиво, и Алан, слышу, ритм пальцами по столу отстукивает, и музыканты стараются, играют в свое удовольствие — арс! арсэй! — это ударник кричит, это Берт и Заур, ладони раскаленные, а Габо смеется, и движения его легки, свободны, радостны, исполнены восторженной веры в беспредельность мгновения, в неисчерпаемую вечность молодости.

Зал ресторанный рукоплещет.

Габо обнимает друзей за плечи, и они возвращаются, свежие, сияющие, и Берт подмигивает мне:

— Посадили ингуша на метлу!

— Орлы, — подтруниваю, — постояли за Осетию.

— И всегда постоим, — отвечает Заур.

Интересно, думаю, кому бы аплодировали, если бы все это происходило не здесь, а в Ингушетии?

Поднимаюсь:

— Пойду, — говорю, — неудобно, заждались меня, наверное.

Возвращаюсь к своему столу, к разговору, который начался без меня — речь идет о Миклоше Комаре, — и, прислушиваясь, вникаю понемножку, узнаю, что Миклош — сверхсрочник, дослужившийся до младшего лейтенанта, а чтобы получить следующее звание и стать полноценным офицером, ему надо поехать куда-то и что-то там сдать экстерном, но он все не соберется никак, все тянет, отлынивает, и это не нравится полковнику Терентьеву, озадачивает его и огорчает.

— Я у него и дома был, в Закарпатье, — рассказывает он Хетагу, — с родителями познакомился, с братьями, сестрами. Большая, трудовая семья... И невеста у него там есть, Магда, хорошая девушка. Он ей при мне обещал — получу лейтенанта и сразу же сыграем свадьбу. Было такое? — Терентьев поворачивается к Миклошу, и тот кивает нехотя. — Год уже с тех пор прошел, а где оно, твое обещание?

— Сами знаете, — ворчит Миклош, — то одно, то другое...

— Третье! — грозит пальцем полковник. — Тут все свои, и я скажу, как есть, без утайки. Он с женщиной связался. Там его невеста ждет, а здесь другая, с готовым ребенком.

— Чужой ребенок? — Хетаг с сомнением покачивает головой. — Из этого ничего хорошего не получится.

— Какой же он чужой?! — протестует Миклош. Ох, надоели ему, видно, эти разговоры. — Он мне как свой!

— Именно — как! — усмехается Хетаг.

— А Магда пусть ждет, когда он лейтенантом станет! — ярится полковник. — А он и не собирается им становиться! Зацепку себе придумал!.. Как хочешь, а я напишу твоему отцу, пускай приезжает! Негоже девушку обманывать!

— Ну, что вы балачки развели?! — восклицает в отчаянии Миклош. — Разве ж оно все так просто?!

Отвлекая от него внимание и принимая, таким образом, его сторону, я призываю всех:

— Смотрите!

На эстраде, среди музыкантов, топчется некто молодой еще, но достаточно потрепанный, разболтанный в суставах, топчется и голосом гнусовато-задушевым упрашивает пианиста:

— За-ради меня, Бабек!

— Нет! — отвечает тот. — Не хочу!

— За-ради старой дружбы!

— Нет! Сказал уже!

Некто ухватывает себя за кожу на кадыке и оттягивает ее, как тряпку:

— Умоляю!

— Вот пристал! — жалуется пианист. — Не отвяжешься от него!

— Не ствяжешься, Бабек, — гнусавит некто. Наклоняется, шепчет что-то пианисту, показывает металлический рубль: — Смотри, какой новенький!

— Ладно, — сдается Бабек. — Последний раз.

Некто с размаха припечатывает ко лбу его рубль, и пианист, сдвинув брови, прихватывает ими сияющий дензнак — смертельный номер! — и с рублем, как со звездой, во лбу начинает играть.

— Безобразие! — говорит полковник Терентьев.

— Вы о чем? — интересуюсь. — О деньгах, как таковых, или о человеческом достоинстве?

— Что же это такое? — изумляется он. — Что творится?

— В мире? — спрашиваю. — Или в ресторане?

— Бросьте! — отвечает он в сердцах. — Нельзя же зубоскалить по любому поводу!

Бросаю.

Следом за пианистом электрогитары вступают, звучит та мелодия, под которую только что резвился Габо. Некто неуклюже спрыгивает с эстрады и грациозно вдруг, и как-то женственно прохаживается, танцуя, по площадке, посылает кому-то, сидящему в глубине зала, воздушные поцелуи, поглядывает глазом блудливым на окружающих — каков, мол, я?! красавец! — и, восприняв эти причудливые па как оскорбление, ингуши срываются со своих мест и выскакивают на площадку, и, восприняв появление их как вызов, встают из-за стола Габо, Берг и Заур, и некто, лишившись пространства, уходит, недовольно ворча, а Бабек, дипломат великий, уже не осетинскую мелодию играет, но и не ингушскую, а общую для всех, нейтральную лезгинку, и два ингуша и Заур с Бертом хлопают в одном ритме, но каждые для своего танцора, и темно-синий, пуговиц золотых сверканье, закидывается на спину чуть ли не до самого пола, гибкий, как лоза, и выпрямляется пружинисто, давая понять, что в первый раз не предполагал соперничества, но уж теперь-то покажет, на что способен, а Габо смеется в ответ, артист этакий — разве дело в со-

перничестве? радость в самом танце! — и ему нельзя не поверить, и, соблазнившись, Берт и Заур разом пускаются в пляс, и темно-синий останавливается, возмущенный, — нарушены правила! трое на одного! — ах, ничто не нарушено, уже весь зал, не жалея ладоней, хлопает танцующим, и музыканты входят в раж — темпо! темпо виваче! — и рубль срывается с потного лба пианиста и падает без стука, словно из воздуха сделан, словно не материален.

— Важно не то, осетины они или ингуши, — заключает полковник Терентьев, — а то, в какой из групп на данный момент подобрались лучшие танцоры.

БЛЕСТЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА. (Ах, если бы все проблемы можно было решать посредством хореографии!)

Полковник поднимается.

— Посидели, — говорит, — и хватит.

— Подождите, — останавливает его Хетаг. — Дайте свои адреса. Я напишу вам с Кубы, а вы ответите — продолжим знакомство.

Выходим из ресторана в парк, идем некоторое время вместе, но им в одну сторону, а мне в другую, и мы останавливаемся, но стояние это не может длиться долго — полковника ждут дома, Хетага — на Кубе, Миклоша ждет Магда в Закарпатье и безымянная женщина с ребенком, здесь в городе. Прощаемся. Задерживаю руку полковника в своей.

— Вы что? — удивленно смотрит он на меня.

Улыбаюсь:

— Жаль расставаться.

Никогда ведь не увидимся больше. Никогда в жизни.

Они уходят, а я остаюсь в тишине среди деревьев, и черное с пробелесью морозной небо простирается надо мной, ни луны, ни звездочки; и неподалеку, за гранитной набережной обиженно пошумливает река, речушка, Терек, прихваченный льдом у берегов.

Слышу — дятел стучит. Но откуда он здесь, в парке? Или это не парк, а лес? И не зима сейчас, а осень, и снег еще не выпал? Или растаял уже, весна началась? И вовсе не дятел стучит, а топор? Чермен валежник рубит, а я собираю хворост. Сколько же лет мне, пять или шесть? В школу еще не хожу, но Таймураз уже родился. А ему сколь-

ко? Исполнился ли год, первый в его жизни? Сколько лет прошло после войны?

«Хватит, — говорю, — тяжело будет».

Это Чермен хворост вяжет — для меня величиной с метелку, которой мать двор подметает, а для себя вязанку огромную. Стягивает веревкой, лямки приспособливает и улыбается, подбросив мою вязаночку и поймав на лету:

«Игрушка!»

Но я ведь не о себе, о нем думаю. Как же он поднимет, унесет столько? Глянув на меня, Чермен взмахивает топором, срубает сучок с дерева и подвязывает к метелке:

«На растопку».

А я-то надеялся, что он от своей вязанки убавит.

«Чем каждый день сюда ходить, — ворчу, удивляясь его недогадливости, — лучше за один раз много набрать. Вот столько! — показываю. — Целый воз! — подпрыгиваю даже. — Чтобы надолго хватило!»

«А на чем везти? — спрашивает он. — Где лошадь взять?»

Этого я не знаю.

Спускаемся по склону, то пологому, то крутому, идем по едва заметной тропе, петляющей между деревьями. Чермен впереди — только шапка отцовская виднеется за вязанкой хвороста и каблуки стоптанные мелькают; а следом я поспеваю, чувяками шлепаю — маленькое выючное животное. Выходим на поляну, и отсюда, сверху, я вижу далекое село на равнине, дома — коробки спичечные, но своего различить не успеваю: мы снова вступаем в сырой полусумрак леса. Спотыкаюсь о корни, расплзающиеся по земле, как жилы, шмыгаю носом, разогревшись и взмокрев, бегу, запыхавшись, и если бы я не видел села, было бы лучше, а теперь путь до него кажется бесконечным. Чермен останавливается, сбрасывает с себя вязанку, и я, обрадовавшись, торопливо выпрастываю руки из лямок и налегке уже подхожу к брату, чтобы посидеть с ним рядом, отдохнуть. Но это вовсе не привал, оказывается. Чермен заметил в стороне, на прогалине, сизые, выгнутые шляпки груздей.

Значит, осень все-таки? Или это не грибы, а черемша, а значит, весна ранняя?

Собираем то ли грибы, то ли черемшу, а у Чермена и мешочек уже наготове, торбочка ситцевая, и, набрав ее почти доверху, приторачиваем к вязаночке моей, нагружаем сразу же и пускаемся в путь.

«Если рассидимся, — объясняет Чермен, — хуже будет. Лень проснется, за ноги схватит».

Вот мы уже и дома наконец. Растапливаем печь, чистим и моем то ли черемшу, то ли грибы, а их — или ее? — оказывается совсем немного, но кое-что есть все же, и Чермен ставит чугунок на огонь, и вскоре вода начинает побулькивать и закипает вскоре, и, приняхиваясь, я сглатываю слюну, как щенок.

«Отцу отнесем, — говорит Чермен. — Он любит».

Отец лежит в районной больнице. Снова — в который уже раз? — открылась рана на его бедре, открылась и не заживает никак. Каждый день мать с Таймуразом на руках отправляется на попутных в райцентр. Мы с Черменом бываем у отца реже. Проходим через тесную, многолюдную палату, осторожно присаживаемся на краешек койки. Отец улыбается, но неуверенно как-то, словно виноват перед нами — черная с проседью щетина, печальные глаза.

«Ну как? — спрашивает меня. — Читаешь книжки?»

Киваю в ответ.

«Молодец», — протягивает руку, гладит по голове.

С Черменом он тоже немногословен, но говорит совсем о другом. О доме, о домашней скотине, о корме, для нее и для самих себя. О том же самом говорят люди, присевшие на краешек других коек, и люди, лежащие на них.

«Почему?» — спрашиваю.

«Такое время», — неопределенно отвечает отец.

Какое? — думаю. — А какое будет потом?

Прощаемся, выходим из палаты. Чермен, вспомнив вдруг что-то, возвращается, а я остаюсь ждать в коридоре. Двое в белых халатах проходят мимо меня. Об отце говорят. Слышу имя его и слышу красивое слово:

АМПУТАЦИЯ,

и повторяю его про себя, стараясь запомнить, забавляюсь с ним, как с игрушкой. Но кроме приятного звучания в нем должен быть еще и смысл. Что оно значит, это слово? Спрашиваю Чермена, но он только плечами пожимает. Спрашиваю мать — она глаза в сторону отводит:

«Ты что-то перепутал, наверное. Или не расслышал».

Не знают этого слова и соседские мальчишки. Зато им известно другое, и они охотно сообщают мне:

«Твоему отцу хотят отрезать ногу».

Х о т я т, с ужасом думаю я. Кто же? Те, двое в белом? Вот почему мать каждый день ездит в больницу. Боится

как бы отца не застали врасплох. Пусть и по ночам сидит у него, чтобы не подкралась, когда он заснет. Пусть, думаю, а сам прислушиваюсь к каждому звуку, — не идет ли, не возвращается ли она? И хоть гудит в печи огонь, и вареву булькает, в доме холодно, пусто и уныло без нее.

Слышу — калитка хлопает. Подбегаю к окну. Нет, это не она, это ветер калиткой играет. Или снова топор? Чермен хворост рубит во дворе? Или дятел где-то, дятел стучит?

Проснись!

Встаю, открываю дверь — вижу парня незнакомого с сумкой.

«Здравствуйте, — говорит он, — меня Фируза Георгиевна прислала. Телефон будем ставить».

«Пожалуйста, — приглашаю, — входите».

Войдя и покосившись на неубранную постель, он улыбается:

«Разбудил вас?»

«И слава богу, — отвечаю, — мне пора бежать».

«На работу?»

«Нет, — одеваюсь торопливо, — в часть. Призван на переподготовку».

«А-а, — кивает он понимающе, — вы офицер запаса?»

«Да», — говорю.

Но куда же я тороплюсь? Разве переподготовка не закончилась? Разве не суббота была вчера? Разве не воскресенье сегодня?

ПЯТНИЦА.

Значит, я во сне проснулся? Значит, все это в прошлом происходит?

«Аппарат на столе будет стоять?» — слышу.

«Ладно, — соглашаюсь, — только сделайте шнур подлинней, если можно».

«Хорошо».

Надеваю пальто и шапку.

«Соберетесь уходить, — говорю, прощаясь, — не забудьте захлопнуть дверь».

«Не забуду».

Слышу, выходя: молоток стучит, провод к плинтусу приколачивает.

Вижу, возвратившись вечером: аппаратик серенький стоит на столе.

Снимаю трубку — гудит.

Это мир отзывается, планета, опутанная проводами. Я могу при желании, при известной настойчивости и терпении дозвониться до Могадишо, например, или до Гонодулу — здравствуйте! — и мне ответят из вежливости или от любопытства, но кому позвонить сейчас, здесь, в Орджоникидзе, кто х о ч е т слышать мой голос?

ЭТОГО Я НЕ ЗНАЮ.

Набираю 09, спрашиваю номер телефона Фирузы Георгиевны — фамилия такая-то, адрес такой-то. Записываю. Набираю первые цифры и останавливаюсь, кладу трубку, взволновавшись вдруг — отчего?! — и, пересилив себя, снова накручиваю диск, проворачиваю так, что он повизгивает.

«Да?» — слышу хриловатый голос.

ЗАРИНА.

«Здравствуйте, — говорю, — это Алан».

Она молчит некоторое время, словно вспоминая, и отвечает:

«Да, я вас узнала».

Вздыхаю облегченно — слава богу, мне не пришлось рассказывать ей, что я тот самый, который нес ее на руках, вез в больницу, потом назад и снова нес на руках.

«Вы хотите что-то сказать?» — спрашивает она, обрывая паузу, спрашивает так, словно я виноват в чем-то.

«Нет, — говорю, — я просто хотел поблагодарить Фирузу Георгиевну».

«За что?»

«За телефон».

«Вам поставили уже?»

Значит, она в курсе дела.

«Да, — говорю, — сегодня».

«Вот и хорошо, — слышу, — вы перенесли с места на место парализованную девушку и получили за это телефон. Поздравляю».

«Между прочим, — отвечаю, вскипев, — я встал на очередь еще три года назад».

«Тем более, — слышу в ответ, — вы никому и ничем не обязаны. Всего наилучшего».

Она кладет трубку, но я не договорил еще, не договорил! Снова накручиваю диск, набираю номер. Слышу короткое, как выстрел:

«Да?»

ЭРНСТ.

«Привет, — говорю, — это я».

«А-а, — усмехается он, — рад слышать твой голос».

«Мне телефон поставили», — сообщаю вяло.

«Завел полезные связи?»

Умолкаю на мгновение.

«Да, — отвечаю, — завел».

«Поздравляю».

«И я тебя тоже».

«С чем?»

«С тем, что ты жив, здоров, можешь передвигаться без посторонней помощи».

«Спасибо».

«Пожалуйста».

«Слушай, — спрашивает он, — а тебя не интересует, что было на техсовете?»

Всплывают в памяти, словно эпизод из чужой, рассказанной жизни, реагенты А и В, катализатор К, давление Р:

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНФЛИКТ.

«Ох, — вздыхаю, — я и забыл о нем».

«О чем ты думаешь, — сердится Эрнст, — если не секрет, конечно?»

«О Зарине», — отвечаю.

«О какой еще Зарине?»

«Я же рассказывал тебе о ней».

Ничего я ему не рассказывал, просто мне захотелось вдруг произнести ее имя.

«Не морочь мне голову!»

«Да, прости, перепутал — это я Алану рассказывал».

«Самому себе, что ли?»

«Самому себе, — соглашаюсь покорно. — Так что же там было, на техсовете? А и В сидели на трубе?»

«Может, в другой раз поговорим?» — обижается он.

«Все, — говорю, — пошутили, и хватит. Рассказывай».

«Ну, так вот, — начинает он, — цирк это был, а не техсовет. Я речь написал, эскизы начертил, вооружился до зубов, можно сказать, насмерть биться приготовился, но слово вдруг дали не мне, а З. В. Фантастика! Он встал и потребовал у меня эскизы. Я рыпнулся, конечно: «Простите, но вы ведь против этой конструкции! Как же вы собираетесь ее представлять?» З. В. усмехнулся кривенько так, взял эскизы и говорит: «Да, я действительно был против вначале, но, разобравшись, признал и готов сражаться за нее хоть на кинжалах». Каков, а? И пошел, и пошел, до-

ложил так, как мне и во сне бы не приснилось. Ну, что ты на это скажешь?»

«Ничего, — отвечаю. — Непростой он человек, З. В.». **ПРОСТЫЕ ЛЮДИ НАЧАЛЬНИКАМИ НЕ СТАНОВЯТСЯ.**

«Потом выступил Васюрин. Сказал, естественно, что они у себя в институте давно изучают возможность использования взрывных свойств реагентов А и В и что в свое время он информировал об этом З. В., и благодарен ему за полное понимание вопроса и деловой подход к проблеме. Вот и пойми тут, сам по себе выступил З. В. или успел сговориться с Васюриным?»

«А что дальше?»

«Это будем решать в понедельник. В твоём присутствии, надеюсь... Да, и вот еще что! Вернувшись с техсовета в отдел, З. В. объявил, что уходит в отпуск. Профсоюзный, оплачиваемый, но совершенно неожиданный для всех. И кого ты думаешь он оставил за себя, кого наделил властью?»

В отделе четыре ведущих конструктора, и, уезжая в командировки или уходя в отпуск, З. В. назначает своим заместителем то одного, то другого, то третьего — все в строгой очередности, — но никогда — Эрнста. Поэтому я и говорю:

«Тебя».

«Точно! Ну можно ли понять его?!»

«Нельзя, — улыбаюсь, — потому что он непрост».

«Опять ты за свое, — ворчит Эрнст. — Давай кончать, у меня уже ухо вспотело».

«Давай», — соглашаюсь.

«Какой у тебя номер, кстати? — спрашивает он. — Надо записать».

«Не знаю», — говорю растерянно.

«С тобой не соскучишься!»

Вижу записку на столе.

«Подожди-ка! Ага, вот он, есть, слушаешь? 4-00-90».

«Ну, бывай», — прощается Эрнст.

«Бывай и ты», — отвечаю.

Кладу трубку, сажусь и думаю вдруг тепло и расслабленно о З. В., о том, что он ровесник моего отца, что они вместе начали тот бег во времени, который зовется жизнью, и кажется мне, что я помню их старт, вижу их, рванувшихся за победой, и понимаю, что это

ЗАИМСТВОВАННАЯ ПАМЯТЬ,

и понимаю, что ничего этого нет, все в прошлом происходит, в прошлом.

Я с полковником прощаюсь, держу его руку в своей, не хочу расставаться — никогда ведь не увидимся больше, никогда в жизни.

Я один в ночном парке стою.

Слышу — дятел где-то, дятел стучит.

Вскакиваю с постели, словно подброшенный, а шторы оконные сдвинуты, в комнате полутьма — день наступил или только светает? — и циферблат будильника поблескивает тускло, но стрелок не различить, лишь постук слышится — тик-так — свидетельство безысходной борьбы механизма с вечностью. В пижаме, как был, босиком шлепаю к двери — во сне или наяву? — открываю: у порога стоит мать. Обнимаю ее, радостный, целую, но она отстраняется вдруг и смотрит на меня пристально:

— Пил? — спрашивает.

— Нет, — удивляюсь со всей возможной искренностью, — с чего ты взяла?

— Врать-то не умеешь, глаза тебя выдают.

Обижаюсь, упорствую:

— Ты же знаешь, что я не пью!

Беру у нее сумку и пачусь, стараясь отдалиться, но не в комнату направляюсь, где постель не убрана, а на кухню. Мать идет следом за мной.

— Знаю одно, а вижу другое, — вздыхает. — А врать ты и в детстве не умел. Стоило глянуть тебе в глаза, и все становилось понятно.

— Ничего, — обещаю, — я темные очки куплю.

— Не помогут, — улыбается она.

Снимает пальто и серый пуховый платок, и я принимаю их, эти вещи, уже много лет знакомые мне, а мать поправляет руками волосы и говорит, жалуясь:

— Лезут. Ничего почти не осталось. Все хочу постричься, но никак не соберусь.

— Нет, — прошу, — не надо!

Пытаюсь представить ее стриженной, силой воображения разрушить

ОБРАЗ МАТЕРИ,

привычный с детства, менявшийся исподволь вместе со мной самым и потому неизменный, пытаюсь разглядеть в

ней черты наступающей старости, увидеть, как нечто отдельное, тонкие, седые, выющиеся волосы ее, стянутые в жиденький узелок на затылке, различить следы той гребенки, которой причесывает время, пытаюсь, но не могу, и не мог никогда, и не смогу, наверное.

— Конечно, — улыбается она, — ты хочешь, чтобы я совсем облысела.

— Нет! — восклицаю я, сынишка тридцатилетний, лезу к ней с нежностями, как в детстве, и она отбивается, не купаясь на затрещины, и ворчит, сердясь притворно:

— Отстань! Пьяница несчастный!

Ухожу, стелая, уношу пальто и платок и слышу вздох ее:

— Господи, когда же ты повзрослеешь?

— О ком речь? — смеюсь. — Обо мне или о всевышнем?

Вешаю пальто на крюк, рядом платок пристраиваю, но в кухню уже не возвращаюсь. Иду в комнату, собираю наскоро постель, раздвигаю шторы, смотрю на будильник — четверть одиннадцатого. Я только что встал, а мать уже успела приготовить завтрак, накормить немалую свою семью — шесть человек, если считать жену Чермена и двух его сыновей, — дожидаться автобуса, сесть в него, приехать в город, достучаться до меня, и вот уже спичкой чиркает, газ зажигает, седьмого кормить собирается. В сумке у нее, знаю, курица вареная, яйца, пироги, фасоль, и сейчас она подогреет, поджарит и — кушать подано! — позовет меня, и я жду, радуясь уже не только встрече с ней, но и тому, что мне не придется идти в магазин, стоять у плиты, мыть посуду и так далее, и, поняв это и чувствуя себя виноватым, спрашиваю, кричу из комнаты в кухню:

— Ты долго стучала?

— Нет, — отвечает мать, — только стукнула, и ты открыл.

Значит, все это произошло мгновенно — я и в лесу побывал с Черменом, и у отца в больнице, и двое в белых халатах прошли мимо меня: «Ампутация», и голоса мальчишеские: «Твоему отцу хотят отрезать ногу», — все слилось воедино и раскрутилось снова, и, подгоняемый ужасом, я взобрался на дикую грушу, уселся на ветку, как филин, и, вперившись в пространство, попытался осмыслить происходящее, но не сумел, и бессилие мое вылилось в обиду на мать, на Чермена, которые знали обо всем, но

помалкивали, словно боясь чего-то, и, потеряв в них веру и решив действовать самостоятельно, я разработал блестящий план и осуществил его, не слезая с дерева, вызволил отца и покарал двоих в белом, чтобы им не хотелось впредь отрезать людям ноги. Но, пережив миг восторга и поостыв, я снова увидел отца на больничной койке, услышал неживое слово «ампутация» и, устыдившись бездействия своего, торопливо спустился с груши, бросился к Чермену и спросил хмуро и требовательно: «Что будем делать?», и он ответил спокойно: «Ничего. Все обойдется», однако спокойствие его происходило не от уверенности, как и план мой замечательный, и, уловив их сходство, я понял, что существуют некие силы, перед лицом которых взрослые и дети одинаково малы и беспомощны, и удивился тому, что сравнившись со мной, отец, мать и Чермен не обесценились в моих глазах, и даже наоборот, стали ближе и роднее — это новое чувство открылось во мне:

ЖАЛОСТЬ.

— Алан, — зовет мать, — иди завтракать.

Ей приятна сама возможность произнести вслух мое имя.

— Иду, — откликаюсь, — только умоюсь сначала.

Усаживаюсь за стол, и она садится, но не рядом, а в сторонке, у окна, сидит и смотрит на меня, ждет.

— Один не буду, — говорю, — ты же знаешь.

— Ешь! — сердится она. — Я позавтракала дома.

— Во сколько? — интересуюсь. — В шесть или в семь?

— Да уж не в одиннадцать, как ты.

— А не кажется ли вам, мама, — улыбаюсь, — что вы просто жадничаете? Стараетесь, чтобы сыночку побольше осталось. И на завтра, и на послезавтра, и на послепосле...

— Не болтай глупостей!

— Садись, — прошу, — не так уж часто нам приходится завтракать вместе.

— И в кого ты такой настырный? — вздыхает она, довольная, и подвигается к столу, а я, вскочив, тарелку перед ней ставлю, вилку — по левую руку, нож — по правую, салфеточку ей на шею повязать пытаюсь, и снова она отбивается, смеясь, отталкивает меня: — Нет, ты никогда не повзрослеешь.

А МОЖЕТ, ЭТО И НЕ ТАК УЖ ПЛОХО?

— Расскажи, — пристаю, — как живете? Как отец, Чермен, Таймураз?

— Если бы ты хотел это знать, — отвечает она, — почаще приезжал бы, — вздыхает: — Я и не помню уже, когда ты последний раз был дома.

— Дела, — каюсь, — закрутился совсем.

Да, конечно, я так занят, сыночек блудный, что не вырваться мне — до села ведь целый час езды! — вот и не соберусь никак, все откладываю со дня на день, все откладываю.

— Что ты делаешь?! — пугается мать. — Разве можно пить такой крепкий чай?

— Привычка, — развожу руками.

— Отлей сейчас же! Разбавь!

— Слушаюсь, — руки по швам вытягиваю, — повинуюсь.

— И не пей такой горячий, дай ему остыть хоть немного.

Так было и в прошлый ее приезд, и в позапрошлый, все повторяется, возвращаясь, и начинается вновь с исходной точки, и в том, прожитом времени, знаю, она встанет сейчас, возьмет тряпку, веник, наберет воды в ведро и, пока я чай пью, наведет порядок в комнате — вытрет пыль, пол подметет, занавески поправит, и темноватая комната моя станет опрятнее, уютнее и даже светлее вроде бы, и я удивлюсь, войдя, а мать кивнет неопределенно, то ли меня укоряя за неряшливость, то ли сама довольная свершенным, и — тряпка, веник, ведро, все при ней — отправится на кухню, чтобы посуду вымыть, пол подмести и там, и в коридоре, и так далее, и снова, как в прошлый раз и в позапрошлый, она встает и улыбается виновато:

— Ох, ноги не ходят.

Пытаюсь, как всегда, остановить ее:

— Посиди, — говорю, — отдохни, — но она только рукой машет в ответ, и я умолкаю, догадываясь еще раз, что мать не просто долг свой исполняет, что ей приятно хозяйничать в сыновнем доме.

Квартиру я получил три года назад, а четыре с половиной до этого шлялся по частным, комнаты и комнатки снимал и в развалюхах дореволюционных, и в домиках покрепче, и в новых домах, жил и в центре, и на окраинах — куда только не заносило меня в поисках того, что зовется крышей над головой! — и, осев в очередном своем обита-

лице, я не знал, как долго продлится моя оседлость, вернее, привал, остановка, и уже привык к частой смене и постоянно находился в положении стартующего, но сигнал хозяйский — прошу освободить! — каждый раз заставлял меня врасплох, поражая неожиданностью, удивительным свойством раздаваться в самый неподходящий для этого момент, если, конечно, бывают моменты, удобные для подобных стартов. Однажды без всякого предупреждения меня продали вместе с частным домовладением, вкуче с сараем, сарайчиком, садом и палисадничком какому-то важному и упитанному лицу, которое, не пожелав воспользоваться правом на случайно приобретенную живность, выдало мне вольную в такой категорической форме, что я вынужден был в тот же час собрать свои манатки и свезти их на вокзал, сдать в камеру хранения.

Вокзал, или станция, как называют его горожане старшего поколения, не раз выручал меня в те самые роковые моменты, когда, лишившись пресловутой крыши над головой, я оказывался на улице. Но вокзал как пристанище годился только на ночь, на две, не больше, а потом ко мне начинали присматриваться милиционеры, и, поскольку я не походил ни на обычного пассажира, ждущего поезда, ни на вора, пасущего чемоданы, ни на профессионального бродягу или бунтующего супруга, рванувшегося из брачных уз, и не укладывался, таким образом, в привычные схемы, они, милиционеры, относились ко мне с некоторым предубеждением; и с молодыми еще можно было как-то договориться, но старые служаки, бдительные и неподкупные, без лишних слов выпроваживали меня в ночь и в хлад:

ВОКЗАЛ — ЭТО НЕ НОЧЛЕЖКА.

Разбуженный бесцеремонно и поднятый с деревянной лавки, я шел, зевая и спотыкаясь, по темной улице, но не по тротуару почему-то, а по трамвайным путям, шагал, помахивая портфельчиком, в котором покоились, сложенные аккуратно, зубная щетка, паста, мыло, полотенце и электробритва «ЭРА», шел, насвистывая что-нибудь бодренькое, и сон понемногу рассеивался, и не вялый уже, а подтянутый и строгий, я входил в зал междугороднего переговорного пункта, немногочисленный в это время, и заказывал Москву, справочную кинотеатра «Мечта» (114-85-77, если понадобится), где в полночь и за полночь тем более ни служащих, ни друзей их и родственников быть не могло, и вскоре телефонистка подтверждала это:

«Ваш телефон не отвечает».

«Поторопитесь, пожалуйста, — просил я, усаживаясь поудобнее, — я подожду».

Конечно, в зале переговорного пункта нельзя было улечься, как хочется, хоть знаменитость городская по кличке Канфет, дурачок, не такой, впрочем, глупый, как могло показаться на первый взгляд, преспокойно укладывался, подмяв щекой жесткую, как сапожная щетка, бакенбарду, и спал себе, посапывая в свое удовольствие, на сдвинутых в ряд стульях. Иногда его будили, забавляясь, молоденькие милиционеры, заходившие среди ночи погреться и поболтать с девчонками-телефонистками, и, склонившись над ним, спящим, над верхней его бакенбардой, они, словно ангелы небесные, звали вкрадчиво и нежно:

«Господин Канфет, а, господин Канфет!»

Проснувшись, он с задумчивой медлительностью открывал глаза, смотрел некоторое время, как бы не веря себе и надеясь на чудо, но так и не дождавшись его и узнавая понемногу знакомые предметы и лица, и видя вместо райских куш казенные стены переговорного пункта, а вместо сияющих нимбов милицейские фуражки, раздражался и, не поднимая головы, страшно кричал, проклиная обидчиков своих и саму жизнь, и милиционеры — двое или трое — с притворным испугом разбегались, прятались в пустых кабинах и, отсидевшись, выглядывали робко, выходили и кланялись издали, просили прощения:

«Извините за беспокойство, господин Канфет».

Яростно плюнув в их сторону, он закрывал глаза и через секунду спал уже, посапывая безмятежно, а милиционеры, болтая с телефонистками, то и дело с интересом поглядывали на меня, и я догадывался, о чем идет речь, и знал, что рано или поздно они займутся мной — от избытка ли жизненных сил или от веселого нрава? — и вот наконец это случилось, и один из них, красавец, направился ко мне пружинистой походкой и, козырнув небрежно, потребовал документы. Знаки внимания подобного рода мне не раз оказывали на вокзале, и, приученный к ним, я без лишних слов протянул ему паспорт, раскрыв который, он глянул на фотографию, потом на меня, сличая, так посмотрел, словно пытался увидеть затаившегося во мне злодея-рецидивиста, вооруженного холодным, огнестрельным, химическим и бактериологическим оружием, и ждал при этом, что, не выдержав его взгляда, я слезливо рас-

каюсь во всем и сложу к его мужественным ногам весь свой арсенал. Однако признаваться мне было не в чем, документы я содержал в порядке, а правомочность моего присутствия здесь подтверждалась квитанцией на заказанный и даже оплаченный заранее междугородный разговор. Обманутый в лучших своих ожиданиях, милиционер нехотя вернул мне паспорт, но, продолжая играть роль ясновидца, сказал, словно к допросу приступая:

«Говорят, твой телефон никогда не отвечает», — сказал и снова уставился на меня.

«Не хочет снимать трубку», — ответил я.

«Кто?» — насторожился он.

«Мечта».

«Какая еще мечта?» — подобрался он, будто к прыжку готовясь.

«Обыкновенная», — пожал я плечами.

«А-а,—возликовал он, докопавшись до сути: — Баба?!»

Я кивнул неопределенно, а Канфет открыл вдруг глаза и вякнул презрительно:

«Чокнутый, что ли?»

Все засмеялись, а Канфет снова открыл глаза и добавил, уточняя:

«Лягавого имею в виду».

Тут уж все чуть ли на пол не попадали со смеху, и телефонистки, и милиционеры — симпатичные в общем люди, — и даже сам Канфет, личность серьезная и строгая, позволил себе скривить губы в брезгливой усмешке...

Спокойная или тревожная, ночь между тем кончалась, на переговорном пункте начинали появляться первые абоненты, и я поднимался, потягиваясь, подходил к окошку, сдавал квитанцию и получал внесенную сумму.

«Ничего, — утешал я телефонисток, — я еще с работы позвоню».

«Мечте?» — улыбались они, глядя на меня с любопытством, и я кивал грустно, пришелец из другого мира, в котором наяву, а не в кино и не в книгах, случается неразделенная, но верная, единственная на всю жизнь

РОМАНТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ.

«Приходите, — звали они, — мы дозвонимся».

Им не терпелось подслушать — о чем же он будет говорить с НЕЙ!

«Приду, — обещал я совершенно искренне, — скоро увидимся».

Выйдя на улицу, я шел по тихому, не проснувшемуся еще городу, завтракал в гарнизонной столовой, открывавшейся раньше других, садился в трамвай и ехал на работу, но не косьми являлся, как полагалось мне, а к половине седьмого, и, предъявив пропуск (в развернутом виде) заспанному бойцу ВОХР, шагал прямо в белокафельный наш, чистенький туалет, умывался, брился, отряхивался, прихорашивался и, доведя себя до товарного вида, поднимался на третий этаж, шел в отдел, садился на свое место, клал перед собой какой-нибудь эскизик и подремывал в ожидании сослуживцев. Без четверти восемь, точный, как само время, в отдел являлся З. В., и, заслышав его шаги еще издали, из коридора, я брал карандаш, склонялся над листом, сосредоточенно чертил что-то замысловатое и выглядел при этом настолько глупо, наверное, что вполне мог сойти за гения. Поздоровавшись, З. В. проходил к своему столу, раскрывал папку и, перебирая бумаги, спрашивал, чтобы не молчать:

«Решили поработать с утра пораньше?»

«Да, — отвечал я, — люблю поразмыслить в одиночестве».

«Ну что же, — кивал он, — не буду вас отвлекать».

«Я бы и по ночам приходил, — заикнулся я как-то раз, решил прозондировать почву, — с удовольствием бы поработал ночью».

«Вы же знаете, — напомнил он, — у нас режим. С десяти вечера до шести утра в отделе можно находиться только по специальному разрешению директора».

«Если бы вы походатайствовали, — сказал я без всякой надежды, — директор бы не отказал».

«Не вижу в этом нужды, — ответил З. В. и добавил двусмысленно: — Вы и без того достаточно творите».

Начинался рабочий день, я становился к кульману, двигал рейшину, чертил, создавая новые и даже новейшие конструкции, участвовал в научно-технической революции, в преобразовании мира, если выражаться высоким штилем, и это было одно мое Я, гордое и свободомыслящее, а другое, неприкаянное, шлялось вечером после работы по окраанным улочкам — домик налево, домик направо: «У вас не сдается комната? Комната не сдается?» — и, таким образом, во мне наметилось и произошло

СОЦИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ,

но, как ни странно, дело обошлось без бунта, и оба моих

Я жили в мире и согласии, потому, наверное, что помнили о светлой комнате в Черменовой пристройке, той самой, куда они всегда могли вернуться, слившись воедино.

Я заходил в подъезды новых, многоэтажных домов, поднимался по лестницам, звонил в чужие квартиры, стучал, спрашивал заискивающе: «У вас не сдается комната?» и слышал в ответ: «Не сдается», «Нет», «Нет», и в лучшем случае: «Зайдите на той неделе, поговорим», и хождение мое, слепое, наобум, длилось допоздна, и хозяева, отвлеченные от телехоккея или телесериала, торопились отделаться от меня, захлопнуть дверь и вернуться к экрану, к привычным страстям, и завершив поиск, но не падая духом — ах, комнатка моя светлая! — я ужинал в гарнизонной столовой, которая закрывалась позже всех, и отправлялся на вокзал, замыкая круг.

Как-то раз, но не на вокзале, естественно, а на переговорном пункте уже, Канфет открыл глаза и, глядя в пространство, вякнул отрывисто:

«Выйдем».

Я двинулся следом за ним, вышел на улицу, свернул в подворотню. Остановившись, Канфет спросил:

«Квартиру надо?»

Удивившись его прозорливости, я кивнул машинально.

«Тетю Пашу знаешь, тетю Пашу?» — спросил он полупшепотом.

«Нет», — ответил я.

«Маклерша, — сообщил он. — Знает, кто квартиры сдает».

Канфет выжидающе смотрел на меня, я смотрел на него.

«Дай рубль, — потребовал он, — тетин адрес скажу».

Я вручил ему рубль, Канфет аккуратно сложил его пополам, и еще пополам, и еще раз, и так далее, пока дензнак не превратился в маленький тугой комок. Спрятав его куда-то за спину, в потайной карман, наверное, Канфет глянул по сторонам, быстренько проговорил адрес и, отшатнувшись от меня, как от чумного, пошагал обратно, побежал почти, торопясь занять свое место, сдвинутые в ряд стулья, и, оглянувшись на ходу, вякнул коротко:

«С тобой не знакомы».

БИЗНЕС ЕСТЬ БИЗНЕС.

На следующий день, без особых надежд, из любопытства скорее, я отправился по указанному адресу, отыскал на окраине дворик и покосившийся дом в глубине его, и, как ни

странно, саму тетю Пашу, обитавшую в нем, крепкую, высокую старуху с орлиным носом, с черными горящими глазами, в темном платке, повязанном по-осетински вроде бы, но как бы в насмешку сдвинутом чуть набекрень, на залихватский этакий, пиратский манер.

«Чего тебе?» — спросила она с явственным и даже грубоватым акцентом.

Я заговорил было с ней по-осетински, но она ухмыльнулась как-то оскорбительно, замотала головой, отчего платок ее сбился набок еще больше, и проговорила со вкусом:

«Наша ваша не понимай».

«Разве вы не осетинка?» — удивился я.

«Русская, — произнесла она с торжеством и показала длинные желтые зубы: — Так-то, милок».

В тоне ее слышалось пренебрежение, и я собрался было высказать тете Паше свое мнение об этом и о ней самой, но передумал, поняв, что разом ее не перевоспитаешь, а с надеждой на квартиру придется попрощаться, и, взвесив в уме то и другое, решил пойти на

КОМПРОМИСС,

то есть сделать вид, что не слышу того, что слышу.

«Хочу комнату снять», — промолвил я чуть ли не задушевно.

«А я тут при чем?» — поинтересовалась она.

«Меня к вам послали», — объяснил я.

«Кто?»

«Канфет».

«Нашел, кому верить, — засмеялась, закашлялась она, — он же дурак, чокнутый!»

«Простите», — сказал я, повернулся и пошел к воротам, ярясь запоздало и ругая себя за чрезмерную гибкость.

«Стой! — крикнула вдруг тетя Паша. — Иди сюда!»

Я вернулся.

«Значит, так, — сказала она уже другим, деловым тоном, — придешь послезавтра. Говорят, освобождается тут одна комната. Разузнаю».

«Приду, — обрадовался я. — Спасибо! До свидания», — откланялся я и заторопился к воротам.

«Стой! — снова крикнула она, и снова я вернулся. — С тебя пятерка, — сказала она и ухмыльнулась: — Знаю я вашего брата, хрен чего выколотишь с вас потом!»

Через два дня она дала мне адресок, и я снял по сходной

цене вполне приличную комнатку и благополучно прожил в ней до возвращения из армии хозяйского сына. Предупрежденный заранее, я сразу же отправился к тете Паше, внес пятерку и без лишних хлопот, минуя вокзал и переговорный пункт, перебрался на другую квартиру. Мне и потом приходилось обращаться к ней, и со временем я привык к странноватой манере ее держаться и говорить, и единственное, что поражало меня по-прежнему — это осетинский акцент ее при незнании языка и то, что она, русская, была так похожа на осетинку. Поразмыслив, я решил, что тетя Паша как особь видоизменилась под влиянием

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
решил и успокоился на том.

Через четыре с половиной года, если вести отсчет от начала моей трудовой деятельности, или через 576 дней, если вести его от знакомства с тетей Пашей, я обрел наконец собственную крышу над головой. Правда, крышей в буквальном смысле этого слова она не была, поскольку служила еще и полом для шумной семейки, жившей надо мной, но тем не менее являлась верхней плоскостью железобетонного параллелепипеда, означенного в порядке как однокомнатная квартира 17,8 кв. м. — кухня — 4,8 кв. м. — санузел совмещенный, встроенных шкафов и подсобных помещений не имеется, и, таким образом, если не полностью, то хотя бы частично соответствовала своему назначению.

При распределении квартир, выделенных для отдела, а оно происходило гласно, на общем собрании, от этих 17,8 кв. м. категорически отказались трое, стоявшие в списке нуждающихся до меня — первый этаж, окна на север, а планировка такая, будто проектировщики только что выучились проводить прямые линии и только их и чертили на радостях — одна, вторая, третья, четвертая, две поперек, и дело сделано; отказались эти трое еще и потому, что были женаты, имели детей, и однокомнатная квартира, естественно, не могла удовлетворить их растущих потребностей. Призадумавшись чуть, наш профорг, минуя меня, предложил ее следующему по списку, но и тот отказался, и следующий за ним тоже, и объяснить это можно было еще одной причиной: согласившись на малое, они бы признали

тем самым, что потребности их удовлетворены и долго еще — кто знает сколько? — не могли бы претендовать на большее. Растерявшись несколько, профорг вопросительно взглянул на З. В., тот недовольно посмотрел на него, и, пока они играли в гляделки, с места поднялся Эрнст, протер очки и произнес сердито:

«А почему, собственно, вы маневрируете, вместо того чтобы читать список подряд?»

«Разве я кого-нибудь пропустил? — забеспокоился было профорг, но тут же улыбнулся облегченно: — Ты Алана, что ли, имеешь в виду?»

«Да, — хмуро подтвердил Эрнст, — Алана Бесагуровича».

Зал оживился в предвкушении скандала, но затих тут же: в президиуме поднялся З. В., а Эрнст не сел еще и, судя по всему, не собирался садиться, и они стояли молча, будто примериваясь друг к другу — грудь в грудь, очки в очки, — и, дотянув паузу до возможного предела, З. В. начал наконец, заговорил подчеркнуто вежливым тоном:

«Вопрос, поставленный вами, носит явно провокационный характер, но я все же отвечу на него, — сказал и, выдержав еще одну паузу, продолжил: — Вы прекрасно знаете, Эрнст Урузмагович, что в первую очередь мы стараемся обеспечить жилплощадью наших семейных сотрудников. Это уже стало правилом и никогда ни в ком не вызывало сомнений. Если такой ответ вас не удовлетворяет, могу добавить еще, что в будущем году будет завершено строительство общежития для одиночек, и ваш вопрос, таким образом, будет снят с повестки дня».

Примерив к себе этот замечательный ярлык — о д и н о ч к а, я сморщился, словно от боли, и мне захотелось провалиться, или вознестись, или встать тихонечко и незаметно покинуть собрание.

«Правила без исключений хороши только для бюрократов, — сказал Эрнст, — для чинуш и держиморд. — Зал хихикнул понимающе. — Мы же в данном случае говорим не просто об одиночке, как изволил выразиться Заурбек Васильевич, а об одном из лучших наших конструкторов, если не о самом лучшем, то есть о работнике, имеющем право на исключительное к себе отношение».

Получалось, что мне как таковому, фамилия-имя-отчество, крыша над головой не полагалась, и, прямо или кос-

венно соглашаясь в этом с З. В., Эрнст требовал ее не для меня целиком, а только для той моей части, которая лучше других его знакомых умела вычерчивать различные механизмы-установки-аппараты.

«Мое мнение вам известно, — сказал З. В., которому не хотелось прослыть ни чинушей, ни держимордой, — а остальное пусть решает собрание. Но прошу помнить, что мы можем только предложить, а окончательное, конкретное решение будет принято на совместном заседании дирекции и профкома».

«Итак, — провозгласил профорг, — кто за предложение Эрнста Урузмаговича — прошу голосовать».

Покосившись по сторонам, я увидел, что за Эрнста, или, вернее, за меня, или, еще вернее, за одно из моих Я, голосует большинство, и удивился безразличию своему и равнодушию.

«Кто против? — спросил профорг и, глянув на З. В., тоже поднял руку. Решив смягчить свой жест, он улыбнулся: — А ты, Алан, за или против?»

«Воздерживаюсь, — буркнул я затравленно, — что мне еще остается?»

Произведя несложные арифметические действия, он объявил:

«Большинством голосов проходит предложение Эрнста Урузмаговича! — и, желая потрафить З. В., добавил весело: — Наше дело предложить, а их дело, — он поднял палец вверх, хоть и дирекция и профком размещались внизу, под нами, — а их дело отказать!»

«Прошу записать в протоколе не «предложить», а х о д а т а й с т в о в а т ь , — поднялся Эрнст. — Кто за это исправление — поднимите руки».

Не надеясь, однако, что слово «ходатайствовать» может само по себе решить проблему, Эрнст на следующий же день отправился к директору — по производственному вопросу, как сам полагал и как сообщил секретарше, отправился, чтобы поговорить и настроить того на соответствующий лад.

«Знаю, слышал уже, — сказал директор, едва Эрнст произнес первую фразу. — Квартиру мне не жалко, только ты объясни сначала — он хороший парень, этот Алан?»

«Что значит — не жалко? — оскорбился Эрнст. — Речь идет не о вашей собственности, а о государственной».

«Ладно, сынок, — добродушно сказал директор, — считай, что государство — это я».

«Нет! — взбеленился Эрнст. — Государство — это мы!»

«Ну, как с тобой разговаривать? — развел руками директор. — Ты просить пришел или скандалить?»

«Я пришел сказать, — ответил Эрнст, — что предприятие может потерять хорошего конструктора. Уйдет, и поминай как звали».

«Не уйде-е-ет, — протянул директор, — я его не отпускаю».

«А все из-за чего? — продолжал Эрнст. — Из-за элементарного головоутиательства».

«Уж не мою ли голову ты имеешь в виду?» — поинтересовался директор.

«И вашу тоже», — ответил Эрнст.

«Вот и хорошо, — кивнул директор. — Если ты хочешь собачиться, то и я тебе отвечу в том же духе. Слушаешь? — спросил он и проговорил казенно: — Мы тут посоветуемся и решим ваш вопрос. А теперь иди и думай, что я тебе сказал — да или нет?»

Эрнст повернулся в сердцах и пошагал к двери.

«Подожди, — вздохнул директор. — С вами можно научиться говорить по-человечески. Железные вы какие-то, железобетонные люди. — Вздохнув еще раз, он сказал: — Можешь передать своему другу, что квартиру я ему дам. Знаешь почему? — усмехнулся. — Потому что он мне нравится».

«А если бы не нравился?»

«Не дал бы», — скромненько так и просто ответил он.

«Ну, что же, — сказал Эрнст, — с худой овцы хоть шерсти клок».

«Пошел, босяк!» — директор схватился, смеясь, за пепельницу, и Эрнст, не желая испытывать судьбу, выскочил из кабинета.

Вскоре я получил ордер, вселился и даже мебель купил, первую в своей жизни — раскладушку, два стула подешевле и кухонный столик. На большее у меня не было денег — четыре с половиной года скитаний не способствовали их накоплению, — да и не нуждался я в большем: с о б с т в е н н а я квартира казалась мне таким же временным пристанищем, как и жилье от тети Паши, и я все ждал, не пошлышится ли из какого-нибудь угла, не грянет ли зычное: «Прошу освободить!»; и посмеивался про себя — ох, вид-

но, крепенько впечаталась в блок моей памяти жутковатая эта фраза! И только позже, через год, наверное, или полтора, я понял, что однокомнатная моя — 17,8 кв. м., — или с е к ц и я, как называли в городе такого типа квартиры, подчеркивая тем самым некоторую неполноценность их автономности, так никогда и не заменит мне

РОДНОЙ ДОМ,

возле которого растет дикая груша, которой нет давно уже, как нет и меня самого в этом доме, и в то же время все это есть — не зря же мне слышатся шелест листьев, и шаги матери за стеной, и голос ее:

— Когда же ты выбросишь эту раскладушку?!

— Выброшу, — отвечаю, улыбаясь. — Все не соберусь никак.

Получив квартиру, я не сразу сообщил об этом матери, боясь показать ей убогие свои апартаменты, но обмолвился все же, проболтался невзначай, и, приехав ко мне впервые, мать замерла на пороге и вздохнула горестно, увидев стул, сиротствующий посреди комнаты, и старое одеяло, которым завешено было окно, вздохнула еще раз и сказала, улыбнувшись вдруг:

«Слава богу, хоть угол свой есть у тебя».

Через неделю она приехала с Черменом, и, пока я трудился в отделе, изобретал и конструировал во имя грядущего, они купили шкаф, деревянную кровать и тумбочку к ней, письменный стол (как же, Алан ведь у нас у м н ы й), купили кухонную мебель и утварь, привезли все это, расставили, повесили занавеси на окна и так далее и тому подобное, и теперь уже я застыл на пороге, вернувшись с работы, а мать и Чермен смотрели на меня, улыбаясь, и ждали — что я скажу?!

«Зачем вы это сделали?» — спросил я.

Они переглянулись растерянно.

«Я ведь не мальчик уже, чтобы покупать мне обновки. Какой ни есть, но я мужчина все-таки, вы хоть бы о самолюбии моем подумали».

«Алан, — смутившись чуть, но строго сказала мать, — все это куплено на твои деньги».

«Спасибо за информацию», — хмуро кивнул я.

Зарплаты моей невеликой мне и самому едва хватало — комнаты сдавались недешево, да и тетя Паша требовала своего, и даже Канфет, если вы помните, рубль с меня сор-

вал, — но ежеквартальные премии свои, 50—60 процентов от оклада, я отдавал матери, оказывая

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ,

и возвышаясь тем самым в собственных глазах.

«Знал бы, — проворчал я, — лучше выбрасывал бы их. Ты мне мать все-таки, а не копилка».

«Хватит, — оборвал меня Чермен, — не забывай, что мы постарше тебя».

«Ну и парочка, — оглядев их, усмехнулся я, — кот Базилио и лиса Алиса», — и, махнув рукой, — ну, что с вас взять? — сходил, купил шампанского, и мы справили новоселье, весело и ладно посидели втроем, поговорили, посмеялись, вспоминая прошлое, детство мое вспоминая.

Потом они купили мне холодильник, чуть позже — телевизор, и все это опять за мной и деньги, и квартира преобразилась, даже уютной стала, и только раскладушка, прогнутая немного, портила антураж; покрытая матрасом, застеленная покрывалом, она служит диваном мне, тахтой, местом праздного возлежания, у изножья ее стоит телевизор, и, улегшись вечером и устроившись поудобнее, я гляжу в голубое окошко, наблюдая мир.

Тетя Паша ушла из моей жизни навсегда, как мне казалось, но недавно я увидел ее вдруг на улице, на углу. Стоя у перевернутого вверх дном деревянного ящика, она продавала груши, и, судя по безмену, которым пользовалась, не министерство торговли представляла, а саму себя как таковую, тетю Пашу.

«Добрый день», — учтиво поздоровался я, но глянув на меня незнающими глазами, она отвернулась и крикнула отрывисто, но не слишком громко, так, чтобы ее не услышали невзначай служители правопорядка:

«Груши! Груши алагирские!»

Закончив уборку, мать достает из шкафа, выкладывает на раскладушку мои одежды, осматривает их — пальто, пиджак, рубашки, белье и так далее, — подшивает что-то, штопает, пуговицы укрепляет, швы, сидит, склонившись, иглой орудует. Я тут же, рядом, стою, прохаживаюсь, смотрю на нее и жду — слишком уж долго она молчит, значит, важное что-то хочет сказать. И вот она вкалывает

иглу в поролоновую подушечку, поднимает голову и произносит задумчиво:

— Таймураз хочет жениться.

— Таймураз?! — раскрываю рот от удивления. — На ком?

— Ты и сам бы должен это знать. Как-никак он брат твой.

— Ладно, — прошу, смутившись, — скажи.

— Она учительница, работает в нашей школе, — мать называет имя ее и фамилию и добавляет: — Городская.

— Да-а, — вздыхаю, — ну и летит же времечко.

— Летит, — соглашается она. — Чем дальше, тем быстрее...

Вижу — мы сидим за столом в нашем старом доме: отец, мать, Чермен и я, а перед нами, малолетний еретик перед святой инквизицией, стоит, опустив голову, Таймураз. Вина его состоит в том, что, не довольствуясь близким, кровным родством, он ищет отдаленного в природе. В нашем доме зимовали ужи, бегали по ночам, сопели и хрюкали ежики, орали птенцы, червей требуя, — какой только живности не навидались мы, но относились к этому терпимо, никто не ругал, не упрекал Таймураза — такая особенность у мальчика, животных любит. Однако млекопитающих, рептилий и пернатых ему показалось мало, и, продолжая поиски родства, он выкопал в лесу, привез на тележке и выгрузил в нашем саду средних размеров муравейник. Это было зимой, а когда пригрело солнышко и муравьи выглянули впервые из убежища своего, небоскреба земляного, им пришлось немало изумиться перемене ландшафта. Забеспокоившись, они принялись исследовать местность и начали вскоре захаживать в наш старый дом, чтобы закусить чем бог послал и время провести приятно.

И вот мы сидим, почесываясь, и отец говорит раздраженно:

«Чтобы завтра же их не было в доме».

Чермен, играющий, как всегда, роль адвоката, замечает скептически:

«Что он их на цепь посадит, что ли?»

Таймураз молчит угрюмо.

«Видишь, — говорю я назидательно, — папу кусают», — и, получив затрещину от Чермена, умолкаю тут же.

«Чтобы я ни одного здесь не видел!» — свирепеет отец.

Почесываясь, мы смотрим на Таймураза, ждем ответа.

«Не будет, — говорит он наконец, — ни одного не останется, — и добавляет мрачно: — Если вы отдадите мне огород».

«Что?!» — удивляется отец.

«Если огород отдадите», — повторяет Таймураз.

«Зачем он тебе?» — мягко спрашивает Чермен.

«Нужен».

«Ладно, — говорит отец, — а что мы зимой будем есть?»

«Где картошку возьмем, кукурузу, фасоль?»

«Я же не в футбол там собираюсь играть, — обижается Таймураз. — Все, что вы с огорода имели, вы получите, и даже больше. Только сажать, полоть и поливать я буду сам».

«А хоть вскопать его нам можно?» — спрашиваю я.

«Копать можно, — милостиво разрешает он. — Только под моим наблюдением».

«А муравьи?!» — яростно чешется отец.

«Они улучшают почву».

«В доме?!»

«В дом они больше не придут, — обещает Таймураз. — Если огород дадите».

«Это смахивает на шантаж», — вставляю я.

«Бери! — выходит из себя отец, сдержанный обычно и спокойный. — Все забирай!»

«Хорошо, — важно кивает Таймураз, — сегодня еще потерпите, а завтра их не будет».

На следующий день муравьи ушли из дома, а мы с интересом смотрели, как Таймураз и два его приятеля малолетних, одноклассники его Абхаз и Ольгерт, прохаживаются по огороду, размечают что-то, о чем-то бормочут деловито, и, насмотревшись на них, отец махнул рукой в отчаянии:

«Что будет, то будет. С голоду не умрем».

Троица эта, земледельцы сопливые, всю весну и все лето, все каникулы свои провели на нашем огороде, сажали, сеяли, окучивали, поливали, над каждым росточком тряслись, и мамыши их, Абхаза и Ольгерта родительницы, то и дело приходили к нам, стояли, пригорюнившись, глядели на чада свои и вздыхали сокрушенно:

«Околдовали их, что ли?»

«Чудо, да и только».

Однако настоящие чудеса были впереди. Осенью три друга-приятеля собрали урожай гораздо больший, чем мы собирали когда-либо, и разницу Таймураз разделил на три

части, все по справедливости, и свою долю он отдал нам как вознаграждение за покладистость, а две другие Абхаз и Ольгерт развезли по домам на тележке, той самой, на которой Таймураз прикатил муравейник, развезли, по несколько рейсов сделав, на радость папам своим и мамам.

Через год об огороде нашем заговорило все село, а еще через год к нам стали захаживать люди, знакомые и незнакомые, стоять подолгу, дивясь пасленовым и бобовым, и крупным, налитым кукурузным початкам. А однажды к нам пожаловал бригадир овощеводческой бригады. Убеленный сединами, ветеран войны и труда, орденоносец, он почтительно беседовал с Таймуразом, советовался и наконец попросил семена каких-то особых помидоров и особых огурцов, и мы — отец, мать, Чермен и я — сидели, едва сдерживая улыбки и все еще не зная, как относиться ко всему этому, а Таймураз, сопя сосредоточенно, сыпал семена в самодельные пакеты, клеил, надписывал их, и, уходя, ветеран, благодарный, сказал о нем:

«Большим человеком будет».

Он жил какой-то своей, обособленной жизнью, и если мой мир ограничивался пределами села, района и республики наконец, то Таймураз посредством переписки общался со множеством людей, известных и знаменитых, и те, представьте, отвечали ему, как равному, и никто в нашем селе не получал столько писем, бандеролей и посылок (пакетики с семенами, книги и руководства) от частных лиц и научных учреждений из разных концов страны и даже из-за рубежа — из Мексики, представьте, из Австралии! — и никто не отправлял столько писем и бандеролей (все те же пакетики), как этот удивительный мальчик, которого мы никак не могли научиться принимать всерьез.

И вот они стоят посреди улицы — отец, директор школы, председатель колхоза и Таймураз, только что получивший аттестат зрелости, — и желтеньким, шумливым ручейком их обтекает торопливый выводок гусят.

«Раньше осетины не разводили гусей», — говорит директор школы.

Председатель колхоза, соглашаясь, важно кивает головой.

«Потому что жили в горах», — поясняет директор.

Однако речь идет не о гусях, а о Таймуразе.

«Тут не о чем думать, — говорит директор школы, — он должен стать агрономом».

«Будем платить колхозную стипендию, — обещает председатель, — если пойдешь в сельскохозяйственный».

«Спасибо, — улыбается Таймураз. — Я еще и сам не знаю, не решил пока».

Ах, неправда это, все-то он знает, мой младший брат, он всегда все знал!

Он поступит в педагогический институт и, окончив его, вернется в село, станет преподавать ботанику и зоологию и выращивать пасленовые, бобовые и злаковые, но не в огороде нашем, а на школьном участке, на селекционной станции, вернее, и не Абхаз и Ольгерт будут помогать ему, махая тяпками, а почти все школьники от мала до велика, и вскоре на участок этот, или на станцию, начнут привозить экскурсии, и люди будут приезжать издалека, чтобы учиться, перенимать опыт и так далее и тому подобное — вот вам и муравейник! — и я спрошу однажды Таймураза:

«Почему ты не стал агрономом?»

«Люблю детей, — ответит он, смеясь, — люблю свободу».

Агрономом станет Абхаз, а Ольгерт займет должность главного механика на консервном комбинате, ту самую, на которую прочили когда-то меня.

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ.

— Да, — повторяет мать, — собирается жениться.

Познав тайны растениеводства, он хочет взяться теперь за наше

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО-ДЕРЕВО,

привить к нему новую ветвь.

— Он-то хочет, — говорит мать, — а отец не разрешает.

— Почему? — удивляюсь.

— Ты же знаешь наши обычаи. Сначала должен жениться старший брат.

— То есть я? — улыбаюсь смущенно.

— Да, — вздыхает мать, — Чермен ведь давно женат, если ты помнишь, конечно.

— С каких это пор отец начал так ревностно соблюдать обычаи? — спрашиваю.

— Тут что-то другое, — отвечает она. — Я и сама не пойму.

— Что же все-таки?

— Приезжай, поговори с отцом. — Она снова вздыхает: — Ты все тянешь, ждешь чего-то, но разве Таймураз в этом виноват?

Молчу, задумавшись, не знаю, что ответить.

— Приеду, — обещаю, — уговорю отца... А девушка-то хорошая?

— Плохую Таймураз не выбрал бы, — улыбается мать.

Проводив ее на автобусную станцию и проводив взглядом отъезжающий автобус, я возвращаюсь домой и, едва открыв дверь, слышу телефонный звонок. Подбегаю к аппарату, поднимаю трубку.

— Алан?

— Да.

— Добрый вечер.

— Здравствуйте, — отвечаю, не поняв еще, с кем говорю.

— Это Фируза, — слышу, — Фируза Георгиевна.

— А-а, здравствуйте! — повторяю, обрадовавшись вдруг.

— Простите, что беспокою вас, — слышу, — но у меня к вам есть просьба.

Ну да, конечно, Зарина уже рассказала ей о нашем разговоре, и она сейчас попросит меня не звонить им больше.

— Да, — говорю, — я слушаю.

— Знаете, — неуверенно начинает она, — с вами хочет встретиться один человек, — и, замаявшись и словно пересилив себя, продолжает: — Мой бывший муж, отец Зарины.

— Пожалуйста, — говорю. — Когда?

— Завтра, если можно.

— Но я весь день буду на работе.

— Он тоже, — слышу в ответ. — Вы во сколько кончаете?

— В пять.

— Он так и предполагал. После пяти он будет ждать вас на трамвайной остановке возле вашей работы.

— Но он же меня не знает, — удивляюсь. — Как же мы встретимся в час пик, в толчее?

— Я ему описала вас.

Интересно было бы познакомиться с этим описанием.

Зачем ему понадобилось встречаться со мной? — хочу спросить, но не решаюсь почему-то, медлю, и, попрощавшись, она кладет трубку — слышу вместо ответа короткие гудки.

Когда З. В. уходит в отпуск, в отделе забраживает веселый, вольный дух свободы, начинается долгое празднество, или

ФИЕСТА,

если пользоваться терминологией наших краснобаев.

Явившись в 8.00, постояв у кульмана для приличия — полчаса, минут сорок, не больше — и, начав испытывать никотиновое голодание, которое, естественно, требует удовлетворения, друзья мои, коллеги откладывают карандаши и циркули и, сокрушенно вздыхая — ах, не работается что-то! — выходят из отдела, сворачивают налево, на лестницу, но не центральную, а боковую, по которой редко кто ходит, и это как цепная реакция — стоит тронуться одному, как следом тянется второй, третий, а вот уже и клич бравый слышится: «Штыки в землю!», и, собравшись на лестничном пролете, ведущем вверх, на чердак, где только паутина прошлогодняя и прошлогодние ласточкины гнезда, если вы помните, конструкторы, жрецы технократии, усаживаются на ступеньки, достают сигареты, и начинается азартный треп, хоккейно-телевизионный — Орт, Халл, Петров, Михайлов; телевизионно-футбольный — Пеле, Круиф, Блохин, Гуцаев; рассказываются истории из жизни, как доисторической, так и современной, но обязательно занятные и поучительные, и, накурившись, наслушавшись и наговорившись до одури, одни встают и возвращаются к работе, а другие приходят им на смену, курящие и некурящие, занимают освободившиеся места, а если их не хватает, стоят, опершись на перила, и слушают, и заводят новые разговоры, хоккейно-теле-футбольные и прочие, и так до обеденного перерыва, и так до 17.00.

З. В., когда он на месте, обрывает словесность эту изящную довольно простым, но весьма эффективным приемом. Остановившись за дверью, ведущей на лестничную клетку, он прислушивается — но не подслушивает, нет, ни в коем случае! — и, определив по голосу и манере повествования рассказчика, выходит из укрытия и, обращаясь именно к нему, велеречивому, произносит озабоченно: «Вы мне нужны, пройдемте, пожалуйста, в отдел», и тот встает и, разведя руками — ничего не поделаешь! — покидает слушателей своих и плетется следом за начальником к собственному кульману, к чертежам: «Покажите-ка, что у вас сделано на сегодняшний день, имя-отчество», и пока он объясняет и показывает, там, на лестничном про-

лете или в клубе, как называют его те же краснобаи, происходит процесс разложения и распада общества, лишившегося головы, и делаются натужные попытки сплотить его заново, но тщетно — поток красноречия замутился уже, иссяк, и, поняв это и разочаровавшись друг в друге, недавние сообщники бросают окурки в урну и возвращаются на рабочие места.

Однако прием этот, действенный, безусловно, требовал от исполнителя постоянного напряжения и выдержки, а пользоваться им приходилось довольно часто, и, утомившись в конце концов, З. В. решил одним, но сокрушающим ударом покончить с клубом раз и навсегда.

«Курение на лестничной площадке является грубым нарушением пожарной безопасности, — заявил он на собрании. — В связи с этим дверь на лестницу будет закрыта. Таково решение администрации».

«А где же нам курить?» — послышался выкрик с места.

«В туалете, на втором этаже, — ответил З. В., — если это вас устраивает, конечно. А лучше всего, — улыбнулся он по-отечески, — бросайте-ка вы курить. Я уже тридцать лет как бросил, и ни одной минуты не жалел об этом».

«Дельное предложение, — поддержал я его. — Капля никотина убивает лошадь».

«Действительно, — вдохновился З. В., — давайте бросим! Всем коллективом! Покажем пример остальным!»

Дверь на лестничную клетку была закрыта, но пагубный порок искоренить не удалось. Любители никотина, пренебрегая туалетом, дымили теперь прямо в коридоре, и это тоже являлось нарушением правил пожарной безопасности, но вполне устраивало З. В. — курильщики были на виду, да и сама обстановка коридорная (хождение вечное) мало способствовала тем душевным разговорам, которые совсем еще недавно велись на лестнице. Время, уходившее на потребление зелья, сократилось, естественно, и надо было ждать резкого повышения производительности труда, и, возможно, так оно и произошло бы в конце концов, если бы не возникла из ничего, казалось бы, новая

ОПАСНОСТЬ,

непредсказуемая и непредвиденная.

Курильщиков в отделе было немало, и кто-нибудь из них обязательно торчал в коридоре. Это бросалось в глаза, и, проходя мимо, торопясь по своим делам, сотрудники

других подразделений усмехались дружелюбно, но с достаточным зарядом иронии:

«Конструкторы-то все покуривают».

«Кто бы говорил, — отвечали им небрежно. — Не забывайте, что вы кормитесь за наш счет».

В каком-то смысле это было верно, потому что именно конструкторский отдел являлся мозговым центром предприятия, но и представители второстепенных служб, отстаивая свою честь, за словом в карман не лазили:

«Хотелось бы кормиться получше», — посмеивались.

Вскоре и начальники подразделений вступили в игру и, встречая З. В., начали интересоваться, улыбаясь сочувственно:

«Твой-то все покуривают?»

И если пикировка рядовых труженников носила вполне безобидный характер, то улыбочки в верхах могли сказаться при подведении итогов соцсоревнования (раздел Производственная дисциплина), и, оценив обстановку и решив, что

ГРЕХИ СВОИ ЛУЧШЕ ДЕРЖАТЬ В ТАЙНЕ,

З. В. распорядился отпереть дверь на лестничную клетку.

Итак, клуб открыт, сегодня первый день флесты, и мы сидим на ступеньках, а над нами чердак необитаемый, и сизый дым стелется слоями, и чей-то голос знакомый слышится — уж не мой ли?! — ах, это я о стрельбище рассказываю, героизируя несколько и приукрашивая прошлое.

— Алан! — это Эрнст подошел, остановился, никем не замеченный. — Пойдем, — говорит, — ты мне нужен.

Начинается галдеж:

— Посмотрите-ка, не З. В. ли к нам пожаловал?

— Какой способный! Сразу углядел, кого из нас надо выхватить!

— Неплохо бы вас всех разогнать по местам, — говорит Эрнст. — Хоть для вида бы поработали!

— Он верит, что именно труд создал из обезьяны человека!

— Вульгарная версия!

— Идем, Алан, — зовет Эрнст, — директор вызывает.

Встаю, выхожу следом за ним в коридор, а галдеж продолжается. Они радуются свободе, коллеги мои, конструкторы, но каждый помнит при этом, что в конце месяца со-

стоит собрание, на котором будет произведен подсчет листов, а людей в отделе меньше, чем положено по штатному расписанию (таким образом З. В. экономит фонд заработной платы), и вырабатывать каждому приходится больше положенного — ах, как много придется чертить во время фиесты! — и пока это проходит, но что будет потом, когда мы станем постарше и потяжелее?

А ничего — молодые придут.

— Если я правильно понял, — говорит Эрнст, — речь пойдет об амортизационном устройстве.

Улыбаюсь, поддразнивая его:

— А и Б сидели на трубе.

— Слушай, — вскипает он, — ты можешь хотя бы притворяться серьезным?!

Входим в приемную, и я подхожу к Майе, секретарше, здороваюсь, ручку галантно целую, а Эрнст направляется прямо к двери, ведущей в директорский кабинет, к дерматиновому пузу его.

— Директор занят, — останавливает его Майя.

— Скажи ему, что мы пришли, — ворчит Эрнст.

Она заходит в кабинет и выходит тут же:

— Приказал ждать.

Усаживаемся в кресла, и Эрнст ерзает нетерпеливо, а я сижу, развалившись, и на Майю поглядываю, словно впервые: шелковистые волосы, падающие на плечи, яркое лицо, тоненький свитерок, подчеркивающий высокую грудь, белые руки, порхающие, как бабочки, над клавиатурой пишущей машинки.

(Красивые секретарши — еще одна слабость директора. Как-то я намекнул ему на это, и он, удивленно посмотрев на меня, пожал плечами:

«А ты крокодилов любишь?»)

— Майя, — говорю, — у меня есть знакомый режиссер, Стенли Кубрик, слышала, может? Хочешь, скажу ему, чтобы он снял тебя в кино?

— Спасибо, — отвечает она, постукивая на машинке. — Меня уже приглашали, но я отказалась. Связываться неохота.

— А в гарем ко мне хочешь? — спрашиваю.

— С удовольствием, — оживает она, — только не секретаршей.

Такой обычный, грубоватый немного, но невинный
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФЛИРТ.

«Майя, — говорю, а на улице осень, конец сентября, теплое, ласковое время, а мы стоим в коридоре, стоим и смотрим в окно, — хочешь, поедem в горы, в Куртавинское ущелье? Я покажу тебе дом, в котором жил мой дед, прадед и прапрадед, покажу нашу крепостную башню»...

«С удовольствием, — улыбается она и спрашивает, улыбаясь: — Когда?»

«В субботу, — предлагаю. — Тебя устраивает?»

«Суббота завтра», — сообщает она.

«Правда? — удивляюсь. — Я и не заметил, как неделя прошла».

«А где мы встретимся? — спрашивает она, продолжая игру. — Во сколько?»

«На автобусной станции, — отвечаю, — в девять».

«Ах, дотерплю ли я до завтра?! — всплескивает она руками. — Доживу ли?»

Майя пришла к нам в августе, а до этого секретаршей у директора была Венера, и с ней я держался подчеркнуто-официально, потому, наверное, что всегда робел перед красивыми женщинами, считая их существами иного, высшего порядка, и она отвечала тем же, но не в смысле робости, встречала меня холодно и неприязненно, словно подвоха ждала, что-то опасное во мне чувствовала, и это давило, сковывало меня еще больше, и, увидев на ее месте другую, я будто тяжкий груз с себя сбросил и налегке разбежался, разлетелся на радостях, представился:

«Алан. Готов любить вас и жаловать».

Она улыбнулась в ответ:

«Я подумаю о вашем предложении»...

Проснувшись в субботу, я лежу и размышляю, вспоминая вчерашнее, пытаюсь понять, всерьез мы говорили или шутя, я думаю об этом, умываясь, и думаю за завтраком — конечно, шутя! — и, когда часовая стрелка вплотную подбирается к девяти, понимаю вдруг, догадываюсь о причине своего томления:

МНЕ ХОЧЕТСЯ ВИДЕТЬ МАЙЮ.

Снаряжаюсь наскоро, выскакиваю из дома, ловлю какого-то частника, промышляющего извозом, и, удивляясь резвости своей и предчувствуя, что тороплюсь впустую, решаю по дороге, словно оправдываясь: если ее не будет, поеду один, да, убеждаю себя, в горы, в родное ущелье, о котором помню всегда, но куда все никак не могу собрать-

ся, все времени не хватает, свободного времени. Подъезжаем к воротам автостанции, а я еще из машины всматриваюсь в толпу и, захлопнув за собой дверцу, вхожу на территорию, в толчею людскую и автомобильную, прохаживаюсь, озираясь, но Майи нет, как нет, и не было, конечно, и, удрученный, я поворачиваю назад, к воротам, возвращаюсь — значит, ты не поедешь один? — и слышу вдруг за спиной знакомый голос:

«Вы опоздали на двадцать минут, кавалер».

«Прости ради бога! — каюсь. — Спасибо, что не ушла».

«На здоровье, — улыбается она, — но ждать я не привыкла».

«Ладно, — тороплю ее, — идем за билетами».

Покупаем билеты, усаживаемся, автобус трогается, и город вскоре остается позади, и, продолжая каяться, я жалуюсь ворчливо:

«Но и ты виновата в моем опоздании. Пойми попробуй, когда ты всерьез говоришь, а когда трепешься».

(То же самое сказал недавно З. В. обо мне самом.)

«А вот этому тебе придется научиться», — отвечает Майя, и в голосе ее слышится приглушенная такая, вкрадчивая властность.

Дорога идет по равнине, мы проезжаем одно село, другое, Гизель и Дзуарикау, потом начинается длинный, затяжной подъем, холмы предгорий, и начинается ущелье, крутые склоны, а на них яркие, словно пламенем объятые осенние леса и, словно фон, намалеванный ребенком, ярко-голубое небо над склонами. Вскоре показываются первые строения, и вот уже я рассказываю Майе:

«Это дзуар, святилище. Сюда мог входить только жрец, дзуарылэг»...

Рассказываю, а люди, сидящие рядом, прислушиваются ревниво, следят, чтобы я не напутал, не переврал чего-нибудь.

«А это знаменитая Дзвгисская крепость. Ее никто никогда не сумел взять, даже монголы»...

«А может, им не очень-то и хотелось?» — улыбается Майя.

«Ну да, не хотелось!» — тотчас же вступает парень, сидящий за нами, а парень, сидящий впереди, добавляет: — «Их тут знаешь сколько полегло?»

ИСТОРИЮ У НАС ЗНАЮТ ВСЕ.

А вот и село мое родовое, остатки строений, брошенных людьми. Жители его давно уже переселились на равнину, и все здесь пришло в запустение, обветшало, кровли обвалились, остались лишь полуразрушенные каменные стены, так гармонично вписывающиеся в окружающий ландшафт. Автобус останавливается, мы выходим и по узкой, едва заметной тропе идем вниз, к селу, к дому, в котором жили мои пращуры. Я был здесь в младенчестве, потом еще раз приезжал с отцом — как много воды утекло с тех пор, как обмелели реки! — но тропа эта не затерялась в памяти, и я иду уверенно,

Я УЗНАЮ СВОЙ ДОМ,

каменные стены, крепостную башню, склеп, стоящий поодаль, на возвышении... Здесь люди рождались, жили, сборолись от врагов, хоронили погибших и умерших, и вот я пришел, не знающий их, и стою перед их останками и перед останками их жилища, и та же кровь, что остановилась когда-то в их жилах, продолжает течь в моих, и я прикасаюсь ладонью к теплomu камню стены, вбираю в себя тепло, и Майя смотрит на меня и улыбается:

«Смотри не заплачь от умиления».

«Эй! — слышу негромкий голос со стороны. — Кто здесь?»

Поворачиваюсь и вижу невысокого старика в чистенькой выцветшей гимнастерке, подпоясанной офицерским ремнем, в широкополой войлочной шляпе. Он стоит и смотрит ясными голубыми глазами вроде бы на нас, а вроде бы и мимо, и лицо его спокойно, словно он и не окликнул нас и не ждет ответа.

«Добрый день», — здороваюсь, и Майя повторяет вслед за мной:

«Добрый день».

«Ищите кого-нибудь?» — спрашивает старик.

«Уже нашли, — отвечаю, — свой дом».

«Дом? — переспрашивает он. — А чей ты будешь? Как твоя фамилия?»

Я называю себя, и он качает головой:

«Нет, — говорит, — ваши жили вон там, выше, — показывает рукой, — в Далагкау».

«Да, — киваю, смутившись, — в Далагкау. А это что за село?»

«А это Барзикау, — отвечает он и говорит, улыбаясь едва заметно: — Раз уж вы попали к нам, прошу, зай-

дите ко мне хоть на минуту, чтобы люди не сказали потом, что в Барзикау не приютили заблудившихся путников».

Начинаю отпекиваться, как положено, но он поворачивается, идет, дорогу показывая, и нам не остается ничего иного, как идти за ним следом. Подходим к дому, похожему на тот, возле которого мы стояли только что, но окна, крыша — все на месте, поднимаемся на крыльцо, и в комнате — темный дощатый стол, старые венские стулья, деревянная тахта — нас встречает приветливой улыбкой сухонькая, миловидная старушка.

«Мир дому вашему, — произношу, но не казенно, а от всего сердца, — пусть только радость переступает ваш порог».

«Садитесь, пожалуйста, — приглашает нас старушка, — вы устали, наверное, отдохните».

«Прошу вас, — говорю, зная, что она сейчас затеет великую стряпню, — ничего не падо. Мы на минутку, нам нужно идти дальше».

«Не беспокойтесь, — ласково отвечает она, — все успеете».

Приносит, ставит на стол хлеб, нарезанный крупными ломтями, домашний сыр, графин с домашним пивом, сама же наливает его нам, и я вижу вдруг, как старик ищет свой стакан на ощупь, и она подвигает его к ищущей руке мужа; и догадываюсь, что старик слепой. А Майя в это время наклоняется ко мне и шепчет, кивая на стол, за которым мы сидим, на небогатое угощение:

«Как в лучших домах Филадельфии».

«Ты прости меня, девушка, — отзывается старик, — но я плохо понимаю по-русски».

Он поднимает стакан, произносит тост во славу бога, который послал ему гостей, желает нам здоровья и счастья, пьет и, выпив, говорит:

«Пусть никто не гнушается черным хлебом, а кто погнушается им, пусть до конца своих дней только его и ест».

Пью, повторяя про себя его слова, и пиво оказывается удивительно вкусным, и вкусен мягкий, молодой сыр, и я говорю об этом, а старик усмехается, насмешливо и грустно в то же время:

«Хозяйка приготовила, сыновей ждет из города, а они все не едут».

Старушки уже нет в комнате, вышла, и теперь я сам разливаю пиво по стаканам, и пока я занимаюсь этим, ста-

рик разговаривает с Майей — кто она, интересуется, кто ее родители, — и Майя отвечает, и, послушав ее, он спрашивает меня:

«Эта девушка осетинка?»

«Да, — отвечаю, — а что?»

«Как-то через силу она говорит, будто не на родном языке».

Не могу же я объяснить, что, говоря с ним, она переводит себя с русского! Как и я, впрочем, только я делаю это искуснее.

«Фамилию свою ты сказал, — помолчав, обращается он ко мне, — а как зовут твоего отца?»

«Бесагур».

«Бесагур, — повторяет старик, — знаю его. И Чермена знаю. Они каждое лето приезжают, заходят ко мне... Хорошие люди, чистые. Дай бог и тебе быть таким».

«Не получается пока», — улыбаюсь.

«А ты старайся. Человек должен быть себе хозяином».

Сидим за столом, и мне хорошо здесь, свободно и спокойно, но я понимаю, что все это из другого времени, из ушедшего, и, печалась о нем, вздыхаю:

«Жаль, что опустели горные села»...

«О чем жалеть? — без горечи отвечает старик. — Это жизнь».

Подняв стакан, он то ли тост произносит, то ли рассказывает:

«В давние времена наши предки жили на равнине. Но однажды налетел страшный смерч. Сорвал людей с земли и понес в небо. Все выше и выше, в пустоту, в холод, в смерть. Когда люди решили, что пришел конец, вдруг слышался Голос: «Цепляйтесь за горы!» Не всем удалось уцепиться, но те, что успели, остались живы»...

Интересно, думаю, что же за смерч это был? Гунны, готы, монголы?

«Да, — продолжает он, — горы спасли наш народ, и мы всегда должны это помнить. Даже на равнине»...

Вскоре мы прощаемся. Хозяева выходят проводить нас, и старик говорит:

«Скажи отцу, что побывал у слепого Урызмага. Передай ему привет от меня».

«Обязательно, — отвечаю, — передам».

«Будешь в наших краях — заходи, порадуешь стариков».

«Спасибо, — благодарю растроганный, — дай бог вам жить всегда».

Мы уходим, и Майя, такая тихая в доме, оживляется понемногу, веселеет.

«У тебя здорово получают эти осетинские штучки, — говорит она. — Мир дому вашему! Пусть только радость переступает ваш порог! — смеется, передразнивая меня. — А я и половины не поняла из того, что говорил старик. Эти сельские таким языком говорят, что голову себе можно сломать».

«Я тоже сельский», — улыбаюсь.

«Да? — она с сомнением смотрит на меня. — Что-то не похоже».

(То же самое сказал мне таксист-клятвопреступник.)

«Ладно, — подталкиваю ее шутя и ощущаю ладонью тонкие ее лопатки, — идем в Далагкау».

«А ты не перепутаешь опять?» — ехидничает она.

Нет, не перепутаю. Я помню эту тропу, я узнаю с в о й дом, каменные стены, крепостную башню, склеп, стоящий поодаль, на возвышении, и снова волнуюсь, как в первый раз, у чужих руин, и удивляюсь себе, а Майя прохаживается по двору, заросшему бурьяном, присматривается, словно вспоминая, и говорит, повернувшись ко мне:

«Слушай, я ведь была уже здесь. Ну да, конечно, я не ошибаюсь... Там, наверху, — она показывает куда-то вдаль, — был наш пионерлагерь. Однажды мы сбежали с девчонками, пришли сюда и поспорили — кто не побоится залезть в склеп?! Все испугались, конечно, а я залезла. Вон через тот лаз... Темно там, скелеты, ужас! Какой-то череп мне под руку подвернулся. Схватила я его и вылезаю. Девчонки как увидели, завизжали и бросились бежать. Я за ними! Вижу, мне не догнать их, размахнулась и швырнула череп им вслед. — Она смеется. — Девчонки бегут, орут, а череп катится за ними по склону...

ЧЕРЕП МОЕГО ПРАРОДИТЕЛЯ.

«Потом они успокоились, вернулись, мы зашли в дом, а там было сено, мы улеглись на него и до самого вечера балдели, истории страшные рассказывали»...

Она поднимается по замшелым ступеням каменного крыльца, входит в зияющий проем двери, и я иду следом, а в доме, в каменной тесноте, под уцелевшим углом кровли действительно лежит сено, но не тех времен, а свежее, и, остановившись возле него, она улыбается:

«Знаешь, какая кликуха была у меня в детстве?»

«Какая?» — спрашиваю.

«Волчица, — произносит она грозно и, нахмурив брови, заходит сбоку, надвигается на меня, тесня к сену. — У-у, боишься?! — неожиданно и сильно толкает меня в грудь и, предвкушая мое падение, ликует: — То-то же!»

Но, удержавшись на ногах, я хватаю и валю ее саму, и она увлекает меня за собой, и мы барахтаемся в сене, и она смеется:

«Эй! Не так сразу! — и через некоторое время: — Осторожно! Мне еще нужно выйти замуж! — и немного погодя: — О-о, а-а, и так выйду»...

Хорошо, если бы родился мальчик, думаю я, расчувствовавшись, когда мы возвращаемся к дороге, к автобусной остановке, хороший мог бы получиться мальчик. Иду и слышу, будто со стороны, голос Майи:

«Не придавай этому слишком большого значения».

Очнувшись, отвечаю ей, чтобы не остаться в долгу:

«По-моему, ты была несколько преувеличенного мнения о своей девственности».

«Да? — улыбается она рассеянно. — Может быть».

«Жизнь — это комплекс ощущений», — говорит она, но не в горах уже и не в дороге, а у меня дома. Рассказывает, босая, в рубашке моей, наброшенной на плечи, а я возлежу на раскладушке, смотрю на нее и улыбаюсь:

«Мы выглядим, как отрицательные персонажи в нравоучительном фильме».

Она подходит к стене, упирается в нее руками и говорит деловито:

«Если бы в этом месте была дверь, а за нею еще одна комната — здесь можно было бы жить».

«Мне и эта досталась случайно, а о большей и мечтать нечего. Впрочем, — улыбаюсь еще, — если ты выйдешь за меня замуж, директор может дать за тобой, как приданое, и трехкомнатную квартиру».

«Не смейся, — отвечает она, — директор — друг моего отца».

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА С НЕДОЛЖНОСТНЫМИ НЕ ДРУЖАТ.

«Ну, так пойдешь за меня замуж?» — домогаюсь, но шутя, потому что это не первый наш разговор.

«Нет, — она поворачивается, смотрит на меня и с сомнением качает головой, — какой-то ты ненадежный».

ЕЩЕ ОДНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

«А он, — спрашиваю, — надежный?»

У нее есть жених — она сообщила об этом сразу же, в автобусе, когда мы возвращались из Далагкау, — он учится в аспирантуре, в Ленинграде, летом защитит диссертацию, приедет, и они поженятся. А пока при деятельном моем участии она наставляет ему рога и в то же время ждет его как верная невеста.

«Кто он по специальности?» — спрашиваю.

«Разве это важно? — удивляется она. — Такелажник-экспериментатор, — смеется, но тут же добавляет серьезно: — Место на кафедре ему обеспечено, а в будущем обеспечена докторантура. — И еще добавляет: — Он из хорошей семьи».

«Но ты же не любишь его!» — возмущаюсь.

«Ну и что? — пожимает она плечами. — Он никогда об этом не узнает».

«Ты не женщина, ты иллюзия!»

«Боишься меня?!»

«Боюсь», — отвечаю искренне.

«То-то же! — смеется она и говорит, но уже серьезно: — За его спиной мне будет спокойно. Я ведь о будущем думаю».

ИЛЛЮЗИЯ ЗА КВАДРАТНОЙ СПИНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

Майя всегда является без предупреждения, и поначалу это выбивало меня из колен, я бежал с работы домой, как наскипидаренный, все выходные просиживал дома, прислушивался к шагам в подъезде, к каждому шороху — не идет ли?! — стоял у окна, смотрел на улицу и в каждой девушке мне мерещилась она, и сердце замирало от радости, но напрасно, и жизнь моя превратилась в сплошное ожидание, мучительное и в основном бесплодное, и устав наконец, не выдержав, я сказал ей об этом, пожаловался, но она лишь улыбнулась в ответ:

«Тебе хорошо со мной?»

«Да», — кивнул я, подумав.

«Так чего же тебе еще нужно?»

«Определенности!» — возопил я в отчаянии.

«Не капризничай, — она ласково похлопала меня по плечу, — не для того я тебя выбрала».

«Это еще неизвестно, кто кого выбрал», — заворчал я.
«Не спорь, ты ведь прекрасно знаешь, как было дело».

Собираясь ко мне, она надевает бабушкины очки в железной оправе — бутафория, стекла в них простые, — длинное, черное балахонообразное пальто с капюшоном, идет, чуть сутулясь, быстрой деловой походкой, а под мышкой у нее папка, но не пижонская, а обычная, картонная с тесемками, и смотрится она так, что даже прилипчивые орджоникидзеовские кавалеры не решаются к ней приставать. В папке старые техзадания, техусловия, синьки — это на случай встречи со знакомыми.

«Куда идешь, Майя?» — спросят они.

«К сотруднику одному, — ответит она, поморщившись, — замоталась на работе и забыла документы дать ему на подпись».

«А-а, — скажут знакомые и пожалеют ее, — бедная».

Иногда в папке лежат учебные программы — философия, политэкономия, организация производства — Майя учится заочно на экономическом факультете университета, и я по мере сил способствую ее образованию, пишу за нее контрольные работы.

«Почему ты не учишься на дневном?» — спрашиваю.

«Вылетела со второго курса, — сообщает она беспечно, — и папенька прописал мне трудовое воспитание».

Если бы папенька знал, чем это обернулось, то-то бы он удивился.

«Майя, — спрашиваю, — а что будет потом, когда ты выйдешь замуж?»

«А ты, оказывается, тоже думаешь о будущем? — улыбается она. — Нам придется расстаться. Мужу я изменять не буду».

ТАКАЯ ДЕВУШКА.

Раздеваясь, она разбрасывает вещи по всей комнате, и мои висят аккуратненько, ни складочки, ни морщинки — деревенщина! — и, завидуя ее свободе и не только в смысле одежды, я понимаю, что таким мне никогда не быть — не то происхождение, не тот характер, — и, понимая это, я продолжаю ждать ее по вечерам, и по утрам в выходные, и днем, и снова вечером, и поражаюсь той легкости, с какой она ведет игру на работе, наш невинный производственный флирт, и словно заведенный механически подыгрываю ей.

«Только так, родной, и никто ничего не заподозрит!»

«Не слишком ли ты умна для женщины?» — спрашиваю в отместку.

«Я думаю, — смеется она, — что это не такой уж большой недостаток».

И вот мы сидим в приемной, у закрытой директорской двери, Майя постукивает на машинке, и Эрнст морщится, слушая нас, ерзает и на часы поглядывает — сколько сидим уже? минуту? десять? двадцать? — но раздается наконец звонок — это директор там у себя кнопку нажал, и Майя отрывается от машинки, встает, уходит в кабинет, и мы остаемся вдвоем, сидим, поглядываем друг на друга, и я улыбаюсь виновато, словно меня с поличным застукали, а Эрнст сопит, как зубробизон, овцебык разгневанный, и это длится довольно долго, и наконец пузатая, дерматином обитая дверь отворяется, и Майя приглашает нас:

— Пожалуйста.

Входим, а в кабинете директор и Васюрин сидят, и лица у обоих такие, словно они только что поговорили крупно, и нам бы помолчать, подождать, пока они придут в себя, но Эрнст, едва переступив порог, вдруг заявляет тоном государственного обвинителя:

— Мы просидели в приемной полчаса!

— Ничего, сынок, — отвечает директор, — вы еще молодые, наверстаете свое.

— Я не о возрасте и даже не о рабочем времени, — гнет свое Эрнст: — Я о человеческом достоинстве!

— Ну прости, — говорит директор и, повернувшись к Васюрину, усмехается. — Видал, какие у меня изобретатели?!

Этой фразой он в двоих метит: и Эрнста осаживает — попроще, мол, надо быть, — и Васюрину дает понять — ребятки у меня что надо, голыми руками их не возьмешь, — и Эрнст умолкает и садится, махнув рукой, а Васюрин головой покачивает:

— Легко вы этим словом бросаетесь — изобретатель.

— Ну, — говорит директор, удовлетворенный вполне, — какие будут суждения?

— О чем вы? — спрашиваю.

— Ну, и хитер же ты, — щурится он, головой качает, — все бы тебе заранее знать.

— Давайте-ка оставим эту восточную цветистость и

перейдем к делу! — раздраженно произносит Васюрин.

— Прошу, — предлагает директор. — Кто хочет высказаться первым?

— Мы тут посоветовались и наметили план действий, — начинает Васюрин, обращаясь к Эрнсту и ко мне отчасти. — Проблема получения производного АВ разрабатывается в нашем институте по двум направлениям. Первое — это обычная реакция взаимодействия между реагентами А и В, а второе учитывает их взрывообразующие свойства. По утвержденному плану исследования были начаты с простейшего варианта, и вы уже получили техзадание на проектирование и изготовление полупромышленной линии. Но несколько опередив события, что похвально само по себе, вы предложили устройство, которое позволяет провести детальное исследование второго, и, надеюсь, более перспективного варианта. В результате мы получили возможность вести разработку сразу по двум направлениям, но некоторое преимущество во времени, по крайней мере, останется за первым. Поскольку амортизационное устройство, удачное или нет — неизвестно пока, выполнено лишь вчерне, в эскизах и находится, если можно так выразиться, в эмбриональном состоянии, мы решили поступить следующим образом: вы будете продолжать проектирование полупромышленной линии для первого варианта, а работу по второму, более тонкую и требующую высокой квалификации исполнителей, мы проведем у себя в институте, в Москве.

Он продолжает говорить, но суть уже ясна мне, и я не столько слушаю, сколько наблюдаю за ним, и это не тот Васюрин, что заигрывал с собственной женой — слышь, Людок?! — и не тот, вдохновенный, что выдавал на поляне заранее отрепетированные импровизации, и не тот, что потешал нас байками в ресторане, нет, он спятать новый! — герой или злодей? — волевой и жесткий администратор.

Закончив, он откидывается на спинку стула и, передохнув, добавляет уже в другой, лирической тональности:

— Конечно, решить это можно было в более узком кругу, но нас интересует и ваше мнение. Надеюсь, оно поможет определить некоторые детали.

Директор сидит, будто происходящее никак его не касается, а Эрнст уже очки поправляет, и глаза его, огромные за линзами, темнеют недобро, и я жду взрыва, а он говорит совершенно спокойно:

— Предложение Юрия Степановича кажется мне разумным и приемлемым потому, что устраивает обе стороны. Разработку предложенного нами устройства институт проведет на высочайшем профессиональном уровне, и дело от этого только выиграет, а приоритет в любом случае останется за нами, и это тоже правильно, поскольку сама идея принадлежит нам. Таким образом, и волки будут сыты, и овцы целы.

— Не стоит, пожалуй, так расставлять ударения, — усмехается Васюрин. — Взрывообразующие свойства реагентов А и В известны давно и не только вам.

— А мы и не претендуем на открытие каких-либо новых свойств, — пожимает плечами Эрнст. — Наше изобретение позволяет использовать и з в е с т н ы е свойства.

— Сынок, — спрашивает директор, — разве вы вдвоем придумали эту штуку?

— Нет, — отвечает Эрнст. — Множественное число я употребляю потому, что говорю от имени предприятия.

— И заявку уже сделали? — интересуется директор.

— Да, — говорит Эрнст, — я проследил за тем, чтобы заявка на изобретение была составлена, отмечена в нашем бюро информации и своевременно отправлена в Комитет по делам изобретений и открытий.

— Быстрые ребята, — покачивает головой Васюрин.

— А вы бы хотели, чтобы какая-нибудь буржуазная фирма опередила нас? — спрашивает Эрнст. — Они ведь тоже работают в этом направлении.

— М-да, — задумчиво произносит Васюрин, — действительно работают.

Он встает и начинает расхаживать по кабинету, от стола к двери и обратно, и снова к двери, словно стремясь куда-то, но сдерживая себя из-за всех сил. В бюро технической информации торопится, думаю я, наблюдая за ним, хочет проверить, оформлена ли заявка. Наконец он берет-ся за дверную ручку и произносит озабоченно:

— У меня есть еще одно дело, — и, выдержав паузу для большей значительности: — Меня ждут, — и добавляет, усмехнувшись: — А вы можете пока обсудить свои внутренние проблемы.

Он выходит и, зная его крейсерскую скорость, я как бы следую за ним шаг за шагом, словно в поле зрения держу, а директор, помолчав немного, вдруг выдает неожиданную сентенцию:

— Мы, осетины, непростой народ.

— Да, — улыбаюсь, не упуская Васюрина, — если мы собираемся числом более одного, то либо песни поем, либо затеваем беседу о своем историческом прошлом.

— А знаешь почему?

— Мы — древний народ, а старики ведь любят вспоминать молодость.

— Ты прав, сынок, но дело еще и в другом. Мы тщеславие свое подогреваем, каждый хочет аланом себе казаться, могучим и гордым, а нас ведь полмиллиона всего, нам бы помягче быть, потрезвее.

(Васюрин идет по коридору.)

— У малых народов есть одно преимущество перед большими, — улыбаюсь. — Мировые проблемы отстоят от нас дальше, но сам человек заметнее, каждый чувствует себя первым парнем на деревне.

— И мировые проблемы недалеко от нас. Мы и с немцем воевали, как больше, и технологию новейшую создаем, и природу преобразуем...

(Васюрин входит в бюро технической информации.)

— Ну и как вам кажется, теряем мы при этом или приобретаем?

— Участвуем в историческом процессе, сынок.

— И рассуждаем об этом по-русски, — мне овечка белая вспомнилась, старик из автобуса и таксист-клятвопреступник.

— А по-осетински вы и не смогли бы поговорить так содержательно, — насмешничает Эрнст. — Образование мы все на русском получили, а осетинский — это язык для домашнего обихода.

— Стал таким, — отвечаю, — раньше-то было по-другому.

(Васюрин заходит в отдел технической информации, просит журнал, в котором регистрируются заявки, и начинает листать его.)

— Раньше мы овец пасли, — говорит директор, — дальше своей деревни носа не высывали и не то что о высшей математике, об алгебре представления не имели.

— Знаете, — усмехаюсь, — я иногда завидую пастухам.

(Васюрин находит в журнале мою фамилию.)

— То, о чем ты беспокоишься, сынок, это временное явление. Мы так быстро развиваемся, что сами не успе-

ваем за собой. Но постепенно все выравнивается, придет в равновесие, поверь мне.

— Вашими бы устами да мед пить, — говорю, и директор собирается возразить, но я опережаю его: — Он уже вышел.

— Кто? — удивляется директор. — Откуда?

— Васюрин, — отвечаю, — из бюро технической информации.

— Вот-вот, сынок, об этом я и начал разговор. Не умеем мы уступать. Лезем в драку, когда этого и не нужно совсем. А все от гордыни, от неуверенности своей.

— Вы о Васюрине? — интересуюсь.

— Он ведь хочет как лучше, а вы на дыбы сразу.

— Один мой знакомый так же рассуждал, Понтий Пилат. Может, слышали о нем?

— Слышал, сынок, я ведь тоже книги читаю, — кивает директор. — Вы, конечно, всего не знаете, а Васюрин немало сделал для нашего предприятия.

— Внимание! — предупреждаю. — Сейчас он войдет!

Они умолкают, и я веду обратный отсчет в тишине:

— Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль!

Дверь открывается, и в кабинет входит Васюрин.

— Законченные прохвосты, — ворчит директор.

— Слушай, — обращается к нему Васюрин, — вышел я отсюда и вот о чем подумал. Мы много говорим о нашей молодежи, инициативной и талантливой, но как доходит до дела, умолкаем тут же и весь груз стараемся взвалить на собственные плечи. Но почему, спрашивается? Откуда эта инерция недоверия?

Он говорит бодро и весело даже, не администратор уже, а свой в доску рубаха-парень.

— Если они сумели придумать амортизационное устройство, — продолжает он в том же духе, — почему бы им не довести работу до конца? Не скрою, были у меня некоторые опасения, но, пораскинув мозгами, я устыдился, признаюсь. Вместо того чтобы поблагодарить их за неформальный творческий подход к делу, мы козью рожу соорили — сумеют ли, справятся ли? Короче говоря, я снимаю прежнее свое предложение и выдвигаю новое. Вы конструируете, изготавливаете и проводите испытания макета вашего устройства, а я сразу же по приезде в Москву составлю и вышлю вам техзадание на него. Организа-

иные вопросы мы решим по ходу дела. К работе можете приступить хоть сегодня, тем более что она срочная... Ну, ребята, — улыбается он, — довольны?

Улыбка застывает на его лице, ждущая и требующая, и я откликаюсь, но не с восторженной благодарностью, как жена его, Людок, а с нарочитым безразличием:

— Наше дело бабье, как мужики скажут.

Пропустив мою реплику мимо ушей, он подбадривает нас:

— Слово за вами! — теперь это мудрый и добрый наставник. — Не подкачайте, ребята!

— Ладно, — говорит Эрнст, — будем делать макет. — Он встает и, повернувшись к директору, спрашивает: — Мы свободны?

— Конечно, сынок, — кивает тот. — Разве кто-нибудь посмеет вас неволить?

— Юрий Степанович, — обращаюсь к Васюрину, — у меня к вам просьба.

— Слушаю вас.

— Я бы хотел поговорить с директором по личному вопросу.

— Пожалуйста, — усмехается он, — оставляю вас наедине. — Идет следом за Эрнстом к двери, оборачивается у порога: — Это ненадолго, надеюсь?

— Нет, — отвечаю, — секунд двадцать — больше не потребуется.

Он выходит, а директор сидит себе спокойненько и не поймешь, доволен он результатами совещания, или переговоров, вернее, или нет, и я подвигаюсь к нему и говорю с чувством:

— Знаете, я долго думал об этом, но только сегодня понял...

Делаю паузу, и он спрашивает, торопя:

— О чем ты, сынок?

— Я понял, почему вы позволяете подшучивать над собой и вообще ведете себя с нами, как с равными.

— Ну?

— Потому, что править равными приятнее, чем шушерой всякой, рабами, подхалимами...

— Пошел вон, подлец! — обрывает он меня, хватается за любимую пепельницу. — Убыю!

Вылетаю из кабинета в приемную, а там Эрнст и Васюрин о погоде толкуют:

— Такой зимы у нас еще не было.

— Что с тобой? — удивляется Майя.

— Да вот, — развожу руками, — пытался уговорить директора, чтобы он отпустил тебя в мой гарем.

— Ну и как?

— Ни за что не соглашается.

— Как жаль, — томно вздыхает она. — Я так надеялась.

— Майя, — с ретивостью козлика подскакивает к ней Васюрин, — вы только Алану позволяете так с собой разговаривать?

— Да, — отвечает она строго, — только ему, — и добавляет, словно сокровенным делится: — У нас любовь. ТАКАЯ ИГРА.

Возвращаемся с Эрнстом в отдел, идем, не торопясь, и он говорит вдруг:

— Знаешь, почему меня зовут Эрнстом?

— Нет, — отвечаю, — я же не присутствовал на твоих крестинах.

— Когда выдали свидетельство о моем рождении, отец написал на обратной его стороне: «Называю сына Эрнстом в честь Эрнста Тельмана, вождя немецкого пролетариата, пламенного борца за свободу трудящихся». Это было в сороковом году, а в сорок первом он ушел добровольцем на войну и в сорок первом же погиб. Надпись осталась как завещание, и я всегда помню о ней, — Эрнст останавливается и поправляет очки. — Помню и участвую в таких представлениях, как только что. Вряд ли это понравилось бы отцу.

— Вряд ли, — соглашаюсь. — Меня зовут Аланом, и мне тоже все это не нравится.

Рабочий день заканчивается, и я собираю бумаги со стола, складываю инструменты в готовальню, карандаши в коробку, спускаюсь на первый этаж, в гардеробную, снимаю пальто с вешалки, с той самой, которую спроектировал некогда — ах, ампир, рококо, барокко! — одеваюсь, выхожу на улицу, в мороз, шагаю к трамвайной остановке, к толпе гудящей, и народ все прибывает:

ЧАС ПИК,

а трамвая не видно, только рельсы чернеют в снегу, убегающая в сизые сумерки, и где-то здесь стоит и ждет меня

отец Зарины — мы должны встретиться, если вы помните, — и я вглядываюсь в лица, пытаюсь найти в ком-нибудь сходство с девушкой, которую нес однажды на руках, но не нахожу, да и ее облик представляю себе довольно смутно, и, поняв безнадежность своей попытки, делаю шаг в сторону, чтобы выделиться из толпы, себя представляю на обозрение.

Рельсы оживают, начинают звучать, и тут же из сумерек выскакивает трамвай, болтаясь и подпрыгивая, словно на ухабах, и толпа, приумолкнув, готовится, и вот уже все бросаются к раскрывшимся дверям — крики, гомон, смех, — и вагоны покачиваются на рессорах, а ко мне подходит, останавливается передо мной человек средних лет, чем-то похожий на того, толстомордого, который купил меня когда-то вместе с недвижимостью.

— Только мы, двое, не интересуемся трамваем, — произносит он, глядя на меня пылливо.

— Да, — улыбаюсь, — точно подмечено.

— Алан? — спрашивает он для верности.

— Алан, — подтверждаю.

— Герас, — представляется он.

Значит, дочь его — Зарина Герасимовна.

К остановке стекаются люди, собирается новая толпа, все повторяется, и, когда трамвай выскакивает из сумерек, я спрашиваю:

— Будем садиться?

— Не стоит, — отвечает он, Герас. — Лучше пешком пройти, для здоровья полезнее. Вам в какую сторону? Называю свою улицу.

— До моста дойдем вместе, — говорит он, разъясняя, — а дальше мне прямо, а вам направо, за Терек.

— И снова точно, — усмехаюсь, — направо и за Терек.

— Вы знаете, — жалуется он, — с тех пор как у меня машина, я стал меньше ходить и сразу почувствовал себя хуже. Отложение солей, одышка...

— «Жигули?» — спрашиваю, чтобы поддержать беседу.

— «Жигули» — это машина для молодежи, — говорит он. — У меня ГАЗ-24. Хочу мерседес купить. Один знакомый достал — солидная машина. Сорок тысяч отдал за нее.

— Не дорого? — интересуюсь.

— Она того стоит.

Идем, не торопясь, по тротуару, а сумерки сгущаются, и сразу становится морознее, или это мне кажется, — ах, пальтишко на рыбьем меху, туфельки бальные! — и я не могу ускорить шаг, чтобы согреться, к спутнику своему принаравливаюсь, а он моцион совершает, заложив руки за спину, ступает с тяжеловесным достоинством.

Скрежещет снег под ногами.

— Хороша жизнь, когда ты в кальсонах! — замечаю, постукивая зубами.

— Да, — слышу в ответ, — кальсоны обязательно надо носить. Молодежь смеется над ними, но это глупый смех, он оборачивается потом радикулитом, ишиазом...

— Ужас, — передергиваюсь, — подумать страшно!

— М-да, — повторяет Герас, и, возможно, это обращено не ко мне, и встретиться он должен был не со мной вовсе, а с другим человеком, которого тоже зовут Аланом и у которого есть друзья-приятели на Чукотке, в Гренландии или на Аляске, которые могут снарядить небольшую экспедицию, убить белого медведя, снять с него шкуру и наложным платежом выслать ее некоему Герасу, который купит к тому времени белый мерседес, получив посылку, выставит его изнутри белой шкурой безвинно погибшего зверя. Свести их должен был кто-то третий, общий знакомый, наверное, но на трамвайной остановке оказался другой Алан, то есть я, и, совершив ошибку и не догадываясь о ней, мы стоим посреди тротуара, беседуем на светские темы, и Герас все не решается перейти к делу, и это может длиться час или два — в зависимости от склонностей его и привычек, — а то и сутки или двое, и когда он заговорит о шкуре наконец, мне, очоленевшему, останется только руками развести — простите, мол, ошибка, — или сказать в утешение ему, что знакомых чукчей и эскимосов у меня нет, но есть приятели-масан, которые запросто могут убить леопарда, снять с него шкуру и переслать ее с оказией все ему же, Герасу, который купит к тому времени золотистый мерседес и, получив посылку, выставит его изнутри леопардовой шкурой. Поскольку я человек слова, а друзей среди масаев у меня нет, мне придется либо самому отправиться в Африку, чтобы исполнить обещанное, но это круто изменит мою судьбу и в результате появится третий Алан, копьеметатель и зверобой, либо, сохраняя свое естество, добыть в родных широтах суслика, но мерсе-

дес, белый или золотистый, выстеленный изнутри сусли-
чьей шкурой, вряд ли произведет впечатление на улич-
ных зевак и вместо предполагаемого восторга может вы-
звать недоумение и замешательство даже, и, опасаясь
этого, а возможно, и подозревая ошибку, Герас произ-
носит слова, которые могут служить хоть и запоздалым,
но паролем:

— Спасибо, что вы не оставили мою дочь в беде.

Ситуация выясняется, но ошибка, как таковая, на-
лицо: я не мог бросить его дочь в беде потому хотя бы, что
до этого не был с ней знаком.

— О чем вы говорите? — отвечаю. — Какая тут может
быть благодарность?

«Божеское дело делаем», — сказал о том же самом так-
сист-клятвопреступник.

— Когда муж оставляет семью, все его винят, — пока-
чивает головой Герас. — Но и когда жена подает на раз-
вод, тоже во всем обвиняют мужа.

— Таков институт брака, — вздыхаю сочувственно.

— Фируза неплохая женщина, — говорит он, — но ес-
ли двое не сошлись характерами, зачем искать виноватых?
Зачем настраивать против меня дочь? Вы не поверите, но я
узнал о несчастье от посторонних людей.

Снова вздыхаю, но молча на этот раз.

— У меня давно уже другая семья, — продолжает
Герас, — двое сыновей подрастают, — он оживляется, —
одного хочу по пушному делу пристроить, другого по ко-
жевенному.

Ага, ликую, значит, не зря мне мерещились суслики,
медведи и леопарды!

— Кожи и шкуры! — усмехаюсь. — А сами вы чем за-
нимаетесь? — спрашиваю. — Если не секрет, конечно.

— Я между тем и этим, — отвечает он. — Заведую не-
большим производством в системе местной промышленности.

— Шкуры и кожи? — веселюсь.

— Верный кусок хлеба, — откровенничает он.

— С маслом? — интересуюсь.

— Хочешь жить, умей вертеться, — пожимает он пле-
чами.

— Тетю Пашу знаете, тетю Пашу? — дурачком прики-
дываюсь, под Капфета работаю.

— Нет, — он вопросительно смотрит на меня. — Кто
такая?

— Старушка, — сообщаю, — тоже бизнес делает.

Он отворачивается от меня — обидевшись ли, озлившись? — и трогается с места, променаж продолжая, а тротуар здесь занесен снегом, сквозь занос пробита глубокая тропка, почерневшая от многих подошв, и Герас цепляет лапами строгого профессорского пальто снежную крупу с высоких отвалов, а я иду следом, приплясывая и отогреваясь понемногу, и, слышу, он говорит, то ли жизнь обдумывая, то ли утверждая себя в ней, о детях своих рассказывает:

— Сыновьями я доволен. Воспитанные, послушные и учатся неплохо. Не отличники, конечно, но это и не нужно, я считаю. Голова у человека должна быть свежей, а то, знаете, как бывает: начитаются книг, запутаются и сами уже понять не могут, что им нужно от жизни.

— Книжки только дураки читают, — соглашаюсь, — умному и так все ясно.

— Вы шутите, конечно, — говорит он, — но в каждой шутке есть доля правды. Вы слышали, наверное, такую загадку: что лучше, быть больным и бедным или богатым и здоровым?

— Тут уже не доля, — усмехаюсь, — тут все чистая правда.

— Сыновьями я доволен, — продолжает он, — но и от дочери не отказываюсь и не отказывался никогда. Она ведь первая у меня, Зарина. Вы знаете, что такое первый ребенок?

— Нет, — отвечаю, — я был вторым.

— Первый ребенок — это счастье, — произносит он мечтательно.

— Простите, — прерываю его, — но я вынужден задать вам неллицеприятный вопрос.

— Пожалуйста.

— Зачем же вы отказались от своего счастья?

— М-да, — вздыхает он. — Разве я отказывался? Ну, не сошлись мы характерами с Фирузой — что тут особенного? Люди и до нас расходились и будут расходиться, по все это можно делать по-человечески. А у Фирузы одно было на уме — отомстить. То, что она от помощи отказалась, денег не брала — это еще полбеды. Но она ведь дочь против меня настроила. Зачем, спрашивается? Чтобы показать мне, какой я подлый? Но в чем моя вина? Ушел к другой женщине? — он снова вздыхает: — Сердцу ведь

не прикажешь... Уж лучше бы она подстерегла меня где-нибудь и зарезала, честное слово!

— Повесила, распяла, отравила, — перечисляю возможные варианты. — Вряд ли вам понравилось бы это.

— Ну, и чего она добилась в конце концов? — сердится он. — Кем вырастила дочь? — головой сокрушенно покачивает. — Как-то я пришел на эти гимнастические соревнования, посмотрел на Зарину и чуть не заплакал. Красивая взрослая девушка кувyrкается, как маленькая, позорит себя перед людьми... Вот и докувыркалась...

Только бы не заплакал, опасаясь, но он говорит вдруг спокойно.

— Подождите минутку, со знакомым поздороваюсь.

Навстречу нам идет человек средних лет, ведет хорошенькую девочку лет трех, внучку, наверное, а может быть, и дочь, и Герас наклоняется к ней, улыбаясь умильно:

— Здравствуй, Мадиночка.

Я прохожу мимо них, останавливаюсь неподалеку, ожидая, и слышу тоненький голосок:

— Здравствуйте.

Герас выпрямляется и, обменявшись рукопожатием то ли с дедом, то ли с отцом девочки, говорит:

— Ну, и мороз.

— Да, — отвечает тот, — таких холодов у нас еще не было.

— Были. В тридцать втором году.

— В тридцать третьем.

— В зиму с тридцать второго на тридцать третий.

Они говорят об этом не походя, как другие, а солидно и основательно. Стоят, оба невысокие, упитанные, краснощекие, и ведут разговор о стихийных явлениях. Когда тема исчерпана, они умолкают на мгновение и переходят к следующей.

— Как ваше здоровье? — спрашивает Герас.

— Ничего, спасибо, — с чувством отвечает его собеседник. — А ваше?

— Спасибо, ничего. А как здоровье супруги?

— Ничего. А Вашей?

— Спасибо. Ничего.

Это не пустой, не светский разговор, понимаю, и о погоде, и о здоровье они толкуют по-хозяйски и на земле стоят по-хозяйски, крепкие, основательные мужчины.

— А ты как поживаешь, Мадиночка? — интересуется Герас.

— Хорошо, — нараспев отвечает девочка.

Он достает бумажник, вынимает из него десятирублевку, наклоняется к Мадиночке и засовывает дензнак в кармашек ее красивой цигейковой шубки.

— Не надо, — говорит то ли дед, то ли отец, — у нее все есть.

— Ничего, — отвечает Герас, — пусть у нее будут свои деньги, они ей не помешают. — Наклонившись к девочке, он улыбается: — Правда, Мадиночка?

— Правда, — пищит та.

— Скажи дяде спасибо, — подсказывает то ли отец, то ли дед.

— Спасибо, — слышится писк.

Герас делает шаг в сторону, уступая им дорогу:

— Счастливого пути.

— Всего хорошего.

— Передавайте привет супруге.

— И вашей передайте.

ДРУГИЕ ЛЮДИ, ДРУГАЯ ЖИЗНЬ.

Они расстаются, и, когда Герас подходит ко мне, я спрашиваю, не сдержав любопытства:

— Кто это был?

— Деловой человек, — уважительно произносит он.

Мы идем по тротуару, и я думаю о Мадиночке, у которой есть теперь ВСЕ и еще десять рублей впридачу, а Герас, настроившись, видно, на новый лад, говорит вдруг:

— Хочу вам сказать кое-что, только не обижайтесь ради бога.

— Ладно, — отвечаю, — попытаюсь.

— Прежде чем встретиться с вами, я расспросил кое-кого, и мне сказали, что вы конструктор, изобретатель, что у вас светлая голова...

— Тут есть преувеличение, — усмехаюсь, — но не обидное, скорее наоборот.

— И на такой хорошей голове, — продолжает он, — вы носите, как школьник, обыкновенную кроличью шапку.

— Как-то не думал об этом, — теряюсь.

— Люди все замечают, — говорит он, — а шапка у нас, осетин, не последняя вещь, вы и сами это знаете.

— Так, — киваю, — и что же мне делать теперь, как жить?

— Очень просто, — отвечает он. — Я позвоню нужному человеку, и он достанет вам ондатровую шапку. С переплатой, конечно, но недорого — рублей сто пятьдесят, не больше.

— Вы знаете, — говорю, — сто пятьдесят — это больше моего месячного оклада.

— Ну-у, — улыбается он игриво, — значит, у вас есть еще какой-то родничок.

— Ни родничка, — веселюсь, — ни ручейка, ни струйки. Так что спасибо вам большое, но я похожу пока в кроличьей. А там, глядишь, и зима кончится.

— М-да, — произносит он угрюмо и умолкает.

Подходим к мосту — мне направо, ему прямо, — и он говорит, остановившись:

— У меня есть к тебе просьба, Алан.

Определив мое

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,

он решил обращаться со мной на «ты».

— Слушаю тебя, Герас, — отвечаю небрежно. Он озадаченно смотрит на меня, и, чтобы успокоить его, я добавляю: — Считай, что мы выпили на брудершафт.

Он молчит, не зная, видимо, как реагировать на эти слова, молчание затягивается, и я вынужден прийти ему на помощь.

— Так что за просьба? — спрашиваю.

Хочет, наверное, чтобы я помирил его с дочерью, предполагаю, ввел его в покинутый им некогда дом.

— Есть один старик, — отвечает он. — Вылечивает таких больных, от которых отказываются врачи.

Ах, вот оно что!

— Да, мне уже говорили о нем, — усмехаюсь. — Где он живет, старичок-то? То ли в Хумалаге, то ли в Зарамаге? То ли в Садоне, то ли в Ардоне?

Я уже слышал об этом старике, если вы помните.

— Зря смеетесь, — качает он головой. — Народная медицина сейчас в почете. В травах и кореньях живая сила скрыта.

— Ладно, — киваю, — не уговаривайте. Я и сам уважаю всякого рода лекарей-знахарей-шарлатанов. Так где он живет все же?

Ловлю себя на том, что хоть и вскользь, мимолетно, но в голове моей хорошей все же мелькает надежда на чудо. Извечная, подспудная надежда человеческая.

— Я пришло машину и оплачу все расходы, а ваше дело — поговорить с Зариной. Фируза считает, что только вы можете оказать на нее влияние... Ей, конечно, не надо знать, что все это идет от меня, а то она и слушать не захочет, сразу откажется.

— Хорошо, — соглашаюсь, — будем считать, что старичка нашел я.

— Если он ей поможет, — веселеет Герас, — то можно будет открыть правду.

Вследствие чего произойдет примирение.

— А если нет? — интересуюсь.

— Машина будет завтра или послезавтра, — обходит он мой вопрос. — Шофер знает, куда ехать, уже возил туда людей.

— Завтра или послезавтра, — повторяю, и слышится мне голос Васюринна: «К работе можете приступить хоть сегодня, тем более что она срочная», и, устыдившись сравнения — Зарина и амортизационное устройство, я говорю:

— Ладно, сделаем.

— Я уточню срок и вечером позвоню вам. Фируза дала мне ваш телефон.

Он протягивает руку:

— Всего хорошего. Приятно было познакомиться.

— Мне тоже. Счастливого пути.

Ему прямо, а мне направо, и когда он отходит немного, я окликаю его:

— Герас!

Он не слышит меня.

— Привет супруге!

Он не оборачивается.

— Привет детишкам!

Он ускоряет шаг.

Погода для прогулки холодноватая, и, дойдя до остановки, я сажусь в трамвай и попадаю к самому началу представления.

Впереди, под табличкой «Для инвалидов, престарелых и пассажиров с детьми» сидит на вполне законном основании пожилая дородная женщина в пуховом платке. Рядом стоит молоденькая, совсем еще девчонка, держит за руку сынишку лет пяти. Тут же, возвышаясь над ними, стоит другая пожилая женщина, долговязая и ху-

дая, в потертой шляпке из искусственного меха, стоит и пристально, испепеляюще смотрит на сидящую и, не выдержав наконец, заявляет требовательно:

— Могли бы посадить ребенка себе на колени!

— Я уже приглашала,— отвечает женщина в платке,— но мамаша отказалась.

— Если человек деликатный — значит, на нем верхом надо ездить?!— настаивает женщина в шляпке.

— Она больше тебя о ребенке думает, так что не вмешивайся!— осаживает ее женщина в платке.

Обе говорят с чудовищным акцентом, но по-русски, потому что население трамвая многонационально и каждой хочется быть понятой всеми, склонить на свою сторону общественное мнение.

— Все должны думать о детях!— заявляет женщина в шляпке.

— Правильно!— кивает женщина в платке.— Только ты почему-то не кормишь чужих детей, а только своих!

— Откуда вы знаете мое положение?!— возмущается женщина в шляпке.

— Твое положение я не знаю, а международное такое, что самый вкусный кусок ребенок получает из рук матери!

— Нет!— кипятится женщина в шляпке.— Не такое! В будущем времени не будут различать, кто чей, всех будут любить!

— Кампанелла!— слышится с задней площадки.— Сен-Симон!

Там стоят парни, студенты с виду, и, пока женщина в платке складывает в уме фразу, чтобы ответить достойно, один из парней проталкивается к женщине в шляпке и спрашивает, склонившись почтительно:

— Как вас зовут?

— Фатима,— отвечает та, растерявшись.

Студент поворачивается и молча идет обратно.

— Эй!— окликает его женщина в шляпке.— Зачем тебе мое имя?

Вернувшись к своим, он объявляет громогласно:

— Кампанелла, Сен-Симон и Фатима!

Студенты хохочут — ах, молодость легкомысленная!

— Видишь?— торжествует женщина в платке.— Люди над тобой смеются.

— Потому что ума у них нет!— отвечает женщина в шляпке.— Потому что головы птичьи!

Теперь уже весь трамвай хохочет.

Молодая женщина наклоняется к сынишке, поправляет на нем шарф и спрашивает тихонько:

— Устал?

— Немножко.

— Ничего,— улыбается она,— ты же мужчина.

Прихожу домой, ужинаю — хлеб, сыр, яичница, — включаю телевизор, заваливаюсь на свою любимую раскладушку, жду звонка. Телефон молчит и, просмотрев вечернюю программу, я выключаю телевизор, умываюсь и укладываюсь спать. Утром иду на работу, становлюсь к кульману, начинаю вычерчивать общий вид амортизационного устройства (макетный вариант), и день проходит, как мгновение, а вечером все повторяется — яичница, раскладушка, телевизор,— а звонка все нет, и вот уже вторник позади, и среда, и постепенно я втягиваюсь в этот новый для себя ритм жизни — работа, телевизор, сон,— вхожу во вкус и сожалею лишь о том, что в конце телепрограмм не бывает передачи «Спокойной ночи, малыши» для взрослых. И снова иду на работу, и на листе уже начинает проглядывать бледный контур будущей конструкции, и я почти не отхожу от кульмана и даже в клуб не заглядываю, хоть фиеста в самом разгаре, но чем дальше, тем больше мной овладевает какое-то смутное беспокойство, и я еще не знаю его причины, но то, что вырисовывается на листе, кажется мне громоздким и неуклюжим, и я чувствую себя, как лесная пичуга, высидевшая кукушечье яйцо, и продолжаю чертить, но через силу уже, выращивая нечто неприятное и чуждое мне, и Эрнст подходит время от времени, и мы обсуждаем отдельные детали и саму конструкцию в целом, и все вроде бы в ней правильно,

ВСЕ ИДЕТ, КАК НАДО,

и я успокаиваюсь, но ненадолго, и, лежа на раскладушке у голубого экрана, пытаюсь объяснить свою тревогу затянувшимся ожиданием, и снова возвращаюсь к работе, которая подвигается неожиданно быстрыми темпами, и ворочаюсь, стараясь устроиться поудобнее, и посмеиваюсь над собой — А и Б сидели на трубе,— и думаю в отчаянии:

ЧТО-ТО ТУТ НЕ ТАК,

и не могу понять, что именно.

Телефон зазвонил в пятницу, а до этого даже не звякнул ни разу с того момента, как был поставлен — не для красоты же? — и, перебирая в памяти тех, кто мог бы набрать мой номер, я словно список коллег своих, конструкторов, прочитывал, но с ними я встречался ежедневно, и надобность в дополнительном, телефонном общении, таким образом, отпадала, а дальше за стенами отдела простирался Город, в котором я прожил семь с половиной лет и где, кроме меня, коллег моих, Канфета и тети Паши, обитало еще 250000 человек, и некоторые из них были мне знакомы, но не более, люди со своими давними, устоявшимися связями и устоявшимся укладом жизни, горожане, а я пришел извне, и, стараясь сблизиться с ними, словно на чужую территорию посягал, в чуждый ареал вторгался, и, чувствуя неловкость от невольной агрессивности своей, становился замкнутым вдруг и высокомерным даже, обрекая тем самым на неуспех любую попытку сблизиться с собой, и понемногу это стало привычным, переработалось в некий защитный рефлекс, и, хоть нельзя было понять от кого и что я защищаю, переступить какую-то грань, выйти из очерченного круга мне так и не удалось.

И вот раздается звонок, я подхватываюсь, вскакиваю с раскладушки и, надеясь вдруг, что это не Эрнст, не Фирюза и не Герас, а кто-то из них, моих городских знакомых звонит, чтобы пригласить меня к себе или ко мне зайти, посидеть, поговорить, но не о деле, а так, о пустяках, о жизни, например, и злясь на себя — я ведь снова уперся бы, противясь желаемому! — хватаю трубку и рывкаю:

— Да!

— Алан? — слышу бодрый голос. — Приветствую тебя в этот чудесный вечер!

— Здравствуйте, — говорю, не узнавая.

— Герас беспокоит. Завтра будет машина...

— Послушайте, — обрываю его, — я всю неделю жду, как дурак, вашего звонка...

— Прости, дорогой, — он улыбается, слышу, — не до того было. У меня ревизоры сидели.

— Ах, вот оно что! — догадываюсь. — Посидели и ушли?

— Да, — подтверждает он горделиво, — разошлись с миром.

— И, конечно, закрепили мир в ресторане?

— А как же? Люди поработали, значит, надо их отблагодарить. Не нами это заведено, не нам и ломать!

Во хмелю он обращается со мной на «ты», держится уверенно и покровительственно даже.

— Так что вы сказали о машине?— спрашиваю, посуровев.

— Будет завтра с утра, в девять,— повторяет он.— Дай-ка свой адрес, чтобы он знал, куда подъехать.

— Записать хоть сумеете?

— Не беспокойся,— говорит он.— Герас крепко стоит на ногах.

Диктую адрес, повторяю несколько раз, чтобы не вышло ошибки, и, записав наконец, он спрашивает, по уже потише:

— Зарина согласна?

— Да,— успокаиваю его, — все в порядке.

— Молодец! — радуется он и, взбодрившись, заводит благодарственно-прощальную речь: — Дай бог тебе многих лет без печали, болезней и нужды! — он словно тост произносит, из ресторана вынесенный. — Пусть дом твой полнится изобилием, а все пути ведут тебя к счастью!

Отвечаю с чувством:

— Желаю тебе, супруге твоей и сынишкам, один из которых по пушной части, а другой по кожевенной, вволю накататься на белом мерседесе, высланном изнутри шкурой белого медведя!

— Слушай,— подхватывает он, загоревшись,— дело говоришь! У тебя, случайно, нет кого-нибудь, кто может достать шкуру? За любые деньги — это для меня не важно!

— Есть,— обещаю,— достанем! Только не медвежью, а сусличью или хомячью в крайнем случае.

— Хороший ты парень,— вздыхает он, помолчав,— но в жизни тебе придется нелегко.

— Уже приходится,— усмехаюсь, — не беспокойтесь об этом.

Кладу трубку, и аппаратик мой серенький шлет ему короткие гудки-приветы.

Итак,

ЗАВТРА В ДЕВЯТЬ ПРИДЕТ МАШИНА.

Снимаю трубку, накручиваю диск — одна цифра, вторая, третья, четвертая, пятая:

— Да? — это Зарина отзывается. Стою, замешкавшись, и слышу: — Так и будем молчать?

Нажимаю на рычажок, размыкаю связь.

Я еще не говорил с ней и не знаю, как она относится к знахарству вообще и в применении к себе в частности, но понимаю, что в ее положении

ЛЮБОЙ ШАНС ХОРОШ,

и понимаю еще, что склонить ее к эксперименту будет тем легче, чем меньше времени останется ей на раздумья, и, следовательно, разговор наш должен состояться не накануне, а прямо перед отъездом, второпях — машина ждет! — и если само предприятие в целом вызывает у меня некоторые сомнения и скепсис даже, то в тактике своей я уверен полностью. Однако план мой замечательный предусматривает обязательное участие Фирузы, которая должна, во-первых, встретить меня утром, открыть дверь, а во-вторых, одеть Зарину, снарядить ее в дорогу и сопровождать, естественно. Снова набираю те же пять цифр, и снова мне отвечает Зарина, и я осторожно, словно она может увидеть меня, суетящегося на другом конце провода, кладу трубку и отхожу подальше от аппарата. Но коли в каждом деле есть элемент риска, значит, должен быть и элемент удачи или везения, если пользоваться терминологией картежников, и когда я набираю номер в третий раз, трубку снимает Фируза.

— Не говорите Зарине, что я, Алан, — предупреждаю. — Добрый вечер.

— Здравствуйте, — помедлив чуть, произносит она.

Слышу голос Зарины:

— Кто это звонит?

— Тетя Афаша, — отвечает ей мать, — говорит, в угловом магазине завтра будут давать мясо.

Правильно, улыбаюсь, именно д а в а т ь.

— С каких это пор ты с ней на «вы»? — спрашивает Зарина.

— Отстань ради бога! — сердится мать. — Не мешай! — и, обращаясь ко мне: — Да, да, слушаю тебя, дорогая!

— Я только что отбеседовал с Герасом, — сообщаю, — завтра в девять утра будет машина, поедem к лекарю. Но Зарина до самого отъезда ничего не должна знать, иначе дело может сорваться.

— Хорошо, — слышу, — я поняла, спасибо.

— Спокойной ночи, — прощаюсь, — до завтра.

— До свиданья, родная, еще раз спасибо тебе.

Обласканный, я валюсь на раскладушку, досматриваю

телепрограмму — песни и танцы Острова свободы — и вспоминаю Хетага, который скоро уедет туда, под пальмы, и напишет мне письмо: «Так, мол, и так, живу на Кубе, строю элеватор. А ты как поживаешь?», и точно такое же письмо получат полковник Терентьев и младший лейтенант Миклош Комар, и, может быть, это произойдет в один и тот же день, и мы задумаемся одновременно каждый о себе:

А КАК ЖЕ, СОБСТВЕННО, Я ПОЖИВАЮ?

Встаю, иду в санузел свой совмещенный, умываюсь на сон грядущий, стелю постель, а экран голубой все еще светится, диктор — программу вещает на завтра, но не для меня уже, чувствую, телевизионный уют мой кончился — это была передышка, спячка на ходу, антракт перед следующим действием, — и я не знаю, состоится ли поездка к знахарю, и не знаю, как будет выглядеть в окончательном варианте амортизационное устройство, которое чем дальше, тем меньше нравится мне, и надо будет поговорить с отцом о Таймуразе — пусть женится, улыбаюсь, а то опять муравейник притащит, — и слышится мне голос Васюринна: «Амортизационное устройство находится пока в эмбриональном состоянии» и голос Майи: «У нас любовь», и я задумываюсь с грустью — может, так оно и есть? может, заигравшись, мы прозевали что-то? — и слышу голос Светланы Моргуновой: «В 19.30 мы будем передавать прямой репортаж с первенства СССР по хоккею с шайбой. Играют ЦСКА и СКА «Ленинград», и выключаю телевизор: нет, не для меня эти буллиты, жизненный ритм мой не совпадает с телевизионным. Гашу свет, укладываюсь, ворочаюсь, устраиваясь поудобнее...

Утром в 9.00 выхожу из дому и вижу у подъезда такси. Открываю дверцу, спрашиваю водителя:

— Вы от Гераса?

— Да, — кивает он, пожилой и степенный, — только о нем ни слова.

— Слышал, — говорю, — информирован.

Едем по городу, и я обдумываю, репетирую про себя роль, которую мне предстоит сыграть сейчас в спектакле для единственной зрительницы, которая должна не только принять мою игру, но и сама войти в действие и, мало того, стать главной его участницей, если не героиней, и только это условие определит успех или провал моего представления. Подъезжаем к дому ее, останавливаемся, и я, не зная,

как буду встречен, предупреждаю на всякий случай таксиста:

— Придется подождать.

— Это меня не волнует,— отвечает он. — Машина оплачена на сутки вперед.

Поднимаюсь на третий этаж, звоню, и Фируза открывает мне, и я, исполнитель и действующее лицо одновременно, вхожу, веселый и шумный, здороваюсь жизнерадостно, чуть ли не по плечу похлопываю несчастную женщину, и она глазами показывает мне на дверь — туда! — и я берусь за ручку и вопрошаю громогласно:

— А где Зарина?! — и, открыв дверь, улыбаюсь ей, сидящей в кресле, протягиваю руку, словно мы друзья-приятели: — Здравствуй! — и она растерянно протягивает мне свою, а я, войдя в раж, выкрикиваю нахально-приказным тоном: — Собирайся, едем к знахарю.

— Что?! — изумляется она.

— К знахарю! — повторяю. — К целителю.

— Вот и до этого я дожидаясь,— вздыхает она, а в глазах ее боль, но и надежда в глазах затеплилась, и, уловив это, я дожимаю, не давая ей опомниться:

— Официальная медицина — это хорошо, но народная — лучше! В травах и кореньях, как сказал один мой знакомый, живая сила скрыта!

— К знахарю,— произносит она, словно раздумывая вслух. — А это, пожалуй, интересно.

— Конечно! — ликую. Меня и такой оборот устраивает. — Будет, что вспомнить потом! Живой колдун, привет из доисторических времен!

— А где он живет? — спрашивает она.

— Это не имеет значения! — отмахиваюсь. — Одевайся побыстрее, машина ждет!

— Какой-то вы механизированный,— улыбается она наконец,— всегда вас ждет машина.

И вот уже мы едем, весело, не то, что в прошлый раз, хоть места занимаем те же самые — мать с дочерью сидят сзади, а я впереди, рядом с водителем, сижу и дурачусь, продолжая тему:

— Высшей научной степенью скоро будет не доктор, а шарлатан. Послушайте, как звучит: шарлатан медицинских наук, шарлатан физико-математических...

Мать и дочь смеются, а таксист, глядя на них в зеркальце, укоризненно покачивает головой:

— Зря смеетесь. Этот человек многих поставил на ноги.

А дорога тянется вдоль горного хребта, погода солнечная, и заснеженные вершины блистают в морозном небе, как в рекламном интуристовском проспекте.

— Как давно я не была в горах,— вздыхает Зарина. — Буду ли еще когда-нибудь!

— Обязательно! — восклицаю. — Весной, как только зазеленеет трава, как только распустятся листья на деревьях, я повезу тебя в Куртатинское ущелье, покажу дом своих предков, нашу крепостную баш...

Умолкаю, смутившись, словно фальшивую ноту взяв — ах, повторяюсь я, повторяюсь! — но никто не требует от меня продолжения: вдали показались первые дома, село, в которое мы едем, и все молчат, видя конец пути, тревожась и надеясь.

В Куртатинское ущелье мы ушли — мать, Чермен и я, — когда немцы вплотную подступили к Осетии. Шли, впрочем, Чермен и мать, меня попеременно несли на руках, так мал я был и беспомощен. Но и хоть было мне от роду всего пять месяцев, но в память мою врезались и черная толпа беженцев, бредущих по дороге, и блеянье гонимых овец, мычанье коров и лай обезумевших собак — люди шли в горы, туда, где не раз уже спасались от нашествий.

Слышу — мать вступает, слышу голос ее:

«Ты не можешь этого помнить. Это мы тебе рассказали, Чермен и я».

«Вы и должны были рассказать,— отвечаю. — Ваша память — лишь продолжение о б щ е й памяти».

«Я не хотела уходить из села», — вздыхает она, словно винясь.

«Да,— подтверждаю,— потому что дед решил остаться».

«Норовистый был старик,— улыбается она,— гордый».

«Ты жена красноармейца! — ворчал он, чуть ли не выталкивая ее за порог. — Тебе нельзя сдаваться врагу!»

«А ты отец красноармейца! — упиралась мать. — Если уходить, так вместе».

«Нет! — стоял он на своем. — Не для того я строил этот дом, чтобы всякий, кому захочется, хозяйничал в нем!»

«Хоть ты скажи ему!» — мать пыталась воздействовать на свекровь, на бабушку мою, но та, мягкая и застенчивая даже в старости, лишь улыбнулась в ответ: .

«Что я могу сказать? Где он, там и я».

Не знаю, каким представлялся деду враг, который поровнил вломиться в наш дом — косматым ли дикарем, в звериной шкуре или всадником на косматом коне, — но встретить его дед собирался, как подобает мужчине, хоть башен крепостных на равнине не строят...

Однако врага своего деду не довелось увидеть.

Немцы вошли в село без боя и вскоре ушли без боя, но прежде чем войти, они, словно предчувствуя сопротивление, пальнули разок из пушки, всего лишь раз, для острастки, и единственный снаряд этот разорвался в нашем дворе, возле дикой груши, а дед мой и бабушка собирали в это время падалицы...

Самый крупный осколок попал в саму грушу, но она выжила, только шрам остался на стволе, только шрам, а плоды ее, баловство зеленое, всю войну были нам пищей.

Подъезжаем к невысокому саманному дому, крытому веселой красной черепицей, останавливаемся, и шофер наш, проводник и посредник, выходит из машины и направляется во двор, в дом, и я выхожу, но не иду за ним, а у машины прохаживаюсь, черепицу разглядываю, которой не делают больше: шифером кроют, серостью стандартной. Ждем, и вскоре таксист возвращается и тоном человека, провернувшего нелегкое дельце и чувствующего себя благодетелем, произносит устало:

— Заносите, — поправляется тут же: — Заходите, — но слово сказано уже, и тревога в глазах Зарины сменяется унынием, и, боясь, что она передумает в последний миг, и сожалея о том, что ввязался сам и ввязал ее в эту авантюру, я открываю дверцу и улыбаюсь притворно и приторно, наверное:

— Вперед! На свидание с колдуном!

Беспомощно глянув на мать, Зарина подается ко мне, и я принимаю ее, беру на руки, несу, а Фируза, опередив меня, открывает калитку, придерживает ее, и я вхожу и вижу просторный, чисто выметенный двор, поднимаюсь на крыльцо, на веранду, тоже прибранную и просторную, а мне пучки сушеных трав мерещились, коренья, сухие змеиные головы и летучие мыши, прицепившиеся к черному, бревенчатому потолку, и, поднявшись, вижу хозяина, лекаря-знахаря-шарлатана. Он стоит в глубине веранды,

седоусый и седобородый, чем-то похожий на Урызмага из Барзикау и на моего отца одновременно, стоит, и взгляд его небольших зеленоватых глаз пропигвателен и спокоен.

— Мир дому вашему,— говорю, а Фируза, улыбнувшись просительно и смущенно, добавляет:

— Пусть только счастье переступает ваш порог.

Едва кивнув в ответ, он показывает на дверь, ведущую в комнату:

— Сюда.

Входим — я с Зариной на руках и Фируза следом,— видим высокий деревянный топчан, похожий на стол для массажа, высокий самодельный шкаф у стены и широкую деревянную лавку. Ни совы, ни черепов диких и домашних животных в комнате нет.

— Сюда,— старик показывает на топчан.

Усаживаю Зарину, и, словно потеряв равновесие, она хватается в поисках опоры за край его, за гладкую, до темноты отполированную доску.

Старик кивает на дверь:

— Выйдите. Подождите на веранде.

— Она гимнастка,— торопливо объясняет Фируза,— упала на тренировке, ударилась...

Знает ли он,

ЧТО ТАКОЕ ГИМНАСТИКА?

— Вижу,— говорит старик. — Подождите на веранде.

Мы выходим, усаживаемся на угловатые, самодельные стулья с высокими спинками, ждем, как ждали недавно в больнице и как много раз уже, наверное, Фируза ждала одна — процедуры, консультации, консилиумы,— и она сидит, сжавшись, и смотрит на дверь, а из комнаты слышится глуховатый голос старика, и, неразговорчивый с нами, он не жалеет слов, но о чем он говорит, не различишь — только бу-бу-бу густое доносится и голос Зарины изредка,— и Фируза, прислушиваясь, поворачивается ко мне, смотрит тревожно и вопросительно и спрашивает наконец:

— Он ей поможет? Сделает что-нибудь?

Как будто я знаю!

— Ну, почему это именно с ней случилось?! — стонет она в отчаянии.

(Этот же вопрос она задала мне в больнице.)

Значит, не нашла еще ответа на него, значит,

НЕ СМИРИЛАСЬ.

Голоса в комнате стихают, и теперь мы прислушиваем-

ся к тишине, к каждому звуку в ней, но звуки доносятся лишь извне, со двора, с улицы — курица кудахчет где-то, трактор потарахтывает, — и молчание за дверью настораживает меня, пугает, и сама обстановка — аскетизм самодельный, простота деревянная, — кажется мне зловещей, и кажется, что голые стены, потолок и даже воздух в этом доме источают какую-то неясную, но ощутимую угрозу, и Фируза сидит ни жива ни мертва, и в бездыханной тишине раздается вдруг отчаянный крик Зарины:

— Алан!

Она меня зовет, не мать и не таксиста, дремлющего по шоферскому обычаю в своей машине, и я вскакиваю, с грохотом отбросив стул — на помощь тороплюсь! — врываюсь в комнату и вижу: Зарина, обнаженная по пояс, лежит ничком на топчане и, выгнувшись, смотрит на меня через плечо, а на спине ее, между лопатками, две красные черточки, два надреза, и два надреза на пояснице, по обе стороны позвоночника, и я вижу на углу топчана, у ее ног, поллитровую банку, на три четверти наполненную кровью, сапожный нож рядом с банкой и, сам уже источая угрозу, спрашиваю хрипло:

— Что?!

— Не знаю, — отворачивается Зарина. — Испугалась.

Склонившись над ней, старик — теперь я вижу и его — прижигает ранки йодом — все по науке! — и, прижигая, говорит так спокойно, словно сам кликнул меня, словно я на его зов явился:

— Позови женщину. Пусть поможет одеться.

И подчиняясь, но не словам его, а воле, я выхожу, будто заданную программу исполняя, и говорю Фирузе:

— Войдите. Помогите ей одеться, — и она встает, но, спохватившись, вспомнив о ноже и о банке с кровью, я останавливаю ее: — Не сейчас. Чуть позже.

Надеюсь, старик догадается убрать и то и другое. Бу-бу-бу, снова доносится из-за двери, бу-бу-бу.

Фируза садится, смотрит на меня, не спрашивая ни о чем, ждет, и, не дождавшись, произносит несмело:

— А теперь можно?

— Да, — отвечаю, за себя, за нее и за старика решая, — идите.

Она поднимается, осторожно, словно крадучись, подходит к двери, открывает ее, надеясь еще, но понимая, что чуда не произошло, переступает порог и закрывает дверь

за собой. Я остаюсь один, но одиночество мое длится не-долго. Вскоре из комнаты выходит старик, и теперь уже я смотрю на него, не спрашивая ни о чем, и он отвечает, глядя во двор:

— В больном теле скапливается вредная жидкость. Черная кровь. Чем больше ее, тем лучше для болезни. Если выпустить эту жидкость, болезнь слабеет, сама начинает болеть.

ЕЩЕ ОДНА МЕДИЦИНСКАЯ ГИПОТЕЗА.

— Человек рождается с одним лицом,— продолжает он, помолчав,— но бывает так, что с в о е г о человеку мало. Он ищет другое для себя, лучшее, но пока ищет, настоящего его лицо умирает.

Слушаю и не то, чтобы соглашаюсь, или нет — тут происходит нечто иное: я ч у в с т в у ю его слова и уже о самом себе думаю:

ЖИВО ЛИ МОЕ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО?

— Ей надо родить ребенка,— говорит старик, и, словно сквозь дрему пробившись, я понимаю, что это продолжение, что речь идет о Зарине, о девушке, беспомощно лежащей на высоком деревянном топчане, но речь и обо мне идет — да, обо мне! — и, поняв это вдруг, я восклицаю с непроизвольным испугом:

— Я не муж!

— Тем более,— отвечает он, словно о долге напоминая, о неоплаченном долге.

Уходит в конец веранды и оттуда, повернувшись и глядя на меня, говорит, но уже другим тоном и даже голосом другим:

— Ей станет лучше, но через три недели вам надо снова приехать.

Он говорит, а мне собственный голос слышится, вскрик мой, всхлип беспомощный: «Я не муж!», и постыдная двусмысленность этой фразы отвратительна до содрогания, но сколько раз еще я вспомню и повторю ее, казнясь за подловатое в своей естественности желание уберечься, остаться в стороне — инстинкт самосохранения? — и дело тут не просто в деторождении как средстве исцеления Зарины, нет, в отчаянном вопле своем я улавливаю нечто более общее — готовность участвовать в игре лишь до какого-то р а з у м н о г о предела, до тех пор, пока это ничем не угрожает мне самому, благополучию моему, благоденствию. А старик смотрит на меня, словно насквозь

видит, но все-таки ждет чего-то, и, защищаясь, я думаю, что ему, наверное, надо заплатить, а в кармане у меня восемь рублей с мелочью, все, что осталось до зарплаты, и, озлясь — восемь рублей тоже деньги! — я спрашиваю жестко:

— Сколько мы вам должны?

— Я не беру денег за лечение, — спокойно отвечает старик.

Словно в отместку за позор свой, за суетливость, я продолжаю, интересуюсь с усмешкой:

— А если бы вам предложили миллион?

— Я не беру денег за лечение, — так же спокойно повторяет он. — На хлеб мне хватает.

Стою у кульмана с карандашом в руке, а в голове сумятица, слова, обрывки фраз, карусель бешеная, а на листе амортизационное устройство, общий вид, макетный вариант, но я не вижу его — слышь, Людок?! — скорее оно согладательствует, наблюдает с укоризной, как создатель его на таксомоторе едет, от знахаря возвращается, острит, балагурит, пытаюсь попутчиков взбодрить, но напрасно — не то настроение в машине, ах, не то! — и, отстрелявшись вхолостую, он, то есть я, умолкает и сосредоточенно смотрит вперед, на бегущую под колеса дорогу.

«Спину щиплет», — жалуется Зарина. Она к матери обращается, не ко мне, но услышав, я откликаюсь с готовностью, с напусным весельем:

«Пройдет! — переигрываю, сам чувствую: — Шарлатаны свое дело знают!»

Говорю, не оборачиваясь, боясь взглянуть ей в глаза и надеясь в то же время, что она не слышала моих слов, не разобрала — только бу-бу-бу донеслось до нее, как и до меня прежде, — и, надеясь, понимаю, что это еще одна попытка спрятаться, за кисейную ширму укрыться, голову под крыло засунуть, и понимаю, что никуда мне не деться теперь — сам-то я слышал, вот они эти слова:

«Я не муж».

«Что?» — спрашивает Фируза.

«Так, — отвечаю, — думаю вслух».

Она умолкает, и мы едем, молча приближаясь к дому, к старому креслу, в котором так удобно сидеть, если можно встать с него, когда захочется.

«Зарина,— спрашиваю, пересилив себя,— а что он тебе говорил, наш знахарь?»

«Сразу и не ответишь,— задумчиво произносит она. — Все, что сказал, все правильно».

А горы... Ах, мы не видим их на обратном пути!

Подъезжаем к дому, и таксист, прощаясь, тянется к Зарине и с чувством пожимает ей руку:

«Дай бог тебе здоровья, девочка! Увидишь, лечение тебе поможет. Клянусь матерью».

ОДИН ТАКОЙ УЖЕ КЛЯЛСЯ.

— Что с тобой?— слышу. Это Эрнст подошел, остановился рядом, а я все карандаш в руке держу, на чертеж тащусь. — Ты уже целый час стоишь как истукан. — Не дождавшись ответа, он спрашивает: — Что-нибудь случилось?

— Ничего особенного,— говорю словно во сне,— Таймураз женится.

Эрнст знает его, бывал у нас дома, гостил.

— Ну и слава богу!— говорит он.— Радоваться нужно!

— Отец чего-то уперся,— вздыхаю,— надо поехать, поговорить с ним.

— Что ты за человек?! — возмущается Эрнст. — Раз тебе надо, подойди и скажи! Черта ли молчать, дуться на весь белый свет?

Он поворачивается резко, идет к столу З. В., достает из ящика бланк увольнительной, а я стою и бормочу обескураженно:

— Да не собирался я сегодня...

Эрнст возвращается, сует мне бумажку:

— На,— говорит,— передавай от меня приветы!

— А может, вместе поедem? — спрашиваю вдруг с надеждой.

— А может, весь отдел прихватим с собой? — шурится он насмешливо. — Работа подождет, она не волк, в лес не убежит!

— А никуда бы и не делась,— ворчу.— Подумаешь, созидатели!

Спускаюсь вниз, к вешалочке своей заветной, одеваюсь, предъявляю бойцу ВОХР пропуск, выхожу, свободный, а погода морозная, но солнечная— что-то сдвинулось уже в природе, что-то сдвинулось, — и я иду, не останавливаясь, чтобы не передумать, на трамвае остановку подъезжаю, снова иду, а с крыш вроде бы капает, но сосу-

лек не видно, нет, весной еще не пахнет. На автобусной толчея, как обычно, на то она и станция, но стоять за билетом мне не приходится — слышу из очереди, из самой головы ее радостный взглас:

— Алан! Я уже взял тебе билет!

Это односельчанин мой, ровесник.

— Вместе будем сидеть! — он радуется так, словно подарок неожиданный получил. — Идем, автобус уже отправляется!

И в автобусе односельчане.

— Алан! — ликуют. — Что так долго не приезжал?

— Зайдешь к нам, Алан?

— Смотри, если не зайдешь, обижусь!

Улыбаюсь, пожимаю руки — я и сам рад встрече, но выражать свою радость так непосредственно и шумно не умею, а может, и не умел никогда, — иду по проходу, и ко мне обращены сияющие взгляды, тянутся руки, гам стоит невообразимый, и, когда автобус трогается, я предлагаю насмешливо, но скорее над собой, чем над ними подтрунивая:

— Может, споем на радостях?

— А что?! — отзывается мой сосед и без раздумья затягивает басовито:

Эй, голубка, краса гор...

Так едем мы, шумно и весело, и дорога незаметно подходит к концу — село, прощание с попутчиками, новые встречи.

— С приездом, Алан! — приветствуют меня, будто я с края света вернулся.

— Приходи, вечером будем ждать!

Останавливаюсь, здороваясь со стариками, и они, громоздкие в своих кожухах и величественные, смотрят на меня с напускной строгостью:

— Сын Бесагура? — и добавляют значительно: — Молодец!

Мне рады, меня хвалят лишь за то, что я есть,

ЖИВУ НА СВЕТЕ,

и я оттаиваю понемногу, а вот уже и соседку обнимаю, мать своего одноклассника.

— Как он? — спрашиваю. — Что пишет?

— Ой, далеко он, далеко, — вздыхает она, — на Дальний Восток их перевели... Ты скажи, — допытывается, — это правда, что они и по ночам, в темноте летают?

— Не знаю, — улыбаюсь, — но самолеты теперь хорошие делают.

(Сверхзвуковые, сверхвысотные бомбардировщики — истребители — перехватчики.)

Открываю калитку, ту самую, в которую протискивался когда-то Чермен с вязанкой хвоста за спиной — кинокомедийный трюк, хохот в зале, — и вижу, как два его отпрыска малолетних ожесточенно машут клюшками, в хоккей играют один на один. Увлечшись, они не замечают меня, а я стою, смотрю на них — третье поколение, если считать от моего отца; которое, если считать с н а ч а л а? — смотрю и думаю вдруг с горечью, что не знаю их толком, представления о них не имею. Старший родился, когда я окончил школу и поступил в институт, младший — полтора года спустя, и я общался с ними, приезжая на каникулы — возня, смех, детские восторги и обиды, — и общался, наезжая по выходным из города — ну-ка, покажи свой дневник! — а они росли между тем и вот гоняют себе шайбу, сопят и вряд ли помнят сейчас обо мне, том самом, которого им постоянно приводят в пример: «Алан был отличником, Алан слушался старших», — все в прошлом времени, все в прошлом.

И, глядя на них, я думаю о том, что у деда моего было семеро детей — три дочери и четыре сына, трое из которых погибли на войне, — а у отца было пятеро — две девочки родились после Чермена, и обе умерли в один год от скарлатины: только два камня на сельском кладбище свидетельствуют о кратком их присутствии среди живых, — и род наш, таким образом, отдал свою дань земле. Теперь уже никто не боится скарлатины, и мало у кого сохранились похоропки, черные бумаги прошлой войны, но лишь двое играют в хоккей, представляя наше третье поколение — четвертое? девятое? какое? — и одного из них зовут Бесагуром, а второго называли Аланом, и номинальное бессмертие, как вы понимаете, нам с отцом обеспечено. Но не стоит в воротах, не нападает и не защищается мальчик по имени Чермен, и мальчик Таймураз не орет в кровати, и две девочки не баюкают его, напевая на два голоса колыбельную, и третья девочка не родилась еще — или первая? — которую мы назовем в честь матери нашей...

Словно почувствовав постороннего во дворе, в окно выглядывает, носом к стеклу прижимается Дина, жена Чермена, и, увидев меня, отрывается от стекла, выбегает из

комнаты на веранду, на крыльцо, а мне песня свадебная слышится, ружейная пальба, и это снова из прошлого, и широко открытые ворота тоже, и лица поющих во дворе, и синеватые дымки над ружейными стволами, и белое платье невесты, серебряный с черным пояс, серебряные застёжки, и я стою, оглушенный стрельбой и пеннем, а невеста идет через двор, поднимается на крыльцо — ах, нет! — спускается с крыльца: это на другой день после свадьбы происходит, и она, жена теперь уже, невестка, вышла на рассвете, чтобы подмести, как водится по обычаю, улицу перед своим новым домом. Но откуда морщинки в уголках ее глаз, проседь в волосах?

Когда родится девочка, которую назовут Диней?

— Ты мне приснился сегодня! — рассказывает она. — Я и говорю утром: «Алан приедет». А они не верят: «Он в субботу,— говорят,— обещал. Теперь, если и приедет, то не раньше будущей субботы».

Услышав голоса, юные отпрыски ее приостанавливают спортивное единоборство и, не выпуская клюшек из рук, смотрят на нас, наблюдают.

— Беса! Алан! — окликают их Дина. — Чего стоите?! Не видите, кто приехал?

— Видим,— отвечает за двоих Алан, младший,— но не верим.

— Глазам своим, что ли? — интересуюсь.

— Глазам,— подтверждает Алан.

— Ну, здравствуйте!

Они подходят, протягивают руки — Беса застенчиво, Алан решительно, по-мужски.

— Можете пощупать меня,— разрешаю,— убедиться, что я настоящий.

— Ты так часто бываешь дома,— говорит Дина,— что скоро они вообще забудут тебя.

— Не забудут,— улыбаясь смущенно, говорю я,— память у них крепкая.

Но Дина уже другим занята.

— Вон тот петушок мне нужен,— бормочет,— рябенки... цыпа-цыпа-цыпа!

— Оставь, ради бога,— пытаюсь урезонить ее,— я не голодный.

— Знаем вашу городскую еду,— отмахивается она. — Цыпа-цыпа-цыпа!

— Почему из-за меня он должен лишиться жизни? — уговариваю. — Разве он виноват в чем-нибудь?

— Для того их и разводят, — отвечает она между делом. — Разве ты не знал?

Умолкаю, а петушок уже у нее в руках, и она, легкая, быстрая, уже и за ножом на веранду сбегала и, возвратившись, протягивает мне нож и петушка.

— Ты что?! — отступаю от нее, руки за спину прячу. — Я и в лучшие времена... Я и смотреть на это не могу...

— Все вы на одно лицо, — ворчит она, — что отец твой, что братья. Вы для колхоза, для завода, для школы, а в доме единственный мужчина — это я.

Она уходит с петушком за сарай, а младший сынишка ее Алан устанавливает шайбу, дает мне клюшку и предлагает:

— Пробей, — испытывает, подлец, на что я гожусь.

Размахиваюсь, а ворота — ящик деревянный, поставленный набок, — бью, и шайба летит мимо.

— Не умею, — развожу руками, — мы в хоккей не играли.

— А во что? — интересуется Алан.

— В футбол, например...

— Футбол — это летом, а зимой?

— Разные были игры, теперь их не знают уже.

— Какне? — допытывается он.

— Я и сам не помню...

КОМУ НУЖНЫ СТАРЫЕ ДЕТСКИЕ ИГРЫ?

Алану не стоит на месте.

— У нас счет 18—18, — говорит он. — Можно, мы до первой шайбы сыграем?

— Конечно, — улыбаюсь, — валяйте.

Они спешаются немедленно, а я иду, поднимаюсь на крыльцо, раздеваюсь на веранде, вхожу в комнату, потом в другую, словно знакомясь с ними — телевизор, приемник, современная мебель, модерн геометрический — дом обставлен так же, как миллионы других на необозримом пространстве от Балтийского моря до Тихого океана, от станции Кушка до Земли Франца-Иосифа, и только отцовская кровать осталась с прежних времен, та самая, перед которой причитала когда-то плакальщица — спина мутно-коричневая, позвонки выпирающие, — та самая кровать, на которой отец столько раз перебинтовывал больную ногу и столько раз отлеживался после больницы: да, кровать эта железная —

шары никелированные, никель облезший — стала реликвией, и ни у кого не хватило духа вынести ее, сдать в утиль, на свалку выбросить.

А вот и моя комната, светлая и просторная, и все здесь, как прежде: старый шкаф, старый стол, старый диван, и только авторские свидетельства на стене отмечают ход времени — одно, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, и за каждым из них год моей жизни, или чуть меньше, или чуть больше, и кто знает, сколько их будет еще, прибавится на стене, и появление их связано с тем, что я до сих пор не уверился, что в мире все верно и непреложно, но с возрастом, догадываюсь, становится легче уповать на неизбежность окружающего и тщетность попыток, и если такое произойдет, свидетельств, подтверждающих мою разумную деятельность, больше не появится, и время, таким образом, остановится для меня. Так думаю я и улыбаюсь, понимая, что если это случится все же, то и сам я буду другой, и думать буду иначе — спокойно и правильно.

А отец мой каждый год делает одно и то же:

СЕЕТ И СОБИРАЕТ УРОЖАЙ,

и время его остановиться не может.

Вижу на столе стопку книг, подхожу, разглядываю — это учебники для восьмого, девятого и десятого классов. Но Беса учится только в шестом, Алан в пятом, значит, Таймураз готовится здесь к урокам. Но он преподает естествознание, а на столе история, алгебра, русский язык...

Грохот раздается на веранде, возня, сопенье, дверь распахивается, и в комнату, отталкивая друг друга, вламываются братья-хоккеисты. Первым, конечно, проскакивает Алан.

— Бывают летающие тарелки или нет? — спрашивает он, переведя дух.

— НЛЮ, что ли? — спрашиваю в свою очередь.

— Брат Мурата учится в Москве, в университете, — торопливо объясняет Алан, — и он сказал Мурату, что летающие тарелки бывают, что они...

— Подожди, — останавливаю его, — я ведь не знаю Мурата и брата его не знаю...

— Как не знаешь?! — удивляется Алан. — Он же приходил к нам, когда ты прошлый раз был!

— Кто его отец?

— Джери!

Когда-нибудь я встречу на улице этого самого Мурата,

взрослого уже, и, глядя на него с напускной строгостью, проговарю вспоминая:

«Сын Джери? Ты посмотри, как вырос!»

— Так бывают они или нет? — Беса вступает. — Нам надо точно знать.

Людского общества им мало, они испытывают потребность в инопланетянах.

— Нет,— говорю,— точно ответить я не могу. Достоверных фактов их пребывания на земле...

— Значит, не знаешь? — разочарованно вздыхает Алан.

— Так уж получается,— развожу руками,— ничего не поделаешь.

— А ты кто? — спрашивает он вдруг.

— Как кто? — удивляюсь. — Брат твоего отца.

— Это я знаю! А кто ты по должности?

— Инженер-конструктор,— отвечаю.

— Инженер,— повторяет он, словно цену мне прикидывая.

— А кем ты будешь, когда вырастешь?

Он морщит лоб — интересно, что за работа происходит в бедовой его голове? — и, не вдаваясь в детали, но уяснив для себя главное, объявляет по-русски — для большей весомости, очевидно:

— Я буду шишечкой повыше!

— Ну что ж,— усмехаюсь, обескураженный,— задатки у тебя есть... А ты, Беса,— обращаюсь к старшему,— кем будешь?

— А он, как девчонка! — смеется Алан. — Стихи сочиняет!

Он получает в бок локтем, сам отвечает, я разнимаю их, а с веранды слышится голос Дины:

— Беса! Алан! — приоткрыв дверь, она заглядывает к нам. — Здесь, конечно, где же еще им быть... А ну, собирайтесь, пора в школу! — и для меня уже: — Им во вторую смену.

Мальчишки выходят из комнаты, мы остаемся вдвоем, и Дина говорит:

— Идем, накормлю тебя. Петушок жилистый оказался, не скоро будет готов, но мы придумаем, найдем что-нибудь.

— Да не голодный я,— мне и правда не хочется есть, — сказал же тебе!

— Ты что, до вечера будешь ждать? Отец и Чермен обедать не придут — уехали в райцентр за семенами. Мать

тоже с ними, сестру проведать, давно не была. А у меня выходной, вот и будем пировать вдвоем.

Она медсестра, работает в больнице.

— А мальчишки? — спрашиваю.

— За них не бойся, — улыбается она. — Вон пошли уже.

Смотрю в окно — шагают по улице, портфелями помахивают, обсуждают что-то.

— Ну, идем, — зовет она.

— Дина, — прошу, — лучше бы ты на гармошке сыграла.

— Сыграю, — кивает она, — поедим и сыграю...

И вот уже крепкие пальцы ее бегут по клавишам, и гармошка отзывается — ах, как отзывается она! — и звучат мелодии, которые слышал еще мой дед, и слышали те, что лежат в склепе в Далагкау, и мне вспоминается слепой Урызмаг: «Горы спасли наш народ», а в другой, заимствованной памяти моей волнуется степной ковыль, но те же мелодии звучат, те же самые, только гармошки еще нет, она появится позже, в горах уже, в тесноте скал и крепостных башен, и играть на ней будут женщины, и потому, наверное, столько грусти в этой музыке, столько печали об уходящем времени, о жизни, которая так прекрасна и быстротечна — ах, играй, Дина, играй! — эта музыка, как огонь, но сколько тоски в голосе пламени, стремящегося к концу...

— Тебе приятно играть, — говорит она. — Ты хорошо слушаешь.

— Спасибо, — улыбаюсь в ответ. — Играй еще...

Это болезнь такая,

НОСТАЛЬГИЯ,

хоть от нее, как и от скарлатины, никто уже не умирает.

Потом, когда все вернутся домой и Чермен зайдет в мою комнату, я спрошу его:

«Что это за книги на столе?»

«Учебники», — пожмет он плечами.

«Чьи?»

«Я занимаюсь, — признается он смущенно. — Перед детьми неудобно, скоро больше меня будут знать».

Он помолчит, походит по комнате, постоит у окна и скажет:

«Ты только не смейся»...

«Не буду», — пообещаю я.

«В этом году сдам за десятый класс и пойду в заочный сельскохозяйственный. Колхозу нужен полевод»...

«А если бы не нужен был?» — спрошу, вздохнув.

«Что у вас за привычка с матерью?! — вспылит он. — Смотрите на меня так, будто виноваты в чем-то!»

Усаживаемся за стол, все живые и отец, оставшийся в живых, садимся на привычные места, по старшинству: отец, мать, Чермен, я, Таймураз, Дина, Беса и Алан, взрослые и дети, три поколения сразу — трогательная картинка, если взглянуть со стороны, сбывшаяся мечта,

ЦВЕТЕНИЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА-ДЕ-РЕВА,

но если присмотреться повнимательнее, можно заметить некоторую напряженность в поведении ужинающих: все знают, зачем я пожаловал, и ждут моего слова, и молчат, ожидая, а я все не решаюсь начать, боясь нарушить покой, идиллию, раек взбудоражить семейный, и тоже молчу, и, глядя в тарелку, повода дожидаясь, чтобы вступить налегке, так, между прочим, шутя и посмеиваясь, но не получается у меня, не выходит, и, разряжая обстановку, Чермен, а не я, вступает, говорит, словно к самому себе обращаясь:

— Подморозило к вечеру, еще холоднее стало.

— Да, — подхватываю с готовностью, — такой зимы у нас еще не было.

Жду — сейчас кто-нибудь скажет: «Была в тридцать втором», а я поправлю: «В тридцать третьем», и мы, не споря, придем к соглашению: «С тридцать второго на тридцать третий». Так принято в этом году, так мало-помалу и завяжется разговор.

— Да, — вздыхает отец, — морозы ударили рано, снег выпал поздно, и все озимые померзли. Придется пересевать.

Умолкаю, смущенный, а мать, словно вступаясь за меня, спрашивает:

— Что будете сеять?

— Я же тебе говорил, — отвечает отец, — кукурузу... В эту зиму у меня совсем не болит нога, даже хромать пе-

рестал. — Он улыбается: — Люди могут подумать, что я притворялся все это время.

— Вот и хорошо! — оживляюсь. — Слава богу, что не болит!

— Потому что сухо, очень сухо все это время, — продолжает отец. — Чувствую, и весна будет такая — пропадут хлеба, сгорят.

Ах, я опять промахиваюсь, все в молоко попадаю, в молоко!

— Да, — подтверждает Чермен, — метеослужба дает неважный прогноз.

— Мне и без них все ясно, — отец похлопывает себя по ноге, — мой прибор точнее... Хорошо, если только у нас так, а если по всей стране?

— Раскаркались как вороны! — сердится мать. — Так и правда беду можно накликать!

— Беда уже вот она, — отвечает отец, — озимые-то пропали...

— В этом году, — говорит Таймураз, — если все будет нормально, мы заявим новый сорт кукурузы.

— Кто это «мы»? — интересуюсь.

— Школа, — объясняет он, — все ребята участвовали, от первого до десятого класса.

— Но начинали-то вы вдвоем — Абхаз, Ольгерт и ты...

— Они не обидятся, — улыбается Таймураз, — ту же школу кончали... А вот название я предложил свое. — «Бесагур — I», — он шутливо кланяется отцу, — и никто, заметьте, не был против. Уважают нашего папашу в селе, ничего не скажешь.

Папаша хмурится, но не протестует.

— Сначала дело сделай, — ворчит, — а имена потом придумывай.

— А следующий сорт можно назвать «Алан — 2», — предлагает младший отпрыск Чермена.

— А почему «два»? — спрашивает его Таймураз.

— Чтобы ясно было, в честь какого Алана! — отвечает тот без промедления.

— И в кого он такой уродился? — удивляется, разводит руками Чермен. — Ума не приложу!

— Да-а, — качает головой отец, — в нашем роду таких не бывало, — и, пряча улыбку, спрашивает Дину: — Может, в вашем кто-нибудь был?

— Нет,— отмежевывается она от чада собственного,— и в нашем таких не было!

А может, в меня он пошел, думаю, дядюшку своего продолжает в таком лихом развитии? Это я думаю, а говорю, поддерживая общий тон беседы, но несколько меняя тему:

— Слышал я,— к Таймуразу обращаюсь,— что ты и кроме кукурузы собираешься кое-что заявить?

— Мальчики,— строго произносит мать,— посидели и хватит. Вам пора уже, идите к себе.

— Ну, да,— ворчит, поднимаясь, Алан,— как самое интересное, так мальчикам сразу пора...

Когда они выходят и Дина вслед за ними, я улыбаюсь матери:

— А ты с ними говоришь по-осетински, не то, что со мной.

— Ты знаешь,— жалуется она,— к старости я стала забывать русский. Иногда целый час вспоминаю какое-нибудь слово. А ведь выросла-то я в городе...

Ей было шесть лет, когда погиб ее отец.

Он стоял на плоской крыше своего дома, или сакли, как принято теперь называть их, и выстругивал держак для мотыги, а внизу, во дворе, гомонили, играя, его дети, и, строгая, он поглядывал на них и поглядывал на горы, на вершины их, ослепительно сверкающие в знойном небе. Когда держак был готов, он вытянул его перед собой и прищурился, проверяя на глаз, не кривой ли получился, а в это время внизу, по дороге, вьющейся над бурлящей речкой, скакали всадники, то ли белые, то ли красные, то ли преследовали кого-то, то ли спасались бегством, и, выскочив из-за отвесной скалы, из-за поворота, один из них увидел вдруг человека, стоявшего на крыше и державшего предмет, напоминавший издали старинное кремневое ружье. Решив, что человек этот целится в него, а может быть и ничего не решая, а рефлекторно уже — кто первый?! — всадник рванул из-за спины карабин и выстрелил.

ТАКАЯ ИГРА.

Услышав дальний выстрел и топот копыт, дети выбежали на улицу — может, свадьба, невесту везут?! — и увидели удаляющийся отряд, — все верхом на конях, все в черкесках и в папахах овчинных, — и дети долго стояли и смотрели им вслед, не зная еще, что отца их уже нет в живых и что скоро, через полгода всего умрет от нужды и горя их мать.

Осиротевших детей, трех сестер и двух братьев — один из них погибнет в сорок первом году, второй в сорок четвертом — приютил дядя, двоюродный брат отца, живший в городе. В городе мать окончила школу, потом учительские курсы в Ростове, и ее направили работать в наше село. Днем она учила детей, а по вечерам — девчонка в красной косынке — обучала грамоте взрослых. Называлось это:

ЛИКБЕЗ. (Такие были времена.)

Кто знает, может, на занятия ее ходил и тот человек, что так метко стрелял на скаку.

И ходил на эти занятия мой отец.

А в библиотеку мать перешла уже потом, перед войной...

— Да, — вздыхает она, — и говорить я стала с акцентом, сама слышу.

— Просто слух у тебя обостренный, — утешить ее пытаюсь.

— Нет, нет, — качает она головой, — я знаю.

Сидим некоторое время молча, вспоминая и думая, и, возвращаясь к теме, я спрашиваю Таймураза:

— Подтвердятся слухи о тебе или нет?

— Не заводи этот разговор, — обрывает меня отец. — Я уже все сказал. Сначала должен жениться старший.

— То есть я? — улыбаюсь.

— Да, — отвечает он, — так у осетин принято.

— С каких это пор ты так ревностно соблюдаешь обычай?

— Дело не в обычаях, — говорит отец. — Человек все должен в срок делать. Родиться, повзрослеть, жениться и вырастить детей...

Ах, не укладываюсь я в сроки, не укладываюсь!

— В мае тебе будет тридцать лет, — продолжает он.

— Двадцать восьмого, — подсказываю.

— А ты все прыгаешь, как мальчишка!

Пытаясь отшутиться, я говорю:

— Но вы и сами виноваты. Все книжки мне подсовывали: «Читай, Алан, умным будешь». Вот я и начитался, и у меня сложилось мнение, что жениться можно только по любви.

— У тебя и своя голова есть на плечах! — сердится отец. — Заставь ее работать!

— Тут не в голове дело, — вздыхаю, — а в сердце скорее.

— Пока что у тебя работает только язык!

— Мне и это дается с трудом...

— Все! — завершает отец. — Я сказал! — и, обращаясь к Таймуразу: — Так что придется тебе подождать.

— Я-то готов ждать, — тот смиренно склоняет голову, — но боюсь, как бы у вас не появился незаконнорожденный внучок.

— Ого! — смеюсь. — Уже и до этого дошло?! — поворачиваюсь к отцу: — Вот тебе и обычай, вот тебе и сро...

Договорить мне не удастся — лязг, звон, подпрыгивают тарелки, опрокидываются чашки — отец, такой сдержанный обычно, ударяет кулаком по столу. Сидит, побагровевший, силится что-то сказать, но так и не сказав ничего, машет рукой, встает из-за стола и уходит к себе.

Молчим, потрясенные. Мать, закрыв лицо руками, шепчет:

— Какой позор...

— Встань, — говорит Чермен Таймуразу, тихо говорит, но так, что не ослушаешься, — иди к себе.

— Ну и семейка, — ворчит Таймураз, уходя, — пещерные люди...

— А все из-за тебя, — вздыхает Чермен, не глядя в мою сторону, — все из-за тебя.

— Ну, что мне, застрелиться, что ли?! — выкрикиваю в отчаянии. — Всегда и во всем я виноват!

— Никто тебя не винит, — он улыбается вдруг, — чего ты разорался?

Выждав немного, дав отцу поостыть, Чермен встает и отправляется в его комнату. Чуть погодя за ним следует мать. Я остаюсь один, сижу у разоренного стола, не зная куда податься, и в конце концов тоже иду к отцу, приоткрываю дверь, вхожу боязливо — как бы не выдворили! — и останавливаюсь у порога.

Отец сидит на железной своей кровати, мать и Чермен рядом на стульях — судья и народные заседатели, — и у них идет совещание, и я присутствую на нем без права голоса.

— Они учителя, — говорит Чермен, — нельзя, чтобы по селу пошли сплетни.

— Да, — соглашается мать, — люди должны уважать их.

— Значит, надо готовиться к свадьбе.

— Да, — кивает мать, — надо.

— Недели две нам понадобится, не меньше.

— Да, — вздыхает мать, — больше и нельзя.

— Значит, через две недели свадьба, — заключает Чермен, вопросительно глядя на отца, но тот молчит, словно все это его не касается.

— Через две недели, — мягко, но настойчиво повторяет Чермен.

— Живите, как вам нравится, — отвечает отец.

ТАКОЙ ПРИГОВОР. (Обжалованию не подлежит.)

— Все уладится, все будет хорошо, — говорит Дина, но разговор этот происходит не вечером, а рано утром. Отца и Чермена дома уже нет, и мать ушла с ними, какое-то дело ей срочное вспомнилось, а может, и нет его, этого дела, а просто отца проводить ей захотелось, успокоить его хоть немного, и я сижу, завтракаю в одиночестве — Таймураз и дети еще не встали — и представляю себе, как они идут втроем, хмурые, немногословные, и снег скрежещет под их ногами.

Встаю из-за стола, одеваюсь, к автобусу торопясь, а Дина сумку, набитую доверху, тащит — продукты, дары приусадебного участка.

— Не возьму! — отмахиваюсь. — У меня магазин рядом с домом!

— Знаю я ваши магазины!

— Что ты можешь знать? — поддразниваю ее. — Де-ревенщина!

— Знаю, что мать сидит по вечерам и думает: «Как он там один? Не голодный ли?»

— Все равно не возьму! — упорствую. — У меня уже не квартира, а склад ваших сумок! Хоть бы приехал кто-нибудь, забрал.

— Сам привезешь, — улыбается Дина. — Заодно и эту. — Становится в дверях: — Без нее я тебя не выпущу.

— Перестань! — сержусь. — На автобус опоздаю!

— А мне-то что? — пожимает она плечами. — Я о своем беспокоюсь.

— А мы еще гадаем, — ворчу, — в кого он такой уродился, Алап твой, сыночек любимый. В тебя он весь, в маменьку свою настырную.

— Беспокоюсь я о нем, — вздыхает Дина. — Что из него получится?

— Вот так и обо мне говорили, — усмехаюсь невесело, — а что из меня получилось, до сих пор не могу понять...

Шагаю по улице, сумкой помахиваю, а в домах окна све-

тятся, село проснулось, село живет. Голоса, лица знакомые...

— Здравствуй, Алан! Давно приехал?

— Уезжаю, — говорю, — уезжаю.

— А к нам чего не зашел?

— А к нам почему?

— Забываешь своих, забываешь.

— Зайду, — обещаю, — до свиданья.

А впереди автобус, сизый дымок из выхлопной трубы...
Скрежещет снег под ногами.

А вот и город, северная окраина его, пятиэтажные дома — близнецы унылые — и пасмурное небо над ними, день оживающий. Иду по тротуару — автобусная станция уже позади, трамвайная остановка впереди, а на часах без четверти восемь, но я договорился с Эристом, что приду попозже, знал, что сумку придется завезти домой — не на работу же с ней тащиться! — иду и вижу: тетя Паша стоит на углу, цветами торгует, крохотными букетиками, завернутыми в газетные кулечки. Присматриваюсь — это подснежники.

Значит, пригрело все же где-то, подтаяло!

Мне вспоминается стрельбище, мишень фанерная, и Миклош Комар в сапожках хромовых, в шинельке ладной, и где-то в Закарпатье ждет его невеста Магда, и безымянная женщина с чужим ребенком ждет его здесь, в городе — как недавно все это было и как далеко унеслось в прошлое! — и вспоминается мне тяжкий лет журавлей над замороженной землей, оцепенело вытянутые, окостенелые ноги их, усталое ворочанье крыльев...

Где они теперь, те журавли?

— Доброе утро, тетя Паша, — здороваюсь, проходя мимо.

Она вскидывает голову, смотрит на меня из-под надвинутого на лоб платка и отводит взгляд, не узнавая, а торгуя ее идет бойко, нарасхват, и, пройдя несколько шагов, я останавливаюсь вдруг и возвращаюсь, становлюсь в быструю, веселую очередь и догадываюсь — это для Майи, и уже по инерции стою — подвигаюсь, разочарованный: она воспримет мой дар как продолжение занимательной игры.

У НАС ЛЮБОВЬ.

Иду — сумка в одной руке, букетик в другой — и знаю, что цветы останутся у меня дома. Будут на телевизоре стоять или на столе. Надо концы подрезать, соображаю, таблетку пирамидона в воду бросить...

Иду и слышу простуженный голос тети Паши:

— Па-а-адснежки весенние! Па-а-адснежки!

Иду по коридору, в туалет, прошу прощения, направляюсь, а перпендикулярно мне, по коридору административного крыла к тому же пункту приближается З. В., и на углу, у двери с буквицей «М» наши пути пересекаются.

— Здравствуйте! — восклицаю, растерявшись и обрадовавшись почему-то, и — вырвать бы язык мой! — добавляю: — Давненько не виделись.

— Здравствуйте, Алан Бесагурович, — он протягивает мне руку. — Как ваши дела?

НАЧАЛЬСТВО И В ОТПУСКУ НАЧАЛЬСТВО.

Мы отходим к противоположной стене, к окну — родные люди, встретившиеся после долгой разлуки, — и нам бы о жизни поговорить, новостями обменяться, а он спрашивает сухо и официально:

— Как подвигается работа?

(Амортизационное устройство, макетный вариант.)

— Стараюсь, — говорю, — общий вид почти готов.

— Так быстро? — удивляется он.

— Да, — улыбаюсь, а мне бы этот лист сорвать с доски, в стуpe истолочь, на туалетную бумагу переработать, — вы знаете, как-то легко идет.

— Ну, и прекрасно, — кивает он и спрашивает вдруг: — А чем вы недовольны?

Ах, научился он все же улавливать оттенки моих речений!

— Не знаю, — мнусь, — машина запущена, ее уже не остановишь...

— Боятесь, что устройство окажется недееспособным?

— Нет, — отвечаю, — действовать-то оно будет.

— Так в чем дело? Вы ведь так настаивали...

— Я? — говорю. — Настаивал? Нет, — говорю, — к сожалению, в этом меня не обвинишь.

— А Эрнст Урузмагович? — интересуется З. В. — Какое у него складывается мнение?

— Ему нравится, — отвечаю, — А и Б сидели на тру-

бе. Как и вам, впрочем, — усмехаюсь. — Вы же не зря отстаивали его на техсовете.

— От кого? Никто и не выступал против вашего амортизационного устройства.

— Но вы же сами были против!

— Да, — соглашается он. — и у меня была на то причина.

— Какая?

— Достаточно веская.

— Я с детства обожаю тайны!

— А я обожаю их хранить, — улыбается З. В.

— А все же?

— Вы знаете, — говорит он, меняя тон, — я много думал о вашей идее и сделал кое-какие выводы, если вам интересно...

— Конечно, — киваю, — сгораю от любопытства!

З. В. улавливает насмешку:

— Будьте попросту, — хмурится. — Зачем этот выпендраж?

— Простите, — склоняю голову, — больше не буду... Я слушаю вас.

— Сама идея взрывообразования хороша, — говорит он, — но ваше амортизационное устройство, несмотря на внешнюю элегантность конструкции, еще не решение. Это попытка, не больше, первый шаг... Вы понимаете меня?

— Да, — усмехаюсь, — это эмбрион, как сказал Васюрин, хоть и имел в виду нечто другое.

— А что именно?

— А это уже его тайна, — вздыхаю: — Только у меня нет тайн, по штату не положено.

Пропустив мимо ушей мой вздох, З. В. продолжает:

— Пока что у вас получается, как получилось бы с колесом, если бы, изобретя его, человек остановился на тачке и никак больше не пытался его использовать.

— Образно, — хвалю, — приятно слышать.

Но и обидно, надо признать, хоть я и предполагал, что отношусь к таким вещам спокойно. Амортизационное устройство, дитяtko мое последнее, кажется мне незаслуженно обиженным, и если раньше я и сомневался в нем, и тревожился даже, как вы помните, то теперь, защищаясь, достоинства в нем ищу и нахожу, представьте, могу перечислить, если хотите, и, открывая счет и первый палец загибая — раз! — вдруг слышу голос матери: «Как-то не

так я тебя воспитывала, раз ты получился такой», и думаю о том, что если бы с теми же словами к ней явилась соседка: «Как-то не так воспитала ты своего Алана», мать напруглась бы и нашла, пожалуй, две-три положительные черты в сыночке своем незадачливом, и следовательно, и в амортизационном устройстве, которое он придумал, и, размышляя об этом, я посмеиваюсь про себя, и мне становится понятен

ВЕЛИКИЙ ГУМАНИЗМ ПОДХАЛИМАЖА.

— Ну, и что вы предлагаете? — спрашиваю.

— Ничего, к сожалению, — разводит руками З. В.

— Жаль, — говорю, — а то потрудились бы на паях.

— Нет, — качает он головой, — больше нам не придется работать вместе.

— Почему? — интересуюсь. — Или это тоже тайна?

— Документы собираю, — отвечает он, — ухажу на пенсию.

Из-за меня?! — мелькает мысль.

— Вы шутите? — спрашиваю.

— Рад бы, — отвечает он, — но вы ведь знаете, с чувством юмора у меня неважно.

— Не разыгрывайте! — сержусь. — Не то настроение!

— Ухажу на пенсию, — повторяет З. В., и я бы на его месте не преминул добавить: «Вы довольны, надеюсь?», но он говорит проще: — Вот и все.

Вот и добежал он до последнего своего промежуточного финиша, и пришла пора сдавать казенный инвентарь: должность, словосочетание, определяющее его лицо — начальник конструкторского отдела, — и, облегченный, он выйдет на заключительную прямую, а там, в конце ее Костлявая ждет, секундомер выключить готовится. Но до щелчка еще, до остановки стрелок З. В. уйдет из моей жизни — только воспоминания останутся, эфир летучий, — и уход его подвинет меня вперед в той очереди, к концу которой он приближается, и я готов вешалки конструировать, стеллажи и печи для сжигания отходов, лишь бы восстановить то плавное течение времени, которое зовется постоянством, и готов сказать об этом вслух, но знаю:

ОН НЕ ПОВЕРИТ МНЕ.

И выходит на последнюю прямую полковник Терентьев, пистолет сдает, кобуру кожаную, но мундир оставляет при себе, погоны золотые, звездочки пятиконечные, оставляет как утешение, как память вещественную, как признак не-

окончательности — полковником он был, полковником и останется, разоружившись; но к славному его званню, к созвучию внушительному, прибавится канцеляризм некий, синоним слова «бывший», определеннице смурное — в отставке.

ПРОШЛОЕ ПРИ ВСЕХ РЕГАЛИЯХ.

А отец мой в ритме самого времени сеет и собирает хлеб, и он никогда не занимал никаких должностей, и ему нечего сдавать — казенного инвентаря за ним не числится.

(Когда-то, в славные доисторические времена, у осетин считалось неприличным доживать до старости, и пенсии, естественно, не назначались, и более того: доживших с помощью петли-удавки переправляли в лучший мир, или в Страну мертвых, как это называлось тогда, и делали это с чистой совестью, полагая, вероятно, что там существует широкая сеть домов для престарелых. Теперь же по горам и долам бродят геронтологи-подвижники, заносят в блокнотики фамилии долгожителей и на примере их призывают всех остальных не есть, не пить и не курить, чтобы прожить как можно дольше.

Но пока геронтологи поют гимны, восславляя здоровую и счастливую старость, в тихих конторах, оснащенных кондиционерами, в креслицах мягких сидят чиновники в сатиновых нарукавниках, сидят, на счетах щелкают, урожай будущей войны подсчитывают, и, представьте, не таким уж и большим он ожидается — лишь каждый десятый погибнет, а девять останутся жить. Но это в глобальном масштабе, это

ГЕРОИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ,

а меня, простите, еще и с е н т и м е н т а л ь н ы й интересует: что будет с осетинами, которые и не помнят уже о петле-удавке? Слишком уж мизерная цель мы, нас ведь чохом можно, всех сразу, невзначай, одной Бомбы на весь народ хватит. Взорвется, и плакали ваши расчеты, господа чиновники, никого не останется. Был народ — и нет его.

А в мире и кроме нас немало таких целей...

А может, договоримся по-другому? Может, не каждого десятого следует убить, а одну десятую в каждом? А девять десятых к а ж д о г о пусть себе живет, если сможет.

ТАКАЯ АРИФМЕТИКА.

Правда, геронтологам в этом случае делать уже будет нечего...)

— Тянулся я за вами, молодыми, сколько мог, — говорит З. В., — но, чувствую, выдохся уже, мешаю.

— Да вы устали просто! — спорить пытаюсь. — Используйте свой очередной профсоюзный, отдохните как следует, и все придет в норму!

— Не устал я, — качает он головой, — отстал. Знаете, почему я был против вашего амортизационного устройства? — усмехнулся: — Вы ведь любите тайны?

— Любил в детстве.

— Потому что не понял принцип его действия. Не дошло до меня, а когда дошло, я выступил на техсовете... Вот и вся тайна.

— Плевать, — говорю, — на это устройство. Хоть бы его и не было вовсе.

— Не скажите, — отвечает З. В., — придумано оно здорово. Но я бы посоветовал вам еще над ним поработать.

— Да, — обещаю, — конечно.

Он протягивает руку, прощаясь:

— Желаю удачи.

А я что могу ему пожелать?

— Всего хорошего, — говорю, — до свиданья.

Возвращаюсь в отдел, иду к своему кульману, к доске, к листу наколотому, к готовальне раскрытой, к карандашам заточенным, к сиденью винтовому, раскручиваю его до отказа вверх, взгромождаюсь, сижу, как филин, нахохлившись, и снова дверь с буквицей «М» вижу, возле которой мы словно свидание назначили — постояли и разошлись, — и голос З. В. слышу:

«Как ваши дела?»

И вопрос этот обретает высокий смысл, и в ответ на него надо сказать что-то главное о себе, и я слышу голос свой, глуповато-насмешливый.

«Стараюсь. Общий вид почти готов».

И слышу имя свое:

Алан!

Это Эрнст подошел.

— Ну? — отзываюсь нехотя. — Что случилось?

— Чего ты мрачный такой?

— Явился, — ворчу, — мысль спугнул.

— Значит, пустая была, дельную не спугнешь.

— Это теперь никто не узнает. Пропала мысль.

— Слушай, — спрашивает он, — можешь дать что-нибудь в детализовку? Шестая группа освободилась, они хоть сейчас готовы приступить.

— Нет, — отвечаю, — закончу общий вид, тогда и будем детализовать.

Но от Эрнста так просто не отделаешься. Протерев очки, он утыкается в чертеж и объявляет радостно, словно рубль нашел:

— Вот, пожалуйста, стапину можно делать! На калечку перенесем — и вперед! А вот еще узелок! И еще!

— Я тебе такое могу сказать, что ты сразу об узелках забудешь.

— Ну? — он отрывается от чертежа.

— З. В. на пенсию уходит.

— Мог бы и пораньше уйти, давно пора.

— Ты знал? — спрашиваю.

— Конечно. Мы уже решили — преподнесем ему цветной телевизор, заслужил старик.

— Слушай, — говорю, — ты бездушный какой-то, железобетонный.

— А ты, видно, и не слыхал никогда, что люди на старости лет уходят на пенсию, а некоторые, я извиняюсь, даже умирают!

— Не слыхал, — отвечаю. — За то время, что я работаю, никто у нас в отделе не ушел и не умер, слава богу.

— Ладно, — отмахивается он, — хватит сопли распускать. Тебе ли по нему убиваться?

— Да я не в том смысле...

— Зато я в том! Он изжил себя, твой З. В., отделу от него никакой пользы уже, мягко говоря.

— А кто будет вместо него?

— Не знаю, — отвечает Эрнст. — Ходят слухи, что Васюрин нам кого-то подыскал. Из Нижнего Тагила человек...

Или из Вышнего Волочка.

ЧЕЛОВЕК СО СТОРОНЫ.

— Белиберда какая-то...

— Да, — соглашается Эрнст, — пакость.

Будь моя воля, я бы не по стор он не го кого-то, а именно его, Эрнста, сделал начальником отдела. Однако воли моей не так уж много, а по мнению директора, догадываюсь, он слишком молод еще, несолиден:

НИКТО НЕ НАЗЫВАЕТ ЕГО ПО ИМЕНИ-ОТЧЕСТВУ.

— Смотри, — улыбается Эрнст, — рабочий класс тебя требует.

Приоткрыв дверь, в отдел заглядывают, машут мне, вызывая, Алан и Габо.

— Заходите! — рывкаю, подбадривая их. — Смелее!

— Тише, ты! — шикает на меня Эрнст. — Люди работают!

Алан и Габо продолжают махать мне — через порог не переступают, стесняются.

— Иди, — говорит Эрнст, — а мы тут с твоего позволения станину перенесем на кальку.

— Может, я сам перенесу? — морщусь.

— Иди, — подталкивает меня Эрнст. — Ничего чертежу твоему драгоценному не сделается.

Выхожу, пожимаю мозолистые руки трудящихся.

— Ну, — говорю, — рассказывайте!

— Здесь? — мнется в нерешительности Алан. — В коридоре?

— Пошли в отдел, — предлагаю.

— Нет, — упирается он, — надо найти такое место, чтобы никого там не было.

Задумываюсь, но ничего придумать не могу. На предприятии таких мест нет — ни уголков укромных, ни комнат уютных — не для того создаются промышленные предприятия. Разве что кабинет директора, улыбаюсь про себя, если его самого попросить выйти на минутку. Но директор может и не согласиться...

Заглядываю на лестничную клетку, в клуб наш пресловутый, но там коллеги мои, конструкторы-краснобаи сидят — фиеста продолжается! — сидят и, слышу, о гравитации толкуют, о медитации и левитации.

— Идем, — говорю, — единственное место — это чердак.

Поднимаемся по лестнице, и сидящие на ступеньках ворчат, пропуская нас, и, конечно, треп заводят:

— Куда путь держите, странники?

— Неужто на чердак?

— Они там самогонный аппарат монтируют!

— Нет, — отвечаю, — собираем прошлогодние ласточкины гнезда. Будем суп варить из ласточкиных гнезд.

— А подают его в бутылках?

— Дадите хлебнуть?

— Придет новый начальник, — обещаю, — тогда и хлебнете.

— Ой, как страшно!

— У нас зарплата слишком маленькая, чтобы чего-то бояться!

Смеюсь, вспомнив, как Алан-2, племянник мой, спросил однажды за столом:

«А что такое — безвременная кончина? Я в газете прочитал»...

Таймураз, просветитель великий, ответил, не задумываясь:

«Так пишут, когда умирает человек, у которого был большой оклад».

Открываю скрипучую, обитую жестью дверь, мы входим в полумрак — пыль, прошлогодняя паутина, — и я говорю:

— Вот вам и тихое место.

Алан достает из кармана листок, разворачивает его и подает мне. Смотрю — эскиз какой-то. Рацпредложение? Но я уже помогал ему оформлять рацпредложения, и, занимаясь этим, мы никогда не забирались на чердак. Приглядываюсь — нечто странное начерчено, не имеющее отношения к нашему производству — транспортное средство некое, коляска, попросту говоря.

— Ты извини, — говорит Алан, — я еще не узнал, где живет тот старик, лекарь. Помнишь, я обещал?

— Да, — киваю, — то ли в Зарамаге, то ли в Хумалаге... Спасибо, мы уже были у него.

— Ну и как? — спрашивает он.

— Никак, — пожимаю плечами, — хоть старик сам по себе и занятый.

Вот и проясняется все понемногу — колясочка-то для Зарины. Но и для меня отчасти, для полноты восприятия, для ощущения многомерности окружающего мира. «Я не муж» — слышу голос собственный и бормочу в задумчивости:

— Значит, коляска?

— Жалко девчонку, — говорит Алан. — Скоро весна, а она ни солнца не увидит, ни свежего воздуха...

— Ни того, ни другого, — подтверждаю задумчиво. — А коляски разве не продаются?

— Не такие, — отвечает он. — На этой можно спускаться и подниматься по лестнице. Видишь?

Подношу чертеж к свету, падающему через люк чердачный, к оконцу мутному, разбираюсь в замысловатой механике: коляска имеет две ходовые системы — может катиться, как ей и положено, но может еще и шагать.

— Значит, уселся прямо в квартире, — вздыхаю, — и посредством ручного привода двинул на прогулку.

— Да, — отвечает Алан, — и точно так же возвратился.

БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ.

Представляю себе — вот я усаживаюсь и, двигая рычагами, выкатываюсь из квартиры на лестничную площадку, поворачиваю маховичок, включая шагающие системы, и начинаю спускаться, и люди, идущие навстречу, останавливаются и, пропуская меня, жмутся к стене, ждут терпеливо, а коляска, насекомое железное, с неуклюжей медлительностью выставляет телескопические ноги — одну, вторую, третью и так далее, — и, двигая рычагами, я как бы вижу себя со стороны — бледное, напряженное лицо, капельки пота на лбу, — и вижу сострадание на лицах ждущих, и нажимаю на рычаги, стараясь избавиться от всего этого, и ноги железные нехотя ускоряют шаг, и еще ускоряют, и коляска покачивается на ходу, перекашивается, поскрежетывает, и люди смотрят на меня с тревогой, но ничего не говорят, а я еще нажимаю, как заведенный работаю, стараясь не видеть себя и никого не видеть, и ноги, копытца кованые, мелькают, постукивают — дробь барабанная! смертельный номер! — и одна из них оскальзывается со скрежетом, за ней вторая, третья и так далее, и коляска рушится вниз, скачет по лестнице, и я вываливаюсь и ребрами считаю ступеньки, лбом и носом считаю и, закончив счет, лежу бессильный, и люди бросаются ко мне, поднимают и несут, причитая, домой, туда, откуда я так чудесно выехал только что (без посторонней помощи), и следом коляску приносят, целую и невредимую, хромированную, никелированную, блестящую, и блеск этот убивает во мне надежду на будущее, обращает ее в прах...

— А на лифте разве нельзя спускаться? — спрашиваю.

— Проверено, — отвечает Алан. — В современные лифты никакая коляска не входит.

— Да-а, — говорю, разглядывая эскиз, — придумано-то хорошо, но чтобы привести в движение этот вездеход, нужно две-три лошадиных силы.

— Вот ты и подумай, подправь, что нужно, а мы у се-

бя в цеху раскидаем каждому по детальке и все сделаем. Люди у нас хорошие.

— Это уж точно, — улыбаюсь.

«Сынок, — скажет директор, — если мы можем помочь человеку, значит, должны помочь».

Ах, не коляска ей пужна, ей на ноги встать надо!

— Люди-то хорошие, — повторяю задумчиво, — но как сказать об этом девушке? Как преподнести ей такой подарок?

Алан удивленно смотрит на меня.

— Не знаю, — признается, — я не подумал...

— Боюсь, не добьет ли ее эта коляска?

— Не знаю, — он достает сигареты и закуривает, нарушая правила пожарной безопасности. — Тут не поймешь, что лучше, а что хуже...

— Че вы кисляки мочите?! — вступает Габо. — Че нитки — прозолки мотаете?

— Что такое «кисляки»? — интересуюсь.

— Чего киснете, значит, — переводит он для беленькой овечки. — Давайте ее адрес, я сам крючок закину!

— Замолчи, ради бога! — словно отдушину найдя, набрасывается на него Алан. — Дед к ним приехал из села, — рассказывает он возмущенно, — месяц уже живет. Вчера я прихожу вечером, спрашиваю: «Где Габо?», а дед и отвечает: «Гуляйт поканал», и гордо так на меня смотрит, думает, что по-русски говорит...

— Неплохо, — киваю, — можно в цирке с этим номером выступать. Весь вечер на арене дрессированный дедушка.

— Ты че?! — кидается ко мне Габо. — Че деда цепляешь, че натягиваешь?!

То есть нарываешься на драку (для беленькой).

— Не прыгай, — говорю, — смотри, какую пыль поднял.

Он останавливается, смутившись.

— Ладно, — говорит, — я тоже, конечно, виноват, но и ты тоже...

— Все виноваты, — усмехаюсь, — значит, никто... И уж совсем не виноват дедушка.

ВЕЛИКИЙ ПРИНЦИП ВСЕПРОЩЕНИЯ.

— Что будем делать с коляской? — возвращается к теме Алан.

Молчу, задумчиво развожу руками.

— Нам хорошо рассуждать, — говорит он, — мы на ногах стоим. А девушка лежит, и какие у нее мысли, мы не знаем.

— Да, — соглашаюсь, — возможно, она думает иначе.

— Может коляска, и нужна ей...

— Может быть...

— Ну и поговори с ней, — настаивает Алан. — Не напрямик, конечно, а тонко, издали... Что я болтаю, как баба?! — взрывается он вдруг. — Нечего из нее одуванчик делать! Ей сила нужна! Хорошо, если встанет, а если нет?! Жить-то все равно надо!

Жить все равно придется...

Когда страсти на чердаке поутихли, Габо произнес задумчиво:

«Все, — сказал и сплюнул себе под ноги, — завязываю».

«Шнурки от ботинок?» — заинтересовался Алан, друг его задушевный.

«Сам знаю что!» — обиделся Габо.

«Не быкуй», — успокоил я его и объяснил Алану: — Он хочет начать новую жизнь».

«Новую или старую, не знаю, а попкой больше не буду!»

«Куда ты денешься?!» — усмехнулся Алан.

«Сказал — значит, все! — вспыхивает Габо. — Клянусь матерью!»

ДВОЕ ТАКИХ УЖЕ КЛЯЛИСЬ. (Таксист-клятвеннопреступник и таксист, который возил нас к знахарю.)

«А если бы со мной такое? — озадаченно вздохнул Габо. — Отбей мне ноги — и все, ни на что я не го-жусь»...

Ах, вон откуда ветер дует!

«Тебя хоть убей, ничего не изменится, — утешил его Алан. — Пустое место было, пустое и останется!»

«Поживем — увидим», — неубедительно пообещал Габо.

Старые позиции он сдал, а новых не подготовил.

Собираюсь к Зарине, но происходит это не в тот же день, и не на следующий; а подснежники живы еще, лишь привяли чуть, и я достаю их из стакана, в котором они стояли, вытираю стебли полотенцем, кладу в портфель, а там бутылка вина лежит, «Напареули», если вас интересует — купил, возвращаясь с работы, а вот подснежников се-

годяшних не нашел: то ли тетя Паша торговлю прикрыла, то ли весна приостановилась, — и джентльменский набор, таким образом, готов — цветы и вино, и я сам при галстукке, — и остается надеть пальто и тронуться в путь. (Но не в колясочке шагающей, отнюдь, она лишь повод для движения.) Я обещал Алану поговорить с Зариной, и с л о в о подталкивает меня, направляя туда, куда и без повода мне следовало бы явиться или позвонить хотя бы, о здоровье справиться — ведь это я подвел Зарину под нож знахаря и, следовательно, должен отсечь за последствия, — и я готов, пожалуйста, снимать трубку, номер набираю, а в голове уже и разговорчик предстоящий складывается, простенький такой, но занимательный

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР.

«Здравствуй, — скажу. — Как поживаешь?»

«Прекрасно, — ответит она. — Лежу парализованная».

«Пустяки, — скажу. — Пройдет».

«Надеюсь, — ответит она. — С твоей помощью»...

А дальше? Что же ты на трех цифрах остановился? Номер-то пятизначный! Не получается, передумал? Но почему же ты снова идешь к аппарату? Снимаешь трубку, кладешь, снимаешь, кладешь...

Ах, стыдоба-стыдобушка!

Но ты не отчаивайся, Алан, я тебя выручу. Укрою, успокою, убаюкаю. Вот тебе

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ,

попроще и посимпатичнее.

В недавнем прошлом, век-полтора назад, считалось, что преступника неукротимо влечет на место совершенного злодеяния, и полицейские того времени, ламбродзианцы, как правило, люди малообразованные и суеверные, устраивали засаду, трубки покуривали, спиртное потребляли и в кустиках ли, в домике ли вымороченном сидели себе и спокойноенько дожидались, зная, что преступник заявится рано или поздно, и тот, детина узколобый с квадратной челюстью, с выступающими надбровными дугами и глубоко запавшими глазками, догадывался, что его ждут, и сколько мог откладывал свой визит, но какая-то фатальная сила подталкивала его, лишая сна и покоя, и настрадавшись вдоволь, измученный бессонницей, истерзанный угрызениями совести, он поднимался в конце концов и в полночь, в час мисти-

ческий, тащился, словно на свидание, туда, где трубочки покуривали, спиртное потребляли, и, увидев полицейских, падал на колени и, жутко рыдая, признавался во всех своих грехах и даже наговаривал на себя лишнего. Теперь же, в наш просвещенный и комфортабельный век, почувствовав тревогу в душе, вы можете явиться в отделение милиции по месту жительства и сделать соответствующее заявление, а если не хочется идти пешком, или погода ненастная, можно позвонить, и к вам придут молодые вежливые люди, внимательно выслушают вашу исповедь и отвезут вас куда следует.

Но если в обслуживании наметился явный прогресс, то побудительные мотивы — угрызения совести и душевная тревога, бессонница и маста — претерпели не столь значительные изменения, и суть их осталась прежняя.

Вот и неможется тебе, Алан, и милиция тут не поможет, потому что стоит на страже Закона, а ты, как известно, не нарушал и не преступал, да и челюсть у тебя недостаточно квадратная, и вины твоей — всего лишь фраза неосторожная, которая, кстати, вполне справедлива: ты не муж Зарины и никогда им не был, и в этом легко убедиться, перелистав книгу записей во Дворце бракосочетаний, и, следовательно, тебя тревожит не буквальный, а другой, скрытый смысл этой фразы, а его-то, смею утверждать, ни знахарь, ни Зарина не уловили, да и дело тут не в словах, сколько бы значений они не имели, а в том, что ты открыл в себе неведомое прежде свойство:

СПОСОБНОСТЬ К ОТСТУПНИЧЕСТВУ,

и, таким образом, если вежливые люди и придут за тобой, то перед ними встанет нелегкая задача — увозить тебя нужно не всего целиком, а частично (одну десятую, может быть? а девять десятых пусть себе живут, если смогут?), но процедуры такого рода органами правопорядка не производятся, и, значит, очищаться тебе придется с помощью давно уже освоенной системы самообслуживания.

Предлагается два варианта:

1) если Зарина не слышала твоей фразы либо не уловила ее сокровенного смысла, ты можешь считать, что ничего не говорил, и жить спокойно;

2) если же она слышала и уловила, тебе следует явить-

ся к ней с повинной, облеченной в общеупотребительную форму:

Я БОЛЬШЕ НЕ БУДУ.

(Если положить эти слова на музыку, может получить-
ся теплая и ласковая
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОВЕСТИ.)

А мальчика мы назовем Черменом, и он продолжит те-
бя самого, и старшего брата твоего, и отца, и деда, по-
гибшего возле дикой груши, и тех, чьи останки покоятся
в вашем родовом склепе, в Далагкау, в Куртатинском
ущелье... Нет?.. Ты все еще надеешься, что его матерью
станет Майя? Но разве мы не решили с тобой, что Майя —
это иллюзия, игра? Значит, и мальчик может получиться
игрушечный, пластмассовый, поролоновый, плюшевый, су-
венирчик изящный, брелок для ключей; он никого не про-
должит, этот мальчик, разве что игру оживит... Ах, ты и
сам это знаешь? И все же думаешь о ней?.. Да и сам я,
признаться, грешен... Ах, мы едины с тобой, оба на раз-
вилке стоим, дорожные указатели разглядываем — пой-
дешь налево, пойдешь направо... Вот и слились мы, ты
и я, вернее, я и я, еще бернее — Я: Алан мое имя, и
родословная моя восходит к аланам, и нет никакой раз-
вилки — я на лифте поднимаюсь, во времени возно-
шусь, если верить Таймуразу, который считал в отроч-
естве, что время — это вертикально восстающая пря-
мая...

Выхожу из лифта, нажимаю кнопку звонка — бим-бом, —
и мне открывает Фируза, Фируза Георгиевна, и, открыв и
увидев меня, улыбается, словно я новость хорошую при-
нес, и она, предчувствуя это, радуется заранее.

— Мир дому вашему! — провозглашаю, переступив по-
рог. — Добрый вечер!

— Добрый, — отвечает она и повторяет: — Добрый, —
и продолжает улыбаться, и улыбка ее наводит меня на
мысль, что приход мой может расцениваться как

ПРИЯТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ,

и, взбодрившись несколько и воспряв духом, я заявляю
молодцевато:

— Решил провести вас. Дай, думаю, взгляну, все
ли у них в порядке!

— Спасибо, — кивает она благодарно, — раздевайтесь.

— А где Зарина? — спрашиваю, снимая пальто.

А где она может быть?

— В комнате, — отвечает Фируза. — Проходите, пожалуйста.

Вваливаюсь с портфельчиком своим бесценным, а Зарина в кресле сидит, журнал перелистывает, картинки разглядывает, и, увидев меня, закрывает его и смотрит настороженно, не зная, чего ждать от меня, с чем я на этот раз явился.

А ни с чем, просто в гости зашел.

— Здравствуй, — говорю. — Как поживаешь?

Да это ведь начало того, придуманного разговора! Но продолжения, надеюсь, не последует?

— Здравствуйте, — отвечает она.

Уговаривая ее ехать к знахарю, я в запальчивости перешел с ней на «ты», и возвращаться теперь как-то странно, но и ствст ее сдержанный слышать безразлично:

«Здравствуйте».

Умоляю, смутившись, и молча достаю из портфеля свой главный козырь.

— Подснежники! — восклицает она удивленно. — Где вы их взяли? Зима ведь...

— Собрал в угодьях тети Паша, — хвастаю.

— А кто такая тетя Паша?

— Фея, — говорю. — Покровительница бездомных и пресыщенница весны по совместительству.

— Страннее у нее имя для Феи, — улыбается Зарина.

— Почему? — пожимаю плечами. — Вполне приличное — тетя Паша.

— Мама! — зовет она и, когда та появляется в дверях, протягивает ей цветы: — Поставь их, пожалуйста, в воду.

— Подснежники! — удивленно восклицает Фируза и спрашивает меня: — Где вы их взяли?

— У тети Паша, — смеется Зарина, — у тети Феи!

Тут бы мне встать и уйти незаметно, чтобы радость их осталась чистой, незамутненной и неразбавленной, уйти, чтобы оставить их

НАЕДИНЕ С РАДОСТЬЮ.

— Надо подрезать концы, — поучаю, важничая, — и бросить в воду таблетку пирамидона.

— Инструкция получена от самой Феи? — интересуется Зарина.

— Нет, — отвечаю, — в трамвае слышал, от самых обычных теток.

Фируза выходит, и, оставшись наедине, мы умолкаем

сразу же и молча ждем ее возвращения. Тема исчерпана, а другой у нас нет, потому что мы ничего не знаем друг о друге, третий раз всего видимся и никогда ни о чем не говорили толком, и начинать в таких случаях принято с пустяков, постепенно переходя к чему-то более важному, и, наконец, к самому главному, и правило это самодельное известно мне, но г л а в н о е в данном случае так печально, что любой пустяк может задеть больное место, растравить, разбередить и прочее, и я молчу, и молчит Зарина, помня о своем положении и не зная, как сохранить при этом легкость и непринужденность, воздушность девичью, и нам облом целовки, но ничего поделать с собой мы не можем.

Входит Фируза, приносит подснежники в стакане, показывает и улыбается виновато:

— Не во что больше поставить. Для вазы они слишком маленькие.

Зарина берет у нее цветы, нюхает, хоть они и не имеют запаха, а Фируза, вижу, опять направляется к двери, и, зная, что она на кухню идет, угощать меня собирается, пытаюсь остановить ее:

— Посидите с нами, — чуть ли не мольбу в собственном голосе слышу.

— Нет, — качает она головой, — вы уже третий раз у нас и все наскоками, а я ведь хозяйка все-таки...

И снова мы остаемся вдвоем, а у меня три вопроса готовы для предстоящей беседы:

1) Слышала ли она злополучную мою фразу?

2) Стерилен ли был нож знахаря?

а также

3) Нужна ли ей шагающая коляска?

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ Я НЕ ЗАДАМ.

Словно уловив направление моих мыслей, Зарина спрашивает вдруг:

— А сами вы верите в знахарей?

Вот и пригвоздили тебя к столбу, Алан, вот и призвали к ответу!

— Не знаю, — бормочу, — впрочем, — бормочу, — может быть...

— Значит, не верите, — говорит она.

— Ты не так меня поняла, — оправдываюсь, — я не то хотел сказать...

Не для удовольствия же собственного я возил ее в

знахарю, но и не настолько же я наивен, чтобы верить во что попало!

— Значит, у вас нет собственного мнения,—говорит она. — Значит, вас легко было уговорить.

— Что?! — вспыхиваю. — Как?! — до ушей краснею. — Кто меня уговорил, интересно?!

— Мой отец, — отвечает она, — кто же еще?

Как жестко она произносит это слово — отец.

— Откуда вы знаете? — спрашиваю растерянно.

— Это не имеет значения, — отвечает она. — А врать вы не умеете, не дано вам...

Слушаю ее, а мне Герас мерещится, супруга его достойная и двое сынишек, один из которых по кожевенной части, а другой по пушной.

Сам же и проболтался, догадываюсь, не утерпел.

— Сам же и проболтался? — спрашиваю. — Не утерпел?

— Хотите, я расскажу о нем? — говорит она, подтверждая тем самым мою догадку. — О нем и о себе.

— Конечно, — киваю, — если вам хочется.

— Да, — отвечает она, — мне и самой надо разобраться кое в чем... А о поездке к знахарю я не жалею, — улыбается. — Отвлеклась хоть немного, от кресла этого оторвалась...

— Он велел приехать через три недели, — оживляюсь. — Поедем?

— Не знаю, — произносит она рассеянно и умолкает, с мыслями собираясь и сомневаясь одновременно, и я понимаю, что раздумья ее не о знахаре вовсе, нет, она готовится начать свой рассказ, но не знает с чего и не знает, стоит ли это делать вообще, и мне бы освободить ее: «Расскажешь как-нибудь в следующий раз», но она опережает меня: — Когда отец ушел от нас, мне было семь лет...

История жизни

(Сентиментальный вариант)

Когда отец ушел от них, Зарине было семь лет.

Чтобы девочка не чувствовала себя обделенной, мать купила ей новое платье, а чтобы отвлечь от недетских мыслей, отвела в изостудию при Дворце пионеров. Для вер-

ности, видимо, и для гармонического развития записала еще и в гимнастическую секцию. Сегодня фляки и сальто-мортале, завтра гуашь и пастель, послезавтра опять сальто-мортале, и, кроме того, Зарина ходила в школу, и нехитрая стратегия матери, таким образом, начала оправдывать себя — времени, чтобы скучать по отцу, у дочери не оставалось. Понемногу она стала забывать его, тем более что он уехал со своей новой женой, жил теперь в Душанбе и тоже, наверное, не чувствовал себя обделенным, пишем, по крайней мере, не писал. В рисовании особыми талантами девочка не блистала — домики малевала, человечков неуклюжих, красные трамваи, голубое небо и веселые облака, — зато в гимнастике, которая предполагалась поначалу как занятие побочное, второстепенное, дела ее шли успешнее. Через год примерно, если считать от переселения отца к отрогам Памира, Зарина выиграла первые свои соревнования, потом еще одни и после этого перешла в другую группу, где занимались девчонки постарше, но и у них вскоре начала выигрывать, и получалось все это просто и естественно.

Ей открылся восхитительный мир движений, не скованных обыденностью, свободный, и, словно стряхнув младенческое оцепенение, она пробудилась, ожила в нем, почувствовала себя личностью, чтобы в обратной уже связи подчиниться, воспринять новый ритм жизни — долготерпение тренировок и яркий, праздничный миг состязаний, требующих абсолютной самоотдачи, — и они же, две эти слагающие, исподволь преобразовываясь, трансформировались в основные черты ее характера: долготерпение и взрывчатость. Но и в изнурительном труде, в самом терпении и скрывалось немало радости, и когда после тысячи или тысячи ста повторений у нее получался какой-то особенно сложный элемент, вчера еще невозможный, она чувствовала себя по-настоящему счастливой. Рисование, конечно, пришлось забросить, не до него стало — тренировки, сборы, соревнования — началась ее спортивная жизнь. Училась тем не менее она хорошо и, когда закончила школу, могла поступить в любой институт, — для спортсменов существуют определенные льготы, — но выбор был уже сделан, сомнений никаких, и Зарина подала документы в университет, на факультет физвоспитания.

За все это время, за десять лет отец приезжал лишь дважды, и оба раза встречался с дочерью, и они гуляли по

городу, не разговаривал и держался он так, будто ей все еще было семь лет, и она терялась, не зная, как отвечать ему и о чем говорить самой. Он никогда не спрашивал ее о матери, и это задевало девочку, а поскольку она кое-что соображала уже и не только в гимнастике, а также ходила в кино и смотрела телевизор, однажды, чтобы досадить ему, наверное, спросила, заинтересовалась наивно:

«Как тебе живется с новой женой?»

Вопрос был сформулирован по книжному образцу, но отец, не замечая этого, ответил глубокомысленно:

«Она замечательная женщина. Свела меня с нужными людьми».

Зарина не поняла, что это значит, но допытываться не решилась, только головой покивала, чтобы не выглядеть полной дурой, а отец добавил к сказанному:

«Благодаря ей я стал человеком».

Что-то в словах этих, в самой интонации, вернее, показалось ей обидным, и Зарина спросила, кивнув на прохожих:

«А это разве не люди?»

Отец улыбнулся снисходительно, давая понять, что она мала еще и не во всем разбирается, но все же ответил ей, объясняя:

«Нет, — сказал он, — это не люди. Это народ».

«А какая разница?» — удивилась Зарина.

Отец засмеялся, обнял дочь за плечи, прижал к себе:

«Подрастешь — узнаешь»...

И мать никогда не спрашивала ее об отце, они будто сговорились молчать друг о друге, чтобы не травмировать ее раннюю детскую психику — это вначале, а потом помалкивали уже для себя, наверное, чтобы забыть поскорее, отделиться от собственного прошлого...

Через два года после того, как Зарина поступила в университет, отец со всем своим семейством — у него уже было два сына — вернулся в Орджоникидзе и вскоре пригласил ее, познакомил со сводными братьями и с их матерью Тамарой, и представил их именно в такой последовательности, прочертив тем самым хоть и пунктирную, но все же линию родства между своей второй женой и дочерью от первого брака. Мальчишки пожали ей руку и умчались во двор, где играли до этого в футбол, а Тамара осмотрела девушку взглядом опытного товароведа: кулончик серебряный, кофточка полилиновая, а юбочка джинсовая — ширпотреб, де-

шевка! но какова фигура, стать какова?! — задумалась на мгновение, словно подсчитывая что-то в уме, и улыбнулась вдруг широко и радушно, и Зарина, которой показалось, что Тамара большеликая, плотная, толстоногая женщина, молчит от смущения, улыбнулась в ответ, и отец, суммировав две улыбки, прибавил к ним третью:

«Я так и знал, что все будет хорошо».

Жили они в просторной трехкомнатной квартире, которую то ли выменяли на свою душанбинскую, то ли купили, то ли обменялись с доплатой, и, то ли купив, то ли доплатив — этого Зарина так и не поняла, — наняли каких-то умельцев, и те за соответствующую мзду произвели грандиозный ремонт: настелили паркет из мореного дуба, и маляры-жирописцы отделали стены под бархат, под шелк и тому подобное, сотворили лепнину на потолках, завитушки гипсовые под старинную бронзу, и Тамара, смотавшись в Москву, привезла чешский унитаз с цветочками, финские краны и смесители, французскую газсвую плиту, а также иранский узорчатый кафель для кухни, и терра-котовый шведский для ванной, и аспидно-черный голландский для туалета, а также люстры, торшеры и бра и так далее, и Зарина столбенело глядела на все это, и, дав наглядеться ей, отец произнес удовлетворенно:

«В шесть тысяч обошелся ремонт».

... а также ковры, хрусталь, фарфор, серебро и тому подобное...

«Осталось еще мебель сменить», — озабоченно вздохнула Тамара. ... а мебель стояла такая, какой Зарина и в кино не видела...

«А зачем? — спросила она удивленно. — Разве эта плохая?»

«Эта уже не в моде, — объяснила Тамара. — Мебель надо менять каждые два года».

Вскоре она собралась в Москву — срок, видимо, подошел — и, вернувшись дней через десять, привезла белую, перламутром инкрустированную, то ли арабскую, то ли пакистанскую роскошь восточную.

«Быстро ты обернулась, — усмехнулся отец, поглаживая полированную грудь комода, поглаживая шелковый живот тахты, — быстро обернулась»...

«Москвичи тоже кушать хотят», — усмехнулась в ответ Тамара.

«А это тебе, — сказала она и, раскрыв чемодан, стала

выкладывать перед Зариной те изящные англо-американо-парижские вещи и вещицы, которые не продаются в наших магазинах, а на толкучках стоят бешеных денег.

«Что вы! — смутилась девушка. — Не падо»...

«Брось, — отмахнулась Тамара, — мы ведь не чужие».

Она сложила вещички — тючок получился ладненький, и с тючком этим в руке Зарина долго стояла перед своей дверью, не решаясь войти и показать его содержимое матери, но и выбросить, в мусоропровод спустить не решалась и, войдя в конце концов, злясь на себя и на весь мир заодно, развернула, обрывая шпагат, полиэтилен разрывая в клочья, стала швырять на кресло, то самое, на котором сидит теперь, швырять одно за другим:

«Отец подарил! Отец подарил! Отец подарил!»

Мать смотрела на нее молча, и она знала, конечно, что Зарина бывает у отца, но не заговаривала об этом — из гордости, с одной стороны, а с другой — как бы предоставляя дочери свободу выбора, — и только теперь, успокаивая ее, сказала с виноватой улыбкой:

«Он ведь не чужой тебе».

Тут Зарина, как и подобает в таких случаях, бросилась к матери на шею, всплакнула от жалости к ней и к себе самой и, плача, поклялась, не вслух, конечно, не ходить больше к отцу и поклялась не носить эти проклятые вещи, тем более что купил-то их не отец, а Тамара.

ТРОЕ ТАКИХ УЖЕ КЛЯЛИСЬ. (Таксист-клятвоступник, таксист, который возил нас к знахарю, и Габо, который решил начать новую жизнь.)

Недели через полторы отец позвонил, забеспокоившись, и, услышав его голос, Зарина хотела бросить трубку, но не решилась, и, словно чувствуя неладное, он спросил участливо:

«Как ты себя чувствуешь? Здорова?»

«Да, — ответила она, — а что?»

«Не видно тебя, вот и волнуюсь».

«У меня все хорошо».

«А почему не приходишь?» — в голосе его прорезалась грусть, и Зарина вспомнила вдруг то, что должна была забыть, рисуя и накручивая сальто-мортале, вспомнила, как любила его в детстве, как ждала по вечерам.

«Занятия, — пролепетала она смущенно, а на дворе стояло лето, и, глянув в окно, она поправилась торопливо, — тренировки».

«Одно не должно мешать другому, — проговорил он назидательно, — всему свое время».

«Как-то не получается»...

«Может, ты обиделась? — спросил он, как бы заранее признавая свою вину и каясь заранее. — На меня или на Тамару?»

«Нет, — успокоила его Зарина, — с чего ты взял?»

«Вот и хорошо, — вздохнул он облегченно, — приходи вечером, буду ждать»...

Раз в неделю, по воскресеньям, у отца собирались знакомые, люди солидные и тяжеловесные. Войдя, каждый из них здоровался церемонно, справлялся о здоровье хозяина и домочадцев, а те, встречая, толпились в прихожей — приветливо улыбаясь Тамара и чинные, благовоспитанные сыновья ее, — и гости нахваливали мальчишек: «Орлы! Ты посмотри, как быстро растут!», и совали им в карманы дензнаки достоинством в пять или десять рублей, и отец говорил, протестуя вроде бы, а вроде бы и нет: «У них все есть, не надо», а гости подмигивали мальчишкам: «Ничего, пусть у них будут свои деньги, не помешают», и мальчишки кивали, соглашаясь: «Не помешают», и услышав звонок, возвещающий о приходе следующего гостя, мчались в прихожую, становились рядышком, как свечечки тоненькие, и ждали следующего подношения, и отец поглядывал на них строго: «Скажите дяде (Ирбеку, Каурбеку, Батырбеку) спасибо», и они выкрикивали молодцевато: «Спасибо!» и убегали в свою комнату.

Зарина пыталась протестовать против этого новоявленного обычая, и отец покивал головой, слушая ее, и сказал, сокрушаясь:

«С одной стороны это, конечно, плохо»...

«А с другой?»

«А с другой хорошо...» — ответил он.

Тут бы Зарине возмутиться, но характер ее слагался, как вы помните, из двух составляющих, и первой из них было долготерпение, а период его еще не кончился.

Гости проходили в столовую, или в залу, как принято было ее называть, усаживались за стол, каждый на свое, привычное место, повязывали на шею крахмальные салфетки, откушивали обильно и достойно выпивали, произносятся традиционные тосты, вели беседы на вольные темы и подшучивали друг над другом, но шутки их повторялись, и повторялись темы — футбол и телевизионные сериалы, —

и обо всем они говорили с чувством собственного превосходства и оттого расслабленно и снисходительно, и свысока поругивали порядки в стране, сетуя на излишний либерализм властей и распущенность народа — никто ничего не боится, а их бы поприжать, поприжать бы их, болтунов, голодранцев, умииков! — и тут бы Зарине возмутиться, но занимало ее совсем другое — ей чудилось в поведении гостей, в самой манере их общения что-то удивительно знакомое, но она никак не могла вспомнить, что именно, и однажды прыснула, не сдержавшись, догадалась вдруг: да они же в высшее общество играют, неуклюже подражая чему-то виденному то ли в кино, то ли в театре, и все вроде бы есть у них, и не хватает только одного — никто поклоним им не бьет, шапки перед ними не ломает, — и тут бы возмутиться ей в третий раз, но она сочла свое открытие забавным и, смеясь, поделилась им с Тамарой, приглашая и ее понаблюдать и посмеяться, однако та не приняла приглашения, и даже наоборот, нахмурилась и головой покачала:

«Ты ошибаешься, девочка, — проговорила с укором и добавила значительно: — Все они очень уважаемые люди».

Выпив и закусив, они, как и положено в лучших домах, пересаживались за ломберный столик — черное резное дерево, бронзовые пепельницы, зеленое сукно, — доставали колоду карт, но не в преферанс играли, и даже не в покер — в очко резались, в буру! — и это тоже сместило Зарину. Вместе со столиком антикварным Тамара прихватила в Москве и старинное трюмо, которое вроде бы стояло когда-то в покоях императрицы (то ли Екатерины, то ли Елизаветы), и они (Ирбек, Каурбек, Батырбек) поднимались время от времени, подходили к нему, тщеславие свое тешили, стояли, надувшись, и ухмылялись скабрёзно, словно порнографическую карточку разглядывая... Подходил к нему и некий Дудар, или Хозяин, как называли его полушутя-полувсерьез, но в отличие от остальных он не ухмылялся, а взирая на себя с уважением, как бы на равных с той, которая несколько веков тому назад то ли владела, то ли не владела зеркалом этим в раме витиевато-бронзовой. Он был помоложе других, лет на сорок выглядел, не старше, но держался действительно по-хозяйски, сидел обычно во главе стола, и если кто-либо, расшалившись, позволял себе остроту в его адрес, словечко недостаточно почтительное, ронял остерегающе и тоже вроде бы шутя:

«Увольо!», и шалунишка седовласый похохатывал, ступавшись, и остальные сочувственно похлопывали его по плечу, и пиришество продолжалось в обычном своем порядке.

Тамара, равно внимательная ко всем и неизменно приветливая, тоже выделяя Дудара, чуть ли не дорожкой ковровой готова была стелиться перед ним, наизнанку вывернуться, каждый каприз исполнить, каждое желание предугадать, и Зарина, заинтригованная непостижимым его величием, как-то спросила ее, не удержавшись:

«Кто он такой?»

«Дудар? — мгновенно среагировала Тамара и ожи-вилась, словно только и ждала этого вопроса. — Большой человек, — ответила неопределенно и значительно. — Он нужен отцу по делу, — головой покачала озадаченно, — очень нужен. — Она испытующе глянула на девушку и проговорила с сомнением: — Ты бы могла помочь отцу, если бы захотела, конечно»...

«Я?!» — удивилась Зарина.

«Не подумай ничего такого, — Тамара засмеялась, обняла ее, прижала к себе. — У него жена и дети, он хороший семьянин, но понимаешь, — тут она сделала паузу, — каждому мужчине приятно взглянуть на красивую девушку, — тут она вздохнула, — так уж они устроены, мужчины».

Зарина не знала, как устроены мужчины, а вопрос этот так или иначе занимал ее, и если в чем-то, благодаря гимнастике, она опережала в развитии своих ровесниц, то во многом, благодаря тепличному, в известном смысле, произрастанию, была неопытна и наивна до крайности, и потому молчала, раскрасневшись от смущения и любопытства, молчала и ждала, что скажут ей еще, в какую тайну посвятят...

«Почему ты не носишь вещи, которые я привезла тебе? — спросила вдруг Тамара с укоризной и с обидой даже. — Мужчины, между прочим, любят, когда девушка хорошо одета».

Тут в Зарине проявилось то, что дал ей спорт — упорство и воля, — а клятва ее, как вы помните, состояла из двух частей, и первую из них — не ходить к отцу — она преступила, но на подступах ко второй — не носить подаренных вещей — уперлась с удвоенной силой, полагая, видимо, что сдержав полклятвы, можно считать себя честным человеком, и Тамара уловила перемену в настроении девушки и снова засмеялась, снова обняла ее и прижала к себе.

«Ну, извини, извини! — проговорила добродушно. — Откуда же мне знать, что нравится молодежи, что у вас теперь в моде?!»

Отстояв, как ей показалось, свою позицию, Зарина расслабилась, и это не укрылось от Тамары, и она снова сменила тон, вернулась к теме:

«Да от тебя ничего особенного и не требуется, — улыбнулась, как подружка задушевная, — просто приходи, когда он у нас, вот и все».

«Я и так у вас часто бываю», — неуверенно пролепетала Зарина, не понимая, чего же от нее хотят, и тут же ответ услышала, разъяснение шутливое:

«Посмотрит он на тебя, посмотрит, сердце его смягчится, и отцу будет легче разговаривать с ним, — и словно испугавшись чего-то, Тамара запнулась вдруг и прошептала предупреждающе: — Только отец ни о чем не должен знать. — Она вздохнула: — Такова наша женская доля, — и усмехнулась, двусмысленность себе позволяя: — Мужчины сверху дело делают, а мы снизу — так уж от веку заведено».

С делопроизводством подобного рода Зарине сталкиваться не приходилось, и потому слова эти она восприняла в их прямом, буквальном значении и снова смутилась, и тут бы ей встать, откланяться вежливо и уйти, но она осталась, жалея отца, который всегда был добр к ней, и не желая девочкой наивной показаться, недотрогой чопорной, и потому еще, что в предложении Тамары не усмотрела ничего опасного для себя и даже нового: она и раньше ходила к ним, и Дудару никто не возбранял любоваться ею, и если сердце его смягчалось при этом, то — и на здоровье! — лишь бы в желе не превратилось, в массу студенистую...

История жизни

*Продолжение сентиментального
варианта*

Наступил сентябрь, начались занятия в университете и продолжались тренировки, Зарина училась и готовилась к очередным соревнованиям, и в свободное время по-прежнему захаживала к отцу, а свободна она бывала теперь только по воскресеньям, когда у отца собирались знако-

мые-приятели, сотрапезники, и непронизвольно, незаметно для себя она нет, нет да и поглядывала на Дудара, но не равнодушно, как раньше, а с любопытством, словно за процессом смягчения его сердца наблюдая, и вскоре он почувствовал это или Тамара ему подсказала, на ухо шепнула — мы-то с вами знаем, как это делается, — и однажды после ужина он не за ломберный столик уселся, а на диван, рядом с Зариной пристроился, и разговор завел о том, о сем, о смысле существования и о том еще, какой должна быть осетинская девушка: покорной, естественно, скромной и домовитой, а о гимнастике и вспоминать не стоит — слыхано ли, чтобы осетинка кувыркалась перед людьми?! — и продемонстрировав некоторый опыт, спортивный, видимо, он взял ее за руку, провел пальцем по ладони и проговорил назидательно:

«Руки у девушки должны быть нежными, а у тебя мозоли, как у чернорабочей».

Вспыхнув, Зарина отняла руку и отодвинулась от него, и он усмехнулся довольный:

«Ничего, это скоро пройдет».

«Что пройдет?» — не поняла Зарина, и пока она думала, краснея, он встал и весело так, празднично объявил:

«В следующее воскресенье едем в горы!»

«В горы! — возликовали друзья-приятели. — Ай, молодец, Дудар! Дай бог тебе здоровья!»

«Только без женщин! — предупредил он. — Ты извини, Тамара, но иногда мужчинам хочется побыть на воле. А чтобы мы совсем уж не разбаловались, — он улыбнулся, — возьмем с собой Зарину. Она девушка строгая, присмотрит за нами. Правда, Зарина?»

«В воскресенье у меня тренировка, — ответила она, но руки при этом спрятала за спину, — я не смогу».

«Подумаешь, — засмеялся он, — тренировка! Люди и не такие дела откладывают!»

Приятели закивали, давая понять, что именно они-то и есть эти люди, а дела подождут, даже самые важные, и, подступив к Зарине, загалдели на разные голоса, уговаривая — без тебя и горы не горы! — а она все отказывалась, но по инерции уже, для проформы, и уловив это, Тамара ввернула: «Нехорошо, Зарина! Люди ведь просят!», и отец, как бы вступаясь за дочь, ответил: «Она уже согласна», и, не выдержав напора, Зарина сдалась, и хоть до во-

скресенья оставалась еще целая неделя, Дудар провозгласил:

«Встречаемся в десять часов на гизельском перекрестке».

Дома Зарина помалкивала о предстоящей поездке, и в молчании ее было что-то стыдное, и она чувствовала это и тяготилась своей тайной, но и открыться не могла, понимая, что совершает по отношению к матери какое-то неблагородное, но явное предательство, и, терзаемая угрызениями совести, решила отказаться в конце концов, не ехать, однако додумалась до этого лишь в субботу вечером и зевнуть, разговаривать с отцом при матери ей было неудобно, и, встав поутру, она собралась, как обычно, сложила в сумку спортивную амуницию — ей ведь на тренировку надо было торопиться, — и, выйдя на улицу, направилась было к трамвайной остановке, чтобы ехать в спортзал, но остановилась в смущении, а тут как раз девочка проходила соседская, и, словно от лишнего груза отделиваясь, Зарина протянула ей свою сумку:

«Пусть у вас постоит, — сказала. — Вечером я заберу».

«Я и к вам могу отнести», — предложила девочка.

«Нет, не надо, — вздрогнула Зарина, — у нас ничего нет».

Она села в автобус и благополучно добралась до гизельского перекрестка, а компания уже была в сборе — девять человек на пяти машинах, — и Зарина двинулась к отцовской, но Дудар перехватил ее и повел к своей.

«Сини все по двое, а я один, — улыбнулся он, — скажу, — и, оглянувшись, крикнул: — Герас, ты разрешаешь?»

«Разрешаю!» — послышалось благословение, и Дудар распахнул перед Зариной дверцу, и машина тронулась, а за ней вторая, третья и так далее, и, проезжая мимо поста ГАИ, они просигналили в пять клаксенов, и милиционеры, знакомые, видимо, помахали в ответ, желая счастливого пути, и веселый кортеж повисел по асфальтовому шоссе, по равнине, и стрелка спидометра — Зарина поглядывала краем глаза — подобралась к сотне и перевалила за нее, и, не снижая скорости, они проскочили через село, переносив кур и собак, а Дудар все нажимал, и равнина кончилась вскоре, дорога заветилась в горах, и колеса повизгивали на поворотах, а впереди сияли снежные вершины, и ясное небо голубело над ними, а на склонах — зеленое с

желтым — стояли леса, а внизу, в глубине пропасти шумела, ударяясь о камни, река, и над камнями горбились, переливаясь и дрожа, коротенькие радуги, и Зарина забыла о недавних переживаниях и о спутнике своем забыла, а он, закручивая виражи, все поглядывал на нее, всторгаждал и восхищения и, не дождавшись, затормозил вдруг, остановил машину, и сразу стало тихо, и рокот воды, бегущей в пропасти, как бы подчеркивал тишину, и Зарина открыла дверцу, вышла на шоссе, глянула на солнце и зажмурилась, и улыбнулась непроизвольно, и, выйдя следом за ней, Дудар изрек по-хозяйски:

«Сентябрь — лучшая пора в Осетии».

Вдали на извие серпантина показался приотставший кортеж, и, дав ему приблизиться, Дудар свернул с асфальта на ухабистую грунтовую дорогу, в боковое ущелье свернул, уютное и милое, словно игрушечное, но со своим лесом, с густыми зарослями орешника и с собственной речушкой, бойко журчащей в стороне, и вскоре над зарослями показалась серая шиферная крыша и показался кирпичный дом, обнесенный высоким забором, и ворота, а у ворот стояли, улыбаясь радушно и льстиво, старик со старухой, оба невысокие и крепенькие, и по улыбкам их приторным Зарина поняла, что они не гости, хозяина встречают, и спросила, чтобы удостовериться:

«Чей это дом?»

«Ничий, — ответил Дудар, кивнув на стариков, и усмехнулся самодовольно: — На них записан».

Выйдя из машины, он небрежно кивнул им, а они отвечали долго и цветисто, а машины подъезжали одна за другой, хлопали дверцы, и, встречая, старики каждого называли по имени и каждому желали здоровья, счастья и благополучия, и славословие не было конца, здравницы чуть ли не песней лились, одой возвышенной звучали, и прибывшие приосанивались и, полные достоинства, вступали во двор, посреди которого стоял сколоченный из дубовых досок громадный стол, а на столе шотландское виски, коньяк французский и французское шампанское в эмалированном тазу с мелко наколотым льдом. В глубине двора двое дюжих парней свежевали барашка, и, увидев Дудара, они наскоро вытерли руки полотенцем, окропив сего при этом, и поспешили навстречу, поздоровались почтительно и доложили о приготовлениях и о продуктах, имеющихся в наличии.

«А шампанское Мисост ни за что не хотел давать», — пожаловался один из них.

«Упирался, как сивый яшка», — подтвердил другой.

«Пока мы не сказали, что это для Дудара».

«Тут он сразу раскололся!»

«Все выложил, до последней бутылки!»

Это была еще одна форма лести, и приехавшие (Ирбек, Каурбек, Батырбек) посмеялись над преглуповатым и прижимистым Мисостом и тем самым еще раз возвеличили Дудара, а он шагнул к столу, взял бутылку шампанского и молча стал откупоривать ее, и, следуя его примеру, потянулись к бутылкам и остальные, и один из парней смотался в дом и принес второй таз со льдом и шампанским, и раздался недружный, но громкий залп, пробки взлетели в небо, вино запенилось в хрустале, и, взяв свой фужер, Дудар произнес:

«За стол мы еще не сели, и потому этот тост можно считать только вступительным, но вступление, как вас учили в школе, хоть вы и не помните ничего, — при этом собравшиеся хихикнули, — вступление, говорю, определяет основное содержание, и я поднимаю бокал за ту, которая украсила собой наше общество, за дочь уважаемого Гераса, за тебя, Зарина!»

«Да услышит всевышний эти золотые слова! — рявкнули собравшиеся. — Оммем!»

Дудар выпил, и следом за ним, но уже в порядке старшинства, заговорили остальные, и каждый перечислял ее достоинства, действительные и мнимые, и каждый хвалил Гераса за то, что он воспитал такую славную дочь, и тот кивал в ответ: «Спасибо! Спасибо!», и наконец сам обратился к дочери и пожелал ей счастья в жизни и успехов в учебе, а Зарина стояла с фужером в руке и не знала, что делать, и, когда отец выпил, она поблагодарила Дудара и других за добрые пожелания и, смутившись, поставила фужер на стол, но все зашумели, загалдели протестующе:

«Как можно?!»

«За такие слова и не выпить?!»

«Да я вообще не пью, — окончательно смутилась Зарина, — никогда».

«Разве это питье? — улыбнулся Дудар. — Водичка газированная».

Собравшиеся грянули застольную, и теперь уже де-

ваться было некуда, и шампанское оказалось довольно приятным на вкус, правда, немного шибало в нос, и когда она вышла, песня прервалась, и все закричали восторженно и зааплодировали.

Дудар подошел к парням, разделявающим барашка, к старику, разводящему костер, чтобы нажечь углей для шашлыка, сходил на кухню, где старуха готовилась печь пироги, и, вернувшись к столу, объявил:

«Через час все будет готово, а пока отдыхайте, делайте все, что вам хочется, хоть на головах ходите! А лично я пойду ловить форель, неплохая закуска из нее получается, между прочим»...

«Но ее ведь запрещено ловить!» — удивилась Зарина.

«То, что нельзя всем, можно некоторым, — усмехнулся Дудар, — для того и существуют запреты... Если хочешь сама убедиться в этом, пойдем со мной, — предложил он и, моралист великий, пригласил и отца ее заодно: — Пойдем, Герас, посидим на берегу!»

Услышав это, один из парней смотался в дом и принес красивые складные удочки, то ли японские, то ли швейцарские, другой смотался в сарай и принес красивую жестяную коробку с наживкой, а Дудар между тем начал откупоривать новую бутылку, и снова раздался залп, и пробки взлетели в небо, и, подняв бокал, он сказал:

«За тех, кому можно! За удачу! Пусть она всегда сопутствует нам!»

«Оммен!» — рявкнули остальные и выпили вслед за ним, и снова запели, когда очередь дошла до Зарины, и во второй раз шампанское показалось ей приятнее на вкус, чем в первый, и не так шибало в нос, и крики одобрения и овации она восприняла как должное.

Поскольку Зарина никогда не пила спиртного, вино незамедлительно ударило ей в голову, и, шагая с отцом и Дударом к реке, она пребывала в том состоянии беспричинной восторженности, которая свойственна девушкам в определенном возрасте и состоянии, и, удивляясь себе, чуть ли не пританцовывала на ходу в ритме какой-то внутренней музыки, в ритме взволнованного биения сердца, и каждый шаг доставлял ей радость, и сдержанная по натуре, она сопротивлялась непривычному чувству, старалась идти своей обычной, грациозной, но строгой походкой гимнастки, и, глядя со стороны, никто бы не догадался о том, что творилось в ее душе, однако что-то про-

рывалось все же, передаваясь спутникам, и, ступая легче и веселей обычного, они болтали и смеялись, словно помолодев, и Зарине тоже хотелось смеяться, но она молчала, чинная и скромная, как и подобает осетинской девушке.

Вышли к реке, и, остановившись у небольшой и неглубокой заводи, Дудар открыл коробку, а наживка была уложена в целлофановые пакетики — все чистенько и аккуратно, — достал один из них и протянул Герасу:

«Ты будешь здесь, а мы спустимся ниже по течению».

Отец остался и, оставив его позади, Дудар прибавил шагу, торопясь, видимо, поскорее начать лов, и они шли рядом по узкой, пешеходной тропе между стесом скалы и бегущей водой, и настроение Зарины менялось понемногу, переходя от восторженности к безотчетной тревоге, к предчувствию чего-то недоброго, и посреди перехода этого она вдруг споткнулась, и Дудар придержал ее, схватив за плечо и прижав к себе, и не отпустил, когда она сбрела равновесие, а продолжал придерживать все крепче, и она рванулась было, пытаясь высвободиться, но тщетно, и ей стало жарко от стыда и недоумения, и словно догадавшись об этом, Дудар расстегнул пуговичку на блузочке ее поплиновой и вторую расстегнул, и за третью принялся, а кричать ей не позволяло воспитание, гордость не позволяла, и она оглянулась, надеясь на отца, и увидела его — метров семьдесят было между ними, не больше, — и взгляды их встретились, и отец засуетился, нагнулся, будто шнурок завязывая, и, не разгибаясь, уковылял за куст, испарился, исчез, и Зарине вспомнился проникновенный шепоток Тамары: «Он нужен отцу по делу, очень нужен», и хмель разом выветрился из ее головы, и она снова рванулась, но опять безрезультатно, а Дудар уже и руку ей под лифчик сунул и шарил там по-хозяйски, к подножью скалы ее подталкивал и цену назначал попутно, на травку шелковистую свалить норовил.

«Вся в золоте будешь», — бормотал прерывисто и не знал при этом, что она уже не та, с которой он о нравах осетинских разглагольствовал, и не та, которая пила с ним шампанское, впервые в жизни пила, и даже не та, которую он только что прижал к себе, придерживая: период долготерпения ее кончился и назревал взрыв, и ему бы отпустить ее и бежать куда глаза глядят, а он все наваливался, бормоча об изумрудах, сапфирах, бриллиантах, и Зарина, используя его же собственный вес и напор, а

также науку, преподанную ей самбистами-однокурсниками, произвела бросок через бедро, прием хрестоматийный, и, пытаясь удержаться на ногах, Дудар ухватился за лифчик ее узенький — хрустнула застежка, треснули бретельки, — и с лифчиком в руке он оторвался от земли, вознесся и рухнул, ударившись лбом о скалу.

ТАКАЯ ДЕВУШКА.

Даже не взглянув на него, лежащего ничком, она бросилась бежать, но не к отцу и не к приятелям его, не к старикам лъстивоязыким и не к парням услужливым, а прочь от них, вниз по течению реки, по берегу, и тропинка вскоре кончилась, скалы вплотную подступили к воде, и вода ушла вниз и клокотала в пропасти, и, прыгая с камня на камень, пробираясь над обрывами, Зарина думала о том, ради чего отец пожертвовал ею и собственной честью пожертвовал, о всем сообществе их думала, и ей мерещились самодовольные рожи в бронзовом обрамлении царского зеркала, и она поняла вдруг, хоть могла бы догадаться и раньше, будь поопытнее чуть и не так наивна, что никакие не друзья они и не приятели, и не собутельники даже (Ирбек, Каурбек, Батырбек), что они — консорциум подпольный, дельцы, махинаторы: один торгует, другой то ли производством кепок заведует, то ли шлепанцы войлочные шьет, третий то ли коптит, то ли маринует, и так далее, и тому подобное, и связывает всех воедино, сбытом руководя и распределяя доходы, самый ловкий из них и самый умный, Дудар, и она, Зарина, была предложена ему как взятка за будущее расположение, если; конечно, отец не смотрел дальше и не собирался с ее помощью прибрать к рукам и самого Дудара и весь консорциум в целом.

Через час-два она вышла на дорогу и долго не решалась сесть в автобус, но деться было некуда, и она села в конце концов, и остроглазые деревенские женщины удивленно и неодобрительно поглядывали на нее, хоть блузка теперь была застегнута наглухо, под самое горло, и, краснея, Зарина отвернулась к окошку, а ей предстоял еще немалый путь в городе, и она ехала в трамвае, стоя на задней площадке лицом к стеклу, и шла от остановки, вся сжавшись и прикрываясь руками, как голая, и ей казалось, что все смотрят на нее, и, добравшись, наконец, до дому, она заперлась в ванной, разделась перед зеркалом и теперь уже сама смотрела на себя, с болью и презрением

смотрела и, насмотревшись, открыла душ и омылась водой и слезами.

Поздно вечером, не удовлетворившись, видимо, шишкой на лбу, ей позвонил Дудар.

«Пошел вон! — прошептала она яростно, но так, чтобы не слышала мать. — Пошел вон, кретни!»

Утром она собрала и упаковала вещи, подаренные ей Тamarой, и отнесла их на почту, отправила отцу. Через два дня, получив посылку, он позвонил.

«Что случилось, Зарина? — спросил озадаченно, словно не зная ни о чем, не ведая. — Что с тобой?»

«Ничего, — ответила она резко. — Больше не звони мне. Никогда».

«Почему? — встревожился он. — Почему?!»

«Потому, что вы не люди! Потому, что вы не люди!»

«Ты что?! — взвился он. — Это мать тебя научила?!»

«Это на твоём лице написано! — крикнула она. — Знать тебя не хочу!»

История

жизни

*Кульминация сентиментального
варианта*

Ей бы забыть о случившемся и жить, как прежде, спокойно и размеренно, в привычном, естественном ритме, но ни забыть, ни простить унижения она не могла и, полная праведного гнева и живучей наивности, вступила в борьбу, и поскольку в представлениях подобного рода стороны, как правило, меряются силами, а не слабостью, и противник уже продемонстрировал кое-что из своего арсенала, она пустила в ход то единственное, в чем была сильна, гимнастику, превратив ее тем самым из вида спорта в орудие мщения. Не удовлетворяясь полудомашней республиканской известностью, Зарина резко увеличила объем тренировок, надеясь подняться выше, на всесоюзный, европейский, мировой уровень, чтобы они (Ирбек, Каурбек, Батырбек, а также Герас и Дудар), сидя у телевизора (в заключении, желательно), смотрели на нее как на божество, явившееся им через спутник связи, смотрели, затылки жирные почесывали, ошеломленные ее блистательным взлетом и смутной догадкой о том, что есть и другой, светлый и

праздничный мир, в который не войдешь по билету, купленному на уворованные дензнаки, догадкой о ничкемности подпольного своего, сумеречного существования. Такой представлялась ей победа, и она не жалела сил для ее одержания, совершенствуясь в спортивном мастерстве и отложив на потом все остальное, саму жизнь отложив на будущее — только гимнастика осталась, бесконечные повторения элементов и комбинаций, до сорок восьмого и сорок девятого пота, до изнеможения, каждый день и по два, по три раза на день! — а они (Ирбек, Каурбек, Батырбек) совсем не торопились на скамью подсудимых, и дебит у них сходился с кредитом, а сальдо с бульдо, и Зарина встречала их иногда на улице, цветущих и самодовольных, и они здоровались и пытались заговаривать, но она отворачивалась гордо, спеша к сияющей цели своей, к пьедесталу почета и славы.

Так прошел год и второй отлетел, словно лист, ветром сорванный, но время для нее измерялось не количеством оборотов Земли вокруг собственной оси и не периодом обращения планеты вокруг Солнца, а состояло из промежутков между соревнованиями, из множества тренировок, сливающихся в одну, потом вторую и так далее, и, таким образом, если пользоваться отроческой терминологией Таймураза, представляло собой линию, но не вертикальную, а горизонтальную, и не сплошную, а прерывистую, и возникновение каждого из отрезков было связано с надеждой, возрастающей по мере приближения его к концу, и вначале рост этот происходил естественно, но становился постепенно все более вялым, и к исходу второго года (вернемся все же к привычному календарю) для поддержания надежды хотя бы в зачаточном состоянии требовались уже значительные волевые усилия. Зарина побеждала на второстепенных и полуторастепенных соревнованиях, и давалось это ей легко, и, казалось, стоит сделать шаг еще, полшага и останется только дверь открыть и войти в тот светлый и праздничный мир, о котором она мечтала, но заданность цели тяжким грузом давила на нее, порождая робость, в общем-то несвойственную ей и непривычную, и каждый раз, пытаясь сделать эти заветные полшага, она спотыкалась, неловкая вдруг, неуклюжая, и все приходилось начинать сначала, продолжая прерывистую прямую, а страх отпечатывался в памяти и, затаившись, ждал своего часа.

Но так или иначе, а мастерство ее крепло и совершенствовалось, и, возможно, она преодолела бы себя в конце концов и одержала г л а в н у ю победу, однако время совершало свою работу не только по горизонтали, но и по вертикали тоже, и если Зарина двигалась к цели хоть и со срывами, но равномерно, то сама гимнастка совершила вдруг невообразимый, немислимый скачок, и появившиеся невесть откуда, маленькие, как лягушата, тринадцать — четырнадцатилетние девчонки стали вытворять такое, о чем вчера еще и думать никто бы не решился, и Зарине пришлось перестраиваться на ходу, подлаживаясь к новым веяниям, а давалось это нелегко, и надежды оставалось все меньше, и однажды, когда она возвращалась домой после очередной неудачи, и за окнами вагона мелькали серые кустики, серые деревья и серые столбы, и колеса постукивали монотонно, навевая невеселые мысли, тренер сказал ей, улынувшись:

«Ты слишком женственна для женской гимнастики».

С одной стороны это смахивало на комплимент, с другой — на приговор, и можно было смешать оба смысла в коктейль юмористический и посмеяться над собой, тем самым душу облегчив, но Зарина восприняла фразу в лоб, как оскорбление, и чуть ли не разругалась с тренером, который знал ее с детских лет и с которым они всегда понимали друг друга.

Однако понимать ее становилось все труднее, она сделалась нервной, вспыльчивой, словно вместе с надеждой пошло на убыль и основное качество ее характера, долготерпение, и тренировки уже не радовали ее, как прежде, а раздражали нудной своей обязательностью, но она продолжала их как бы во зло себе и еще больше ожесточалась от этого, и все вокруг мешало ей, предметы и люди, и вскоре у нее не стало подруг, а друзей не стало еще раньше: в каждом из них ей мерещился Дудар, рука его мерещилась, шарящая, ладонь потная, и, содрогаясь от отвращения, она отвергала даже самый невинный флирт, не говоря уже о прочих формах ухаживания, и уличные приставалы, хамы беспардонные, отшатывались, чуя опасность, когда она позорачивалась к ним и спрашивала в упор:

«Чего ты хочешь?!»

Так прошел еще один год, и она окончила университет и начала работать, заниматься с детьми, и ей бы полюбить их и ввести, любя, в тот восхитительный мир движений, ко-

торый очаровал когда-то ее саму и который остался в прошлом, полузабытый и неправдоподобный, но для этого нужно было отрешиться от себя, а она все упорствовала, не надеясь уже, но и остановиться не в силах, и, встречая иногда на улице Ирбека, Каурбека, Батырбека, все таких же упитанных и благополучных, проходила мимо, почти не замечая их, не помня о мести, вернее, не чувствуя в ней потребности, и ЦЕЛЬ, таким образом, смазалась, расплылась во времени, и осталось только СРЕДСТЕО, и, замкнувшись в себе, оно потребляло все больше энергии, обескровливая источник и, следовательно, самоуничтожаясь, но захваченная инерцией, Зарина все еще производила эти вольты и амперы, питая нечто бессмысленное и обреченное.

Она выигрывала, как и раньше, второстепенные соревнования, но побеждать становилось все труднее, и прежние соперницы ее сошли одна за другой, замуж повыходили, детей нарожали, и состязалась она теперь с девочками мальчиковыми, с лягушатами голенастыми, и чувствовала себя матроной в их среде, вороной белой себя чувствовала, и ощущение это было не из приятных, но она держалась, сама уже не зная во имя чего и продолжая готовиться к чему-то, тренировалась с фанатическим блеском в глазах, а рядом тренировались все те же лягушата, и, поглядывая на них, она поражалась непостижимой легкости, с которой они осеивали то, что давалось ей годами напряженного труда, и, не желая сдаваться, сама до предела усложняла свои комбинации и выполняла их на грани срыва, но не боясь его, потому что терять ей уже было нечего.

ТАКАЯ ПЕРСПЕКТИВА.

Однажды, в обычный тренировочный день, она сидела в раздевалке, готовясь, а за стеной, в соседней комнате галдели соперницы — товарки ее малолетние, — галдели, обсуждая свои шансы на предстоящих соревнованиях и прикидывая состав сборной республики, смеялись, друг дружку подначивая, и до Зарины добрались, и хоть участие ее в сборной не вызывало сомнения, заспорили вдруг — возьмут! не возьмут! — и сошлись на последнем, и какая-то из них пропищала в заключение:

«Она уже старая».

Как?! Ей ведь и девятнадцати еще не исполнилось, когда Дудар повел ее ловить форель! А с тех пор ни одной весны не было в ее жизни, ни одного лета — только серые

стены спортзала, — и, значит, время не двигалось с тех пор, и все осталось, как прежде, и ничего не произошло вокруг и не изменилось в ней самой, и состариться она никак не могла — люди не старятся вне времени!..

Выйдя в зал, она размялась наскоро и, дождавшись девчонок, но как бы не замечая их, разбежалась вдруг — решила показать то, что и во сне им, лягушатам, пока не спилось, двойное сальто, прогнувшись, с оборотом на триста шестьдесят градусов, решила показать то, что недавно лишь освоила сама и еще ни разу не выполняла без страховки, — разбежалась — вот вам и старая! — и, оттолкнувшись, поняла, что недокручивает, но остановиться уже было невозможно, да и не хотелось останавливаться: какое-то странное безразличие овладело ею, и, словно зависнув в воздухе, она без страха и сожаления и даже со злорадством мстительным ждала удара, конца ждала и еще в воздухе услышала истошный визг перепуганных девчонок...

— Вот и все, — говорит Зарина, а я сижу напротив, а на столе между нами цветут подснежники, — вот и все... Со временем, — улыбается она, — я научусь, наверное, вышивать гладью или крестиком, или свитера вязать начну — жить-то все равно надо...

То же самое сказал о ней Алан, если вы помните, и тут бы мне о колясочке слово вернуть, о шагающей — можно и станочек вязальный на ней смонтировать, и пальцы для вышивания, — и, махнув рукой, но не решившись, а саму мысль эту отменяя, я чуть ли не выкрикиваю, сердито и укоризненно:

— Брось! Все пройдет, и ты встанешь на ноги! — и уже рот открываю, чтобы добавить в запальчивости: «Клянусь!», но осекаюсь, вспомнив:

ЧЕТВЕРО ТАКИХ УЖЕ КЛЯЛИСЬ. (Таксист-клятвопреступник, таксист, который возил нас к знахарю, Габо, который решил начать новую жизнь, и сама Зарина, которая зарекалась ходить к отцу, к Герасу достойному.)

Застываю с открытым ртом, поняв вдруг, что воспринимаю беду ее лишь формально, как знак воспринимаю, а остальное, суть саму и содержание, домысливаю в соответствии с собственным опытом, нажитым и заимствованным, в готовые рамки укладываю, отбрасывая то, что не умещается

в них и, следовательно, непонятно мне или наоборот, но и оставшееся располагаю не в истинном порядке, а в другом уже, удобном для усвоения, и даже рассказ ее я переработал, слушая, и принял только то, что так или иначе согласовывалось с моим образом мышления и попадало в диапазон моих чувствований, и в этом, облегченном виде, сентиментальный вариант ее истории может быть преобразован в героический (со временем, конечно), и оттого, наверное, бодрячество мое щенячье, и потому, наверное, я повторяю вновь, но не с нахрапом уже, а задумчиво:

— Все проходит...

БИБЛЕЙСКИЙ ОПТИМИЗМ.

— Да, да, — кивает Зарина, — это, как простуда: покашляешь и пройдет.

А что бы я сам ответил на ее месте?

Но отвечать мне не приходится: появляется Фируза, а в руках у нее поднос, а на подносе пироги, и выглядят они весьма аппетитно, но, по обыкновению всех осетинских женщин, она сокрушенно качает головой, жалуясь, что пироги не удались ей сегодня — сыр не тот, и тесто не подошло как следует, — и я улыбаюсь, с притворным сочувствием, и, глянув на меня подозрительно, Фируза спрашивает:

— Надо мной смеетесь? — интересуется.

— Нет, — говорю, — мать вспомнил. Она точно так же причитает над своей продукцией.

— Испытанный прием, — подтверждает Зарина. — Все женщины — перестраховщицы.

— А ну вас! — махнув рукой, Фируза уходит на кухню и снова возвращается, и снова уходит, и стол наконец накрыт, и я достаю из портфеля бутылку вина, а Фируза достает из серванта стаканчик хрустальный, но я требую еще два, и она возражает слабо: — Но мы же не пьем! — и обращается к дочери за поддержкой: — Правда, Зарина?

— Верю, — говорю. — Было бы странно, если бы вы пили! — улыбаюсь: — Я, кстати, тоже трезвенник...

И вот мы сидим за столом, а бутылка стоит себе, и никто к ней не прикасается, но каждое ружье раз в жизни само стреляет, и пробка сама выскакивает из горлышка, и вино само наливается в стаканчики, и это

НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ,

в котором я тост произношу, к всевышнему обращаюсь, благодаря его за дарованную нам жизнь и намекая на то,

что раз уж он даровал ее, то пусть заодно и о счастье нашем, о здоровье и благополучии позаботится, и тост этот, хоть и с натяжкой некоторой, соответствует традициям осетинского застолья, и собутыльницы мои заключают в один голос:

— Оммен!

Зарина — младшая среди нас, и я передаю ей стаканчик, и она отпивает чуть и откусывает от края пирога, и это тоже соответствует традициям, и с сознанием выполненного долга я — единственный за столом мужчина и потому старший — выпиваю торжественно, и Фируза вслед за мной, и Зарина, и, выпив, мы принимаемся за пироги, которые удались, конечно, и я заявляю об этом, и Фируза всем своим видом дает понять, что похвала ею не заслужена, однако не возражает особенно, слушает с удовольствием, и Зарина улыбается, подтрунивая над матерью:

— А если бы сыр был тот? А если бы тесто подошло как следует?

— Страшно подумать! — подхватываю.

— Да ну вас! — сердится Фируза. — Нашли себе развлечение!

А вино само наливается в стаканчики, и снова я тост произношу — о дорогах жизни и о нас, путниках:

— Дай бог, — провозглашаю, — чтобы дороги наши всегда были прямыми!

— Оммен!

Пьем, а стаканчики величиной с наперсток и бутылка как была полной, так и осталась, но Фируза разругалась уж, и даже Зарина порозовела, и мы сидим и болтаем о том, о сем, беспечно и весело, и, слышу, я о переподготовке воинской рассказываю, о Миклоше Комаре, о состязании в стрельбе из пистолета, и о З. В., конечно, о том, как он выдерживал меня в техниках и как я спроектировал тележку, оснащенную системой тяг для опрокидывания кузова, велосипедной фарой для движения в потемках и сигнальным устройством, которое должно было ухвать филином: «У!У!», о вешалке в стиле рококо рассказываю, об Эрнсте, о директоре, о Габо — ой, трёски! — и слушательницы мои смеются чуть ли не до слез, и, вдохновившись, я продолжаю — о тете Паше, о Канфете и так далее, и тому подобное — ах, до чего же смешна моя жизнь!

А вот и Зарина вступает и, насупившись, нахмурившись,

показывает, как я выглядел, когда она впервые увидела меня.

— Строгий, сердитый! — смеется. — Каменный гость!
Ах, это маска моя, щит, оружие оборонительное!

— Я ведь и к знахарю только со страха поехала, — сообщает она. — Налетел как ураган: «Быстрее! Быстрее!», я и обмякла, как овца перед волком!

— И я оторопела в первый раз, — подтверждает Фируза. — До чего же, думаю, серьезный молодой человек.

— Конечно, — улыбаюсь, — пугало огородное!

— Нет, нет! — протестует Фируза. — Неправда!

— Да, да! — подтруниваю над ними. — А оказался он простым и доступным, таким же, как все!

В третьем лице говорим обо мне и смеемся надо мной, третьим, и, смеясь, я мельком гляжу на часы — полдесятого уже, пора и честь знать — и поднимаю стаканчик, последний тост произношу, но серьезно уже, без смеха:

— Дай бог изобилия, счастья и радости вашему дому! Пусть каждый, кто переступает ваш порог, несет добро в сердце, а уходит, став богаче и щедрее душой!

Поднимаюсь, выпив, прощаюсь с Зариной, иду в переднюю, и Фируза, провожая меня, говорит тихонько:

— Спасибо вам. Я давно уже не видела, как она смеется.

Надеваю пальто, шапку, открываю дверь, собираюсь уходить, и слышу голос Зарины.

— Алап! — зовет она.

Возвращаюсь, подхожу к ней, а глаза ее уже потухли, и, словно пересилив себя, она говорит и тоже тихонько, так, чтобы не услышала мать:

— Не приходите больше.

— Почему? — спрашиваю удивленный и обиженный даже.

— Рано или поздно это вам надоест.

— Слышал уже, — киваю. — Других причин нет?

— Достаточно и этой, — жестко отвечает она.

— Нет, — улыбаюсь, — недостаточно.

— Я боюсь привыкнуть! — восклицает она в отчаянии. — Я не хочу ж д а т ь в а с!

Это похоже на признание.

— Ничего, — бормочу, смущенный, — ничего...

ВЕСЕЛЫЙ УЖИН С ПАРАЛИЗОВАННОЙ ДЕВУШКОЙ.

Возвращаюсь домой и, едва открыв дверь, слышу телефонный звонок и, зная уже, чувствуя, что это Зарина,

бросаюсь к аппарату, хватаю трубку и бодро возвещаю о себе:

— Да?

— Здравствуйте, — слышу. — Где изволили пропадать? Это Майя.

— Я тут недалеко, — сообщает она. — Хочешь, зайду на часок?

— Нет, — отвечаю и добавляю второпях, смягчая ответ: — Я не один.

— Надеюсь, у тебя не женщина?

— Нет, — говорю, — не волнуйся.

— С чего ты взял, что я волнуюсь? — смеется она. — Я не собираюсь посягать на твою свободу.

— Тем более, — говорю, — тем более...

— А все же кто у тебя, если не секрет?

— Женщина, — отвечаю, — папуаска с острова Мяу-Мяу.

— А как ее зовут?

— Луиза Карловна Фельдшер.

— Перестань! — сердится она. — Кто у тебя на самом деле?!

Тут бы мне рывкнуть на нее, чтобы не приставала впредь с подобными вопросами, но я бормочу, словно оправдываясь:

— Да никого у меня... Брат приехал.

— То-то же! — произносит она удовлетворенно. — А с папуасками не торопись пока, успеешь еще напапуаситься.

— Ладно, — обещаю, — не буду.

— Жаль, что не получается у нас сегодня.

— Жаль, — вздыхаю, — но ничего не поделаешь.

— Не скучай, — смеется она. — Увидимся еще.

Слово «увидимся» в ее лексиконе имеет иной, отличный от общепринятого смысл.

— Конечно, — говорю, — обязательно.

— До свидания, — прощается она. — Привет брату.

— Передам, — отвечаю, — спасибо.

Кладу трубку, раздеваюсь и, почувствовав вдруг невероятную усталость, валюсь на раскладушку и проваливаюсь в какое-то смурное полубытие, не сплю вроде бы, но и не бодрствую, и вижу ровную, как стол, пустыню, а посреди нее — веранду летнюю, а на веранде знахарь стоит, но не в гимнастерочке застиранной, а во фраке и в цилиндре блестящем, стоит и произносит с выражением и с подвыванием

даже, словно стихи на современный манер читая: «Человек рождается с одним лицом. Но бывает, что с в о е г о ч е л о в е к у мало. Он ищет другое, лучшее, но пока ищет, настоящее лицо его умирает». Закончив декламацию, он снимает цилиндр и раскланивается, и под аплодисменты чьи-то веранда медленно поднимается в воздух — а знахарь все раскланивается — и бесшумно, как НЛО, улетает, и я остаюсь один в пустыне, но пустыня эта заасфальтирована от горизонта до горизонта, и на всем пространстве ее вспучиваются, дымясь, асфальтовые пузыри, опадают и снова вспучиваются и, достигнув высоты человеческого роста, лопаются, но тоже бесшумно, и словно катапультай подброшенные, из них выскакивают какие-то люди с черными тюленьими телами, с телевизорами вместо голов, с голубыми экранами вместо лиц, а на экранах девки пляшущие, стрип-токинез забубенный, а на экранах рожи хохочущие, и пере-кликаясь — Ирбек! Каурбек! Батырбек! — они окружают меня, хватают и начинают перебрасываться мной, как мячом, и, перелетая от одного к другому, я кричу что-то нечленораздельное, и на одном из экранов появляется Люда-Людок, жена васюринская, и, распахнув цветастое кимоно, улыбается соблазнительно, и я слышу голос ее: «Вы говорите совсем без акцента!», и рожи экранные (Ирбек, Каурбек, Батырбек) поворачиваются к ней, а Люда-Людок приплясывает, кимоно сбросив, исполняет вставной номер.

Что танцуешь, Катенька?
Польку, польку, маменька!
Что за танец, доченька?
Самый модный, маменька!

Рев, свист восторженный, в воздух взлетают дензнаки, и забытый на время, я выбираюсь из толпы и вижу колясочку шагающую, и слышу голос Алана: «Садись! Скорей!», и голос Габо: «Срывайся!», и, благодарный, вскакиваю в коляску, хватаюсь за рычаги и нажимаю изо всех сил, но коляска не трогается, только подрагивает чуть и поскреже-тывает, а Людок все приплясывает, и, когда она кончит, телетюлени вспомнят обо мне, и, весь мокрый от пота, я дергаю рычаги, но напрасно — вручную эту конструкцию не приведешь в движение, тут моторчик нужен, моторище! — и я кричу Алану, на помощь его призывая: «Нужен двигатель внутреннего сгорания!», и, то ли очнувшись, то ли проснувшись, повторяю, счастливый:

— Двигатель внутреннего сгорания...

Встаю и, сам уже пританцовывая — привет, Людок! — иду в ванную, споласкиваюсь холодной водой и, глядя в зеркало, улыбаюсь, довольный, и, улыбаясь, покачиваю головой — как же я сразу не додумался? Конечно, мотор надо использовать, дизель! — и, налюбовавшись собой, а заодно и в правильности своей мысли убедившись, возвращаюсь в комнату, подхожу к телефону, снимаю трубку и небрежно так, мизинцем левым набираю номер, слышу длинные гудки и слышу хриплый голос:

— Да?

Это Эрнст.

— Здравствуй, — говорю. — Как поживаешь?

— Что за идиотизм?! — слышу в ответ. — Ты что, умом повредился?

— В каком смысле? — интересуюсь.

— В прямом! — слышу. — Ты знаешь, сколько сейчас времени?

— Представления не имею.

— Час ночи! — сообщает он. — А у меня, между прочим, жена и двое детей.

— Две девочки, — уточняю, зная его больное место.

— Ну и что? — слышу. — Третьим родится мальчик!

— ... пятым, шестым, — продолжаю счет. — Благодаря тебе в стране произойдет демографический взрыв!

— С такими, как ты, демографический взрыв невозможен!

— Ладно, — отвечаю, задетый, — рожай, если тебе нравится.

— Лучше о себе подумай!

— Отстань, — ворчу, — для нотаций у меня есть отец.

— Передай ему мои соболезнования.

— Сам передавай!

— Слушай, — говорит он, — у меня складывается мнение, что в детстве тебя мало били.

— Я был хорошим, воспитанным мальчиком.

— Оно и видно!

— Конечно, — говорю. — А теперь скажи — ты знаешь, как действует дизельный двигатель?

— Ты позвонил, чтобы это спросить?!

— Да, — улыбаюсь, — именно это.

— Знаю, — ворчит он, — ну и что?

— Да ничего, — отвечаю небрежно. — Ну-ка представь себе, что получится, если в камеру сгорания дизеля

впрыскивать не солярку, а реагенты А и В, а катализатор К прикрепить к головке поршня? Ну, пошевели мозгами! Что мы получим вместо выхлопных газов?

— Производное АВ, — бормочет он неуверенно. — Слушай, а ведь в цилиндрах дизеля и давление создается подходящее для нашей реакции... Слушай — это же гениально! Как же никто до сих пор до этого не додумался?!

— Не ори, детей разбудишь.

— Какого же черта ты морочил нам головы своим амортизационным устройством?!

— Это была попытка, первый шаг. Знаешь, кто это сказал?

— Ну?

— Наш бывший начальник З. В.

— Не валяй дурака!

— Ладно, — говорю, — давай кончать, у меня уже ухо вспотело.

— Подожди, — горячится Эрнст, — надо обсудить! Это действительно потрясающая идея! Мы можем создавать линию для непрерывного получения АВ! Это же завтрашний день!

ТЕХНОЛОГИЯ ВРЕМЕН НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

— Да, — говорю, — да... Спокойной ночи.

Кладу трубку.

Укладываюсь в постель, читаю на сон грядущий:

«Как известно, немецкий археолог Шлиман откопал остатки легендарной Трои на глубине 15 метров — такой слой грунта образовался за несколько тысяч лет.

При земляных работах в штате Нью-Джерси на глубине четырех метров рабочие нашли... паровоз XIX века. Затем на этом месте был обнаружен целый завод — остатки литейного цеха, слесарные мастерские, сборочный конвейер. Это предприятие прекратило свои работы всего лишь 70 лет тому назад».

«Сынок, — сказал директор, когда мы с Эрнстом явились к нему с новой идеей, — сынок, — произнес он озадаченно и озабоченно даже, — я не успеваю за тобой».

Иду по городу, по тихой одноэтажной окраине, а погода солнечная, а я уже целую неделю не выходил днем на

улицу — только по утрам, торопясь на работу, и по вечерам, возвращаясь, а утром и вечером еще подмораживает, — и в гонке обыденной не заметил, как пришла весна, и сугробы осели, отяжелев, и на отвалах обнажились ноздреватые, изъеденные бензиновой гарью пласты — счет прошлых снегопадов, — и солнце припекает, спеша стереть следы прошедшего времени и начать новый круг, и я иду, прогуливаясь беспечно, переступаю через ручейки-ручеечки, журчанье бойкое, а Зарина сидит в старом кожаном кресле, и время ее движется по горизонтали, но линия его не прерывистая, как прежде, а безнадежно-сплошная, и, вспомнив об этом, я останавливаюсь в задумчивости, и мне представляется черная могильная плита, да, черная плита мне представляется, а на ней дензнак топорщится членистоногий, травоплотонасекомоядный, и надпись виднеется замшелая:

(ИРБЕК, КАУРБЕК, БАТЫРБЕК),

а также

ГЕРАС И ДУДАР,

и еще одна надпись, дарственная:

В бЛаГоДаРнОсТЬ За сВоЕвРеМеНнУю КоНчИну,
и, расправившись таким образом с ворами-нуворишами, я усмехаюсь — ах, можно и не то еще вообразить себе, согласитесь! — и, усмехнувшись невесело, трогаюсь с места, перешагиваю через ручеек шаловливый и слышу вдруг голос с неба:

— Алан!

Задираю голову, а талая водичка оmyвает мой правый башмак, и вижу в небесной лазури крохотный самолетик, проворно уползающий к солнцу, и один из моих одноклассников стал летчиком, как вы помните, но служит он на Дальнем Востоке, и если даже его потянуло полюбоваться родными краями, вряд ли с такой высоты он смог бы разглядеть меня и докричаться, и, решив, что это померещилось мне, я опускаю голову, вынимаю башмак из воды, делаю следующий шаг и снова слышу:

— Алан!

Самолетик уже не виден, только след остался, белая линия, косо прочерченная в небе, и она продолжается как бы сама по себе, а конец ее расплывается, тает в воздухе, исчезает, и я перевожу взгляд ниже, на скаты черепичных, шиферных и жестяных крыш, и замечаю на дворе напротив

деревянное строение, напоминающее сторожевую вышку, которая стояла когда-то в кукурузном поле возле нашего села, и большей частью она пустовала, но иногда к ней подъезжал объездчик, привязывал коня к одному из опорных столбов и, поднявшись, озира́л с высоты вверенную ему территорию — ах, когда же это было?! где она теперь, та вышка? — а на этой, словно из прошлого возникшей, виднеется фигура знакомая, голова, переходящая в шею, переходящая в туловище, и, обрадованный, я машу рукой, и он, З. В., машет, приглашая войти во двор, и я открываю тяжеловесную железную калитку, иду мимо кирпичной стены добротного дома, мимо веранды застекленной, а З. В. спускается мне навстречу, но я останавливаю его — мне хочется подняться наверх, но не тайком, как в детстве, и, согласившись, он возвращается с полпути, и я взбираюсь по крутой, потемневшей от времени лестнице, и, встретившись под дощатыми стропилами, под крышей островерхой, мы обмениваемся рукопожатиями, и, улыбаясь смущенно, З. В. говорит:

— Когда построил дом, остались кое-какие материалы... чтобы не пропадали зря, решил соорудить вот это...

Ах, не обманывайте, З. В., не надо!

— Для жены, — объясняет он, — для сушки белья. Здесь и пыли меньше, чем внизу, и если дождь пойдет, не страшно, крыша имеется...

Улыбаюсь, разоблачая его:

— Пожалуй, с кипой мокрого белья по этой лестнице не поднимешься.

— Да, — соглашается он виновато, — не учел... Но потом уже не хотелось ломать, да и некогда было — так оно и осталось...

А я на дикую грушу, на самую ее верхушку взбирался в извечном стремлении человеческом к небу — не в поисках ли родства отдаленного, сочувствия и защиты? — сидел, прижавшись к теплomu стволу, смотрел на облака-облачка перистые, кучерявые и, замороженный их плавным, свободным ходом в бескрайней голубизне пространства, отделялся от собственной плоти и поднимался ввысь, парил рядом с ними, облетал землю, бродил невидимкой по чужим городам, прислушивался к речи иноязычной толпы, и не только прислушивался, но и действовал: экспроприировал материальные блага и оделял ими бедняков, прекращал войны, наведывался к чванливым правителям и давал им кое-какие советы, а то и пинка под зад давал в лучших тради-

циях комедийного кинематографа, и хохотал, невидимый, и они падали в ужасе на колени, бились лбом об пол и, теряя себе на пользу излишний вес, просили прощения и обещали исправиться; я восстанавливал в правах аборигенные племена и народы, строил сверкающие города, закладывал сады в пустынях, и счастливые люди, распевая звонкие песни, собирали финики и пряники и справедливо распределяли их между собой, и усталый, но довольный я улетаю, возвращался домой, соединялся со своей плотью, и, сидя на дикой груше, на небе еще, но уже и на земле, оглядывал окрестные дворы и огороды и, невидимый в густой листве, наблюдал за непонятной подчас, а подчас и смешной деятельностью близких и дальних соседей.

ЗОЛОТАЯ ПОРА ДЕТСТВА.

Взрослым, как известно, не пристало лазать по деревьям, и с возрастом они намертво срастаются со своей плотью, и объем их равен объему воды, вытесняемой ими при погружении в ванну, и так далее и тому подобное, но некоторые, представьте, не вписываются в законы подобий, и это раздражает добропорядочных граждан, но, с другой стороны, помогает им утвердиться в своей правильности, и, утвердившись, они посмеиваются свысока, глядя, как некий чудаковитый из Калуги, набрав в лодку камней, отталкивается от берега и начинает швырять булыжники один за другим, и, смеясь, они не замечают, зеваки, что с каждым броском под воздействием какой-то неведомой силы лодка уплывает все дальше и дальше от берега; они посмеиваются, глядя на нелепое и бесполезное сооружение, воздвигнутое другим чудаком посреди собственного двора — вы не ожидали этого от З. В., признайтесь! да и я не ожидал! — словно оправдываясь, он говорит:

— Люблю подниматься сюда... Здесь как-то хорошо думается, — и добавляет неуверенно, — о будущем, — и добавляет еще, — хоть вам, наверное, кажется, что такому старику, как я, уже нечего думать о будущем...

Ах, они разного порядка чудаки — тот, из Калуги, и З. В., — одного из них знает весь мир, и никто не знает того, что не удалось второму, и если бы я не забрел случайно на эту улицу, и он случайно не увидел меня, я бы вошел в этот двор только лет через десять, или двадцать, или девяносто, если позволите, явился бы с коллегами-конструкторами, чтобы проводить в последний путь своего бывшего начальника, и, как это водится на осетинских похоро-

нах, ворота перед его домом были бы распахнуты настежь, чтобы каждый мог войти, не спрашиваясь, и, как всякий к а ж д ы й, я стоял бы и дивился странноватой вышке, торчащей посреди двора, и пытался догадаться о ее предназначении, и думал с грустью о том, что, общаясь с З. В. чуть ли не каждый день на протяжении семи с половиной лет, ни разу не поговорил с ним п о - ч е л о в е ч е с к и, и выкатившаяся из памяти тележка, оснащенная сигнальным устройством, заухала бы филином: «У! У!», укоряя меня самого и покойника, который жив и здоров, впрочем, и всех бегущих стремглав укоряя — рукопожатие при встрече: «Как дела?», улыбка: «Ничего!» — и я стоял бы, ощущая горечь утраты и предчувствуя горечь грядущих утрат, и я стою, но не у гроба, слава богу, а на вышке, озирая окрестности и думаю, печалюсь, и слышу голос З. В.:

— А почему вы разгуливаете по городу в рабочее время?
НАЧАЛЬСТВО И НА ПЕНСИИ НАЧАЛЬСТВО.

— Что нового в отделе? — спрашивает он. — Как дела?

— Ничего, — улыбаюсь.

Когда мы с Эрнстом явились к директору с новой идеей, он произнес озадаченно:

«Сынок, я не поспеваю за тобой».

«Это лирика, — остановил его Эрнст. — Давайте по существу».

«Ты так напирал, — усмехнулся директор, — будто борешься с кем-то. — Он заглянул под стол, выпрямился, кряхтя, и сообщил удовлетворенно: — Нет никого, — и развел руками, — нет у тебя противников».

«А у меня?» — поинтересовался я.

«Вы же сиамские близнецы, — ответил он. — Только ты близнец похитрее, сынок. Тебе вроде бы ничего и не нужно от жизни, ты ее со стороны наблюдать приспособился».

«А вы? — спросил я, задетый. — А вам от нее много нужно?»

«Я мученик, — вздохнул он, — мне ко всем приходится приспособливаться».

«Пока я не заплакал от жалости, — сказал Эрнст, — все же вы ответьте — что будем делать?»

«Как что? — удивился директор. — Надо продолжать разработку амортизационного устройства».

«А дизель?! — завелся Эрнст. — А вы говорите, что у нас нет противников!»

«Дизель, — выдержав паузу, спокойно ответил дирек-

тор, — это само собой. Будем согласовывать его с заказчиком, с Васюриным будем согласовывать — темой руководит он, а не я».

«В чем же дело? — Эрнст подвинул к нему телефонный аппарат и даже трубку снял: — Заказывайте Москву».

«Знаешь, сынок, — вздохнул директор, — я почему-то стесняюсь говорить по телефону при людях. Такая у меня странность».

«Пожалуйста, — вскочил Эрнст, — мы подождем в приемной».

«Чего ты рвешься туда? — сказал директор. — Ну, у него там есть интерес, — он кивнул на меня, — понимаю. А ты чего прыгаешь?»

«Неужели догадывается?» — окаменел я, одеревенел, закашлялся.

Директор нажал кнопку, и в кабинет вошла Майя.

«Предупреждаю тебя, — сказал он ей, — что бы они ни говорили, не верь им. У этого, — он показал на Эрнста, — у самого две невесты подрастают, а этот, — он ткнул в меня пальцем, — слишком красивый, обманет».

«А еще в любви клялся! — включившись мгновенно, подступилась она ко мне. — В загс обещал повести!»

«Нет, — покачал он головой, — если бы клялся, ты бы об этом молчала».

Значит, не догадывается, вздохнул я с облегчением.

«Если бы у меня была незамужняя дочь, — задумчиво проговорил он, — я бы отдал ее за тебя, сынок».

«Спасибо, — поблагодарил я, польщенный, — но зачем вам хитрый зять?»

«Я и сам непрост, — вздохнул он и, повернувшись к Майе, спросил: — Ты звонила в Москву?»

«Да».

«Васюрин в отъезде?»

«Да».

«Приедет на будущей неделе?»

«Да. Во вторник или в среду».

«Ну, — усмехнулся он, — видите? Придется подождать».

ТАКАЯ ИГРА.

Эрнст поднялся, ворча, и я следом за ним, и, когда он вышел, а я уже занес ногу, чтобы шагнуть за порог, как директор остановил меня.

«Сынок, — сказал он ласково почти, — за это время ты успеешь выполнить все формальности».

«Какие еще формальности?» — спросил я удивленно.

«Сам знаешь, не маленький, — ответил он. — Иди, иди»...

На следующий день, в пятницу, ко мне подошел Эрнст и, улыбаясь загадочно, сказал:

«Знаешь, почему он тянет?»

«Ну?» — поинтересовался я.

«Хочет, лис матерый, чтобы ты составил заявку на изобретение и сдал ее в отдел информации».

«К чему такая спешка?»

«Не знаю, — ответил Эрнст, — видимо, у него есть на этот счет свои соображения».

«А почему он не сказал прямо?»

«Потому, что предпочитает изъясняться намеками».

«Я никогда не умел решать задачи на сообразительность».

«Но он ведь прав — производным АВ занимаемся не только мы, и не только в нашей стране, а в таких случаях лучше поторопиться, чем опоздать».

«Пусть победит дружба», — усмехнулся я.

«К понедельнику заявка должна быть готова».

«Знаешь, — вздохнул я сочувственно, — кроме производных А и В у меня есть еще и личная жизнь, и она приходится как раз на выходные дни».

«Слушай, — взорвался Эрнст, — почему тебя всегда нужно упрашивать?!»

Я собирался зайти в субботу к Зарине, глянуть, как поживают подснежники, а в воскресенье собирался поехать домой — там ведь не все ладно, если вы помните, — но всю субботу просидел в однокомнатной своей (17,8 кв. м), сочинял описание к заявке и вычерчивал схемы, и улегся спать, так и не закончив работу, и, проснувшись в воскресенье, вышел за хлебом и, выйдя, увидел в подъезде незнакомого отрока в широкоплечей кожанке, и, возвращаясь из магазина, замедлил шаг, проходя мимо него и ожидая, что он спросит о чем-то или скажет, но отрок стоял, набычившись, неподвижный и безмолвный, как небольшая скала, и, пройдя мимо, я сунул ключ в замочную скважину и, ощущая спиной его присутствие, открыл дверь и закрыл ее с облегчением, позавтракал — хлеб, сыр, яичница — и снова уселся за письменный стол, понимая, что поехать в село мне уже не удастся, но надеясь еще навестить Зарину. Мне слышался голос ее: «Это вам скоро надоест», и я сидел, сочиняя, вы-

черчивая и чертыхаясь, а будильник частил, словно пятилетку за три года выполнить обязался, и я торопился, прислушиваясь к нему и стараясь поспеть за временем, но дело не ладилось, слова не связывались в предложения, и, зачеркивая и перечеркивая, я начинал все сначала, а солнце перевалило зенит, а солнце уже клонилось к закату, и косые лучи его коснулись окна, и надежда моя, вспыхнув последний раз, погасла, и я откинулся на спинку стула и подумал, что надо хотя бы позвонить Зарине, поговорить, отвлечь ее хоть на минуту, и, раздумывая об этом, услышал стук в двери, и что-то рванулось во мне и замерло — Майя! — но она стучалась иначе, и, решив, что это Эрнст явился с проверкой, я встал, и, шаркая по-старчески, пошел открывать и, открыв, обрадовался — на пороге стояли Таймураз, Абхаз и Ольгерт, все трое высокие, крепкие, и каждый с чемоданом в руке. Они вошли, а отрок стоял на том же месте и в той же позе, уселись на раскладушку, продавив ее чуть ли не до самого пола, и, кивнув на чемоданы, я спросил:

«Куда снарядились? Уж не ко мне ли на жительство?»

«По магазинам шатались, — ответил Таймураз. — Покупали подарки для родственников невесты. Мы для них покупали, они для нас, даже столкнулись в универмаге, но сделали вид, что не заметили друг друга. — Он скривился: — Бред какой-то! Люди на Луну летают, а мы за подарками в очередях бьемся... Мало того — еще и сватовство затеяли. Фикция, и все это знают, но исполнили, как положено по обычаю, как в каменном веке. У вас товар, у нас купец»...

«А мне почему не сказали? — спросил я, вспомнив, что ни разу еще не видел ту, которая через неделю станет нашей младшей невесткой. — А я почему не участвовал?»

В КАМЕННОМ ВЕКЕ ТАКОГО НЕ БЫВАЛО.

«Решили не беспокоить по пустякам, — он показал на письменный стол: — У тебя и так дел по горло».

Ничего себе пустяк, подумал я и спросил:

«А что отец?»

«Молчит, — пожал он плечами. — С того самого вечера как воды в рот набрал».

Словно отрекаясь от престола и давая нам вольную, отец сказал тогда: «Живите, как вам нравится», и, проговорив про себя эту фразу, я подумал, что и сам бы молчал на его месте, и вздохнул себе в утешение:

«Ничего... Пройдет время, и все образуется».

«Ладно, — сказал Таймураз, — разговорами сыт не будешь. У осетин, между прочим, принято кормить гостей».

«Это пережиток, — ответил я, — каменный век».

Абхаз и Ольгерт засмеялись, но скромненько так, беззвучно почти, а я стал расспрашивать их о работе, о родителях, и они отвечали мне коротко и почтительно, как м л а д ш и е, и, приняв это как должное, я подумал, усмехнувшись про себя, что наши заскорузлые обычаи не так уж плохи, как может показаться на первый взгляд, и даже собрался произнести небольшую речь по этому поводу, но Таймураз опередил меня:

«Дашь нам поесть или нет?! Всю жизнь я конфликтую с вами! — и повернувшись к Абхазу и к Ольгерту, пожаловался: — Всю жизнь было так — вся семейка заодно, а я на отшибе».

Он вспомнился мне вдруг маленьким — бежит по двору, голопузый, а я ловлю его, и, визжа от восторга, он уворачивается и, пойманный, прижимается ко мне, обхватывает руками за шею, бормочет что-то, а в глазах любовь, и радость в глазах — и сердце мое сжалось, как тогда, и я улыбнулся насмешливо:

«Ты здесь такой же хозяин, как и я. Иди на кухню и корми своих друзей».

«Пойдем, — сказал он им, — от него не дождешься».

Я сел за письменный стол, повеселев вдруг и поверив, что дело сдвинется наконец с мертвой точки, а они изжарили яичницу и ели со сковороды, разговаривая и смеясь, и, наевшись, засобирались — пора, надо успеть на последний автобус — и я вышел проводить их, а отрок все стоял в подъезде, и, возвращаясь, я остановился и спросил участливо:

«Кого-нибудь ждешь?»

«Лариса здесь живет?» — глянув на меня исподлобья, произнес он, и я понял, что

ПРИШЛА ВЕСНА,

и с грустью подумал о том, что не чувствую ее, как прежде...

«В каком классе учишься?» — спросил я отрока.

«В восьмом», — ответил он хрипло.

Глаза его от долгого стояния налились кровью, и, отметив это, я предложил по-дружески:

«Ты можешь выдать себя за девятиклассника и жениться на какой-нибудь вдове».

Он с устрасющей медлительностью сунул руку в карман. Надеюсь, у него там не граната и он не взорвет меня вместе с собой, подумал я, усмехнувшись, и сказал:

«Лариса здесь не проживает».

«Поклянись!» — потребовал он, не вынимая руку из кармана.

«Клянусь! — я отдал пионерский салют. — Бог свидетель!»

ЧЕТВЕРО ТАКИХ УЖЕ КЛЯЛИСЬ.

Труд свой я закончил только во вторник и во вторник же отнес его в отдел технической информации, и, удивляясь точности срока, предсказанного директором, позвонил ему:

«Ваше приказание выполнено, — доложил. — Заявка оформлена».

«Разве я приказывал, сынок? — остановил он меня. — Просто к слову пришлось».

«Простите, — усмехнулся я, — конечно».

«Вот и хорошо, — услышал в ответ, — будем разбираться».

В среду, то есть сегодня, он созвонился с Васюриным, и я не знаю, как сложился их разговор, но вызвав меня, директор заявил без обычных своих вступлений и без всякой лирики:

«Иди в бухгалтерию, получи деньги и завтра же вылетай в Москву».

«Зачем? — опешил я. — Идея настолько проста, что ее за пять минут можно изложить по телефону».

«Васюрин просит, — с некоторым раздражением ответил он. — Для уточнения некоторых деталей».

«Не полечу, — ответил я решительно. — Отправьте Эрнста».

«Он требует тебя».

«Через два дня женится мой брат! Должен же я присутствовать на свадьбе?!»

«Ты же сам говоришь, что идею можно изложить за пять минут, — усмехнулся он. — Вот и управься за два дня, а в субботу прилетишь, и с самолета на свадьбу».

«Надо ведь и помочь дома! — упирался я. — Вы же знаете, какое это дело!»

«Знаю, сынок, — проговорил он, смягчившись, и спро-

сил: — Родственники у тебя есть — двоюродные и троюродные, я имею в виду, деревенские?»

«Есть, — ответил я недоуменно. — А что?»

«Вот они и помогут, — сказал он и вздохнул: — На нас, городских, надежды мало».

Получив деньги, я поехал в кассу Аэрофлота, купил билет, но возвращаться на работу уже не стал, да и домой не спешил — собраться я мог в одну минуту, — и, решив прогуляться, пошел по давней своей привычке куда глаза глядят и забрел на окраину, как вы знаете, и вот мы стоим с З. В. на вышке, и я рассказываю о п р о и з в о д с т в е, и, выслушав меня, он провозглашает торжественно:

— Поздравляю! Вы нашли настоящее решение. Теперь после соответствующих исследований, можно будет начать разработку промышленной линии для получения АВ.

То же самое, но не столь торжественно, сказал мне Эрнст.

— Пойдемте в дом, — приглашает З. В. — Правда, жена уехала к дочери, и пироги печь некому, но мы уж как-нибудь по-холостяцки...

— Спасибо, — отказываюсь. — Мне нравится у вас на вышке. Такой обзор, — улыбаюсь, — такие дали...

— Дочь вышла замуж в Румынию, — продолжает он и, словно изумляясь этому, добавляет: — Внуки у меня румыны... А сын вроде вас — все не женится никак. Работает на Сахалине, приезжает раз в два года, а отпускное время сами знаете, как летит... А я ведь для него дом строил, — вздыхает, — построил, а он ему не нужен...

— Заурбек Васильевич, — начинаю, и лучше бы мне молчать, и, сомневаясь, я затягиваю начало: — Можете честно ответить на один вопрос?

— Конечно, — обещает он, — пожалуйста.

— За что вы недолюбливали меня?

Говорю о нем в прошедшем времени и, спохватившись, хочу поправиться, но слово уже сказано.

— Вас?! — лицо его багровеет, и это уже прежний З. В., голова, переходящая в шею, переходящая в туловище, головогрудь бойцовская. — Нет, — произносит он, сдерживаясь, — неправда. К вам я относился даже лучше, чем к другим. — Махнув рукой, словно решившись на что-то очень важное, он говорит: — Раз уж пообещал ответить, значит, надо! — и, словно боясь передумать, выкладывает торопливо: — Я стремился к тому, чтобы каждый чув-

ствовал себя в отделе, как в родной семье, трудился по мере сил, но от души, без принуждения и самому себе в удовольствие, и во имя общего блага...

Усмехаюсь скептически:

— Еще один дом построить пытались?

— Да! — подтверждает он яростно. — Только вы не желали жить в нем, Алан Бесагурович! Вам нравилось держаться обособленно, и на здоровье, я ведь не собирался посягать на вашу свободу... Нет, дело тут в другом. Вы не желали реализовывать свои возможности, то, что досталось вам дуриком, от бога, как говорится. Так было до тех пор, пока я не подметил одну вашу особенность. Да, — теперь уже он усмехается, — все ваше изобретательство — это не более чем форма протеста, борьба за драгоценное — свою индивидуальность. Вот мне и приходилось прижимать вас, провоцируя, если можно так выразиться, на творчество.

Смотрю на него оторопело, не зная, верить или нет, и чувствую, что он не хитрит, и спрашиваю, боясь обидеть, но все же с некоторой долей иронии:

— И эту мою особенность вы углядели с вышки? И, не сходя с нее, придумали способ воздействия?

— Я не навязываю вам своих убеждений, — отвечая скорее самому себе, чем мне, говорит он, — но в самом скором времени так оно и будет. — В глазах его появляется фанатический блеск: — Люди должны жить одной семьей! Все! — он обводит рукой горизонт. — Все!

— Мне бы ваш оптимизм, — улыбаюсь.

— Я свободен теперь, — произносит он задумчиво. — Свободы у меня даже больше, чем нужно человеку... Буду подниматься на вышку, вспоминать прошлое...

...и создавать заодно приятный во всех отношениях вариант собственной биографии:

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ГЕРОИЧЕСКИЙ?

— Хочу понять наконец, — в глазах его снова появляется блеск, — почему люди не могут жить в мире?

Он умолкает, и мы стоим молча, обзреваем черепичные и шиферные крыши, и я чувствую вдруг усталость и говорю, решившись прервать молчание:

— Простите, но мне пора уже. Надо собираться в дорогу.

— Я провожу вас, — предлагает он. — Пройдусь немного.

Спускаемся, и лестница потрескивает под нашей общей тяжестью.

Идем, и говорить нам больше не о чем — не возвращаться же к производству после речей возвышенных! а по душам ведь походя не разговоришься, — и мы шагаем сосредоточенно, а под ногами журчат ручейки-ручеечки, и улочка спокойненькая — заповедник домовладений частных — скоро кончается, открыв перед нами пятиэтажье новостроек — слякоть, сутолока людская и автомобильная, — и, поскользнувшись, З. В. оступает в лужу, подернутую радужной пленкой мазута, и я поддерживаю его под локоть, и, словно извиняясь за неловкость, он произносит смущенно:

— Это еще не настоящая весна, — и добавляет грустно, — обманная, — и я догадываюсь о причине его грусти: он не молод уже,

ОН МОЖЕТ И НЕ ДОЖДАТЬСЯ НАСТОЯЩЕЙ ВЕСНЫ.

Идем, прижимаясь к стене бесконечного панельного дома, по узкой, относительно подсохшей полоске тротуара, и вдвоем на ней не уместиться, и, младший, я вышагиваю впереди, как и положено у осетин, и обычай этот родился, наверное, в те давние времена, когда за каждым камнем, за кустиком каждым вас могли поджидать абреки-разбойники или кровники-мстители, что еще хуже, и первый удар должен был принять на себя более сильный, принять и отразить, если удастся, и хоть времена те уже канули в вечность, мы с З. В., не отдавая себе в том отчета, соблюдаем старый боевой порядок — ах, крепенько же оно сидит в нас, прошлое! — и, думая об этом и стараясь не замочить невзначай башмаков, я продвигаюсь по суетной, но мирной улице и вижу: перед витриной универмага, перед строем щеголеватых манекенов стоит тетя Паша, стоит с протянутой рукой и угрюмо зовет к прохожим:

— Подайте, ради Христа!

Здоровуюсь, поравнявшись с ней, и, мельком глянув на меня и не узнав, она повторяет:

— Подайте, ради Христа!

Смутившись, роюсь в кармане, в командировочных, отыскиваю на ощупь рубль, сую дензнак в полураскрытую ладонь, словно в копилку, и отхожу, освобождая поле деятельности для тети Паши и дожидаясь приотставшего З. В.,

который бредет, размышляя о чем-то своем, и, приблизившись к бывшей маклерше и бывшей торговке, он оглядывает ее рассеянно, смотрит внимательнее и останавливается вдруг, будто на стену наткнувшись, и на лице его изумление, переходящее в ярость, переходящее в ненависть, и тетя Паша открывает рот и заводит угрюмый речитатив:

— Подайте, ради Хрис... — и застывает с открытым ртом, щерит длинные желтые зубы, и зрачки ее расширяются, и она вперяет ненавидящий взгляд в З. В., и они стоят, и волны ненависти, индуцируемые ими, расходятся вокруг, захватывая пространство, и разом становится темнее, и люди озираются в неосознанной тревоге и смотрят в небо, словно грозы ожидая, и, уловив это движение беспокойства, З. В. выходит из оцепенения и произносит сдавленно:

— Госама?!

Услышав его голос, тетя Паша отшатывается от витрины, будто какой-то из манекенов в спину ее толкнул, и с протянутой рукой идет через улицу, и автомобили, визжа и воя, шарахаются от нее, и, глядя ей вслед, З. В. бормочет:

— Жива еще... Жива...

Госама, повторяю про себя, догадываясь уже, чье это имя, и спрашиваю со стороны:

— Разве она осетинка?

— А кто же еще?! — отвечает З. В., медленно подвигаясь ко мне. — Она из нашего села. Жена кулака и сама кулачиха... Пятеро сыновей у нее было, один здоровее другого. Все село за глотку держали, все у них в должниках ходили, — он останавливается на полпути, и теперь уже я делаю шаг ему навстречу. — Когда началось раскулачивание, мы единогласно проголосовали за их выселение...

Слушаю и вижу: вот они заходят во двор Госамы, рвань голодная, комсомольцы ретивые, вяжут мужа ее, вяжут сыновей, хоть в этом нет никакой необходимости — они не сопротивляются, уверенные, что власть эта беспутная долго не продержится, — но их вяжут все-таки, руки назад заводят, узлы на запястьях стягивают, с удовольствием вяжут, и они стоят, смиренные, как овцы перед закланием, ни гонора прежнего, ни наглости — все внутри, все упрятано до времени: вы еще получите свое, сельчане, дайте только срок! — а Госама в доме у окна стоит, смотрит во

двор, и ждать срока она не в силах — кровь бросается ей в голову, в жилах молодых бурлит...

— Нет, — говорит З. В., — она и тогда уже старая была...

Госама винтовочку из тайника достает, патрон в ствол досылает и на крылечке появляется.

«Развяжите их, — кричит, — а то всех перебыю!»

Топчутся комсомолцы на месте — сунься, попробуй! — топчутся, а сделать ничего не могут: женщина ведь, не стрелять же в нее. Тут вожак их, Заур, Заурбек Васильевич впоследствии, впоследствии З. В., трогается к крыльцу походочкой легонькой, идет и улыбается, будто и не боится ничего:

«Госама, — говорит, — подожди, — а сам уже рядом, — дай-ка сюда винтовку».

Госама сверху, с крылечка всем телом своим ладным подается к нему — ах, нет, она ведь старая была, ей уже за сорок перевалило! — подается и винтовку дулом вперед протягивает:

«На! — предлагает. — Возьми!» — и тут же знак восклицательный ставит, на крючок спусковой нажимает.

Отбросило его назад, на землю швырнуло, повертелся он в пыли, подергался и затих.

— Затвор передернуть она не успела, — рассказывает З. В., — подскочили к ней, вырвали винтовку из рук...

Но и безоружная она дралась, как волчица, комсомолцы еле справились с ней.

В одной арбе отвезли их в город, Госаму связанную и Заура, перевязанного наспех: его в больницу, ее в ГПУ. С тех пор никто о ней не слышал...

Зато вскоре все заговорили о муже ее и сыновьях.

Их в тот же день отправили в город, а оттуда дальше — то ли в Сибирь, то ли в Казахстан, — но они сбежали по дороге и вернулись в Осетию. Мужички расчетливые, они предполагали, что власть эту голоштанную сбросят без них, отсидеться рассчитывали, но не получилось, пришлось самим за оружие браться.

— Целый год бандитствовали...

В ответработников постреливали, в уполномоченных, не жалели и тех, кто случайно попадал в прорезь прицела — все перед ними были в долгу, все виноваты! — только до Заура не могли добраться, как не старались: он в го-

родской больнице лежал, и Смерть голосом Госамы колыбельную ему напевала.

— Не знаю, как и выжил, — слышу. — Молодой был, на солнце еще не насмотрелся...

Зато отца его они все же перехватили на дороге, когда он от сына возвращался и, остановившись, костерок развел на обочине, чтобы погреться. Выскочили они из засады — трое с маузерами, один с наганом, двое с карабинами кавалерийскими — врасплох его застали. Застать-то застали, но кинжал он все же успел выхватить из ножен, а кинжал крестьянский — не игрушка.

«Брось на землю! — приказали они, косясь на лезвие широкое, на ложбинку для стока крови. — Брось!»

«Не могу, — ответил отец Заура, — он к руке прирос».

«Убивать тебя не будем, — пообещали они. — Уши отрежем и отпустим».

«Зачем по частям? — возразил отец Заура. — Лучше сразу».

«Если сразу, — сказали они, — погорюет твой сын и забудет, а уши — позор на всю жизнь».

«Наш род к позору не приучен», — ответил отец Заура.

«А к смерти?» — поинтересовались они.

«Смерти никто из живых еще не миновал».

Кто знает, как долго еще продолжался бы этот диспут, но где-то вдаль, в сгущающихся сумерках послышался какой-то неясный звук — то ли колесо скрипнуло, то ли свистнул кто-то, — и сыновья Госамы забеспокоились, и отец их проговорил с сожалением:

«Придется стрелять, другого выхода нет».

«Уши и у мертвого можно отрезать», — посоветовал отец Заура.

«Нет, — покачали они головами, — это уже для нас позор».

«Вы всю жизнь в позоре прожили, — успокоил их отец Заура, — вам не привыкать».

На это они ответили шестью выстрелами...

Вскоре недалеко от того же места их окружили в лесочке, но они не сдались, до последнего отстреливались, и кровь их смешалась в земле с кровью их жертв.

— С тех пор, — повторяет З. В., — о Госаме никто ничего не слышал...

Вспоминаю: направленный Канфетом, вхожу во дворик на окраине и вижу тетю Пашу, высокую, крепкую старуху

в темном платке, повязанном по-осетински вроде бы, но как бы в насмешку сдвинутом чуть набекрень, на заливчатый этакий, пиратский манер.

«Чего тебе?» — спрашивает она с явственным и даже грубоватым акцентом.

Заговариваю с ней по-осетински, но она ухмыляется как-то оскорбительно, мотает головой и отвечает со смаком:

«Наша ваша не понимай».

«Разве вы не осетинка?» — удивляюсь.

«Русская, — произносит она с торжеством, — так-то, милоч».

МИМИКРИЯ. (Еще одна разновидность.)

Спрашиваю З. В.:

— Вы и ее, Госаму, собирались включить в единую всечеловеческую семью?

— Нет! — отвечает он яростно. — Она была классовым врагом!

— А сейчас? — интересуюсь.

— Классовый враг! — произносит он жестко и непреклонно.

Повторяю про себя как заклинание, как молитву пять слов, явившихся мне вдруг:

ДУША, ЛИКОВАНИЕ, ОСЕНЬ, ЖЕЛЕЗО, ПРАХ,
как формулу жизни повторяю — начало и конец, возвращающийся в начало.

Лечу в Москву, в иллюминатор поглядываю, но земли не вижу — только облака блистающие, и по комкастым ухабам их едет крылатая тень самолета, фюзеляж, двигатели — все, как положено, но мое присутствие в нем никак не отмечено — ни знаком, ни символом, и тень уезжает, порожняя, а я остаюсь, костерок развожу на обочине и, привалившись к откосу облачному, руки к огню протягиваю, греюсь, и тепло разливается по всему телу, истома блаженная, и время останавливается, и забывается все, что было до этого, и забывается будущее, но остановка эта — вечность? — длится лишь миг, и память, словно спохватившись, оживает и, наверстывая упущенное, раскручивается вперед и назад одновременно, и впереди все гладко и розово — мечты и на-

дежды, — а сзади, из засады прошлого, выскакивают вдруг люди с черными тюленьими телами, с телевизорами вместо голов, с пистолетами и автоматами в руках, с огнеметами, выскакивают, окружают, базуку на меня наводят, а вместо лиц — экраны голубые, а на экранах девки пляшущие, хари скалящиеся, титры на экранах вспыхивают:

ИРБЕК; КАУРБЕК; БАТЫРБЕК, а также ГЕРАС И ДУДАР,

а у меня даже кинжала нет, он над кроватью отцовской висит — рукоять костяная, ножны потертые, — но я не жалею о нем, нет:

ПРОТИВ БАЗУКИ С КИНЖАЛОМ НЕ ПОЙДЕШЬ.

«Чего явились? — спрашиваю, храбрясь, а девки стриптуют, как заведенные, грудями трясут. — Что вам надо?»

«Сейчас узнаешь, — отвечают тела тюленьи, телевизоры, — сейчас увидишь».

Они расступаются, и двое парней услужливых подтаскивают, не кантуя, плиту надгробную, а на плите дензнак топорщится членистоногий, имена высечены достославные и надпись дарственная, как вы помните:

В бЛаГоДаРнОсТЬ За сВоЕвРеМеНнУю КоН-чИНУ

«Ну? — торжествуют телетюлени. — Узнаешь? Твоих рук дело?»

«Не рук, — усмехаюсь, — а воображения».

«Тем более, — вздыхают они притворно. — Придется отвечать».

«За что?» — удивляюсь.

«За то, что похоронил нас».

«Но вы же не умерли? — оправдываюсь. — Живы?»

«И никогда не умрем! — хвастают они, а девки на экранах корячатся, срамные места показывают. — Мы всегда будем!»

Догадываюсь вдруг, и меня словно жаром обдаёт: ЭТО СЫНОВЬЯ ГОСАМЫ.

«Ладно, — злюсь, — посмотрим. Не такие уж вы и бессмертные».

«Нет, — качают они головами-телевизорами, — ты уже не посмотришь, — и добавляют проникновенно: — Мы тебя приговорили».

Услужливые парни преподносят мне молоточек крохотный на блюдечке, и с отвращением глядя на плиту

надгробную, на дензнак травоплотонасекомоядный, телетюлени приказывают:

«Возьми молоток и разбей! — и приговор оглашают: — А потом мы тебя самого из базуки»...

ИЗ ОГНЕМЕТА И ПУЛЕМЕТА.

«Не выйдет, — предупреждаю, — слишком много шума наделаете, а вам ведь тихонько надо жить, незаметно».

«В облаках никто не услышит, — ухмыляются они. — Бери молоток».

«Не возьму!» — упорствую.

«Нет?!»

«Никогда!»

«Хо-ро-шо-о!» — взывают они и боком-боком в сторону отходят, а на экранах девки, хари, титры, мешанина кошмарная, а парни кланяются по-лакейски и, кланясь, к базуке подбегают, рукоятки крутят, в пуп мой целятся, а я стою, прижавшись к упругому откоосу облака, смотрю в черный зев базуки и не верю, что так вот запросто можно убить человека.

ПОТОЛКУЕМ И РАЗОЙДЕМСЯ. (Решение спорных вопросов путем переговоров.)

«Ну, убьете вы меня, — улыбаюсь, осмелев, — а что толку? Надгробьице-то останется».

«В твоём воображении, что ли?» — ехидничают они.

«И в вашем тоже, — вздыхаю сочувственно. — Как вечный укор совести».

Переглянувшись, они снова подступают ко мне (а девки на экранах выются, взмыленные) и, подступившись, ухмыляются скабрезно, чада Госамины:

«А мы, — говорят, — ампутируем твоё воображение».

«Каким это образом?» — интересуюсь.

«Сейчас узнаешь, — обещают, — сейчас».

Они составляют в пирамиду огнемёты и пулемёты, зачехляют базуку, достают ножички перочинные и с ножичками набрасываются на меня, наваливаются — куча мала, — и я слышу: «Уши отрежем!» — и чувствую, как хватают меня за уши, оттягивают, чтобы удобнее было резать: «Чтобы неповадно было, чтобы знал своё место», и, обезумев от боли и ужаса, я рвусь, вырываюсь, выкарабкиваюсь то ли из-под них самих, то ли из-под девок потных, выбираюсь наверх и, вздохнув судорожно, вижу светлый, курносый, прекрасный лик стардессы Аэрофлота.

— Что? — улыбается она. — Бабайка приснилась?

— Бабайка, — спрашиваю, — какого рода — мужского или женского?

— Обоюдного, — отвечает она и говорит: — Пристегните ремень, идем на посадку.

За иллюминатором, вижу, не облака уже, а земля заснеженная, ели, сосны, березы безлистые, прямоугольники дачных и заводских поселков, расчерченные строгими линиями железных и шоссейных дорог:

ГЕОМЕТРИЯ ПОДМОСКОВЬЯ,

и места эти незнакомы мне, но я ни разу после окончания института не был в Москве и теперь, ожидая и волнуясь, напеваю про себя: «Как аргонавты в старину, покинув отчий дом», — невесть откуда взявшиеся слова, мотивчик самодельный: «За золотым, за золотым, за золотым руном», и, напевая и отстукивая ритм ногой, улыбаюсь, поймав себя на том, что произношу слова на московский манер: «Зы зыла-а-тым», с удовольствием произношу, и даже утрируя несколько, а самолет приземляется, вырывает на стоянку, но я не вскакиваю с места — сижу, как и положено, до полной остановки винтов, и вместе со всеми спускаюсь наконец по трапу и поднимаюсь на ступеньку автокара, и, продолжая оставаться пассажиром Аэрофлота, сажусь в автобус-экспресс, и вскоре заводские и дачные поселки остаются позади, и улица, по которой мы едем — пяти-, девяти-, двенадцатипятиэтажные дома, такие же, как в пригороде, — тоже незнакомы мне, но это Москва, ее, Белокаменную, ни с чем не спутаешь.

Первую остановку автобус делает у станции метро «Парк культуры», а на второй — на площади Маяковского — я схожу, сложив с себя необременительные, но обязанности пассажира и, свободный, стою на тротуаре с портфельчиком своим легоньким — полотенце, мыло, зубная щетка, пара носков, пара белья на всякий случай: «Как аргонавты в старину», — стою и наблюдаю людской поток, текущий во все стороны одновременно, и каждый в нем сосредоточен и деловит, и каждый торопится, но не соревнуясь и не обгоняя других, а словно общую работу делая — Броуново движение? — и, глядя, я и сам уже готов включиться в бег и, в нетерпении переступив на месте, догадываюсь, что не приехал, а в е р н у л с я, да, в город

юности своей вернулся, и, тронувшись, с первого же шага попадаю в общий ритм — это блок памяти включился, прошлая, полустертая программа, — и, радуясь возвращению, устремляюсь вперед, иду легко и быстро: «Зы зыла-а-атым руном», иду и посматриваю на встречающих, ищу ответные взгляды, пытаюсь определить, какое произвожу впечатление — свой ли я здесь? — и улыбаюсь, подтрунивая над собой:

**СТОЛИЧНЫЕ ЖИТЕЛИ ПО СТОРОНАМ НЕ ГЛА-
ЗЕЮТ,**

и, улыбнувшись, вспоминаю, что надо позаботиться о ночлеге, а в гостиницах, естественно,

СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ,

и, протягивая паспорт дежурной, нужно будет сунуть в него дензнак, удостоверяющий мою исключительность, а я не умею совать и протягивать, как и многого другого, впрочем, и никогда уже не научусь — поздно, — и, значит, мне придется по старой памяти пересидеть, передрекать, переночевать на вокзале, но эта перспектива не удручает меня и даже наоборот, и, освободившись окончательно, я останавливаюсь у телефонной будки, и, опустив монету, набираю номер Васюрина.

— Слушаю вас! — звенит в мембране энергичный и резковатый от этого девичий голос.

Секретарша.

— Здравствуйте! — приветствую ее не менее энергично. Называюсь. — Прибыл к вам на свидание.

— Очень хорошо! — отвечает она, не дослушав меня, отвечает с таким восторгом, словно голос любимого услыжала после долгой разлуки. — Для вас забронирован номер в гостинице «Россия». Знаете, как добраться до нее?

— Знаю, — говорю, — спасибо, но до конца рабочего дня осталось еще три часа, и мне хотелось бы использовать их по назначению.

— Одну минуточку, — вступает она, — подождите у телефона. Сейчас узнаю, сможет ли Юрий Степанович принять вас.

Стою, и вскоре снова слышу ее голос:

— Приезжайте, Юрий Степанович ждет вас.

— Буду через пятнадцать минут, — обещаю. — Через двадцать.

Вхожу в вестибюль солидного тяжеловатого здания, протягиваю паспорт в окошко — дензнак тут не нужен, пропуск мне уже выписан, — поднимаюсь по широкой мра-

морной лестнице на третий этаж, открываю массивную дверь, обитую тисненым дерматином, и вижу ту, с которой только что говорил по телефону: она сидит и постукивает на машинке, русоволосая и сероглазая, но при этом удивительно похожая на Майю, и, уловив движение в дверях, она отрывается от клавиатуры и смотрит на меня с любопытством — может быть тоже узнавая кого-то во мне? — и, смутившись, я шагаю к ней, протягиваю руку и еще раз называю себя, но не официально, как следовало бы, а словно на вечеринке знакомясь, на пикнике загородном:

— Алан.

— Наташа, — отвечает она машинально и поправляется тут же: — Наталья Сергеевна.

Придерживаю ее руку в своей, а перед глазами Майя, и удрученный их сходством, самой возможностью стандарта, я спрашиваю, надеясь на опровержение:

— Вы учитесь заочно? На четвертом курсе?

(Как Майя.)

— Откуда вы знаете? — поражается она.

— Ниоткуда, — вздыхаю. — Я ясновидец.

— Что вы говорите?! — она округляет глаза, затеяв игру, а сама осторожненько так, деликатненько руку освобождает. — А вам не скучно знать все наперед?

— Когда как, — пожимаю плечами, — по-разному.

Освободившись, она показывает на дерматиновую дверь кабинета:

— Вы же собирались использовать рабочее время по назначению, — произносит с насмешкой, но и с упреком некоторым и даже с ревностью. — Идите. Юрий Степанович...

— ...с нетерпением ждет меня, — подхватываю. — Не так ли?

— Действительно, — подтверждает она, — вы ясновидец.

Васюрин встает, когда я вхожу, идет мне навстречу, источая радушие, бежит по ковровой дорожке, летит, хватко пожимает руку, по плечу похлопывает:

— Алан Бесагурович, с приездом, дорогой!

«Дорогой» — это из арсенала псевдокавказской лингвистики.

— Спасибо, — бормочу ошеломленный, — рад вас видеть.

Он усаживает меня на диван, садится рядом и спрашивает, словно радостную весть ожидает услышать:

— Ну, что нового в Осетии?

— Горы, — отвечаю, — новая вершина выросла, — и добавляю с намеком: — Безымянная пока.

— Ха-ха-ха! — смеется он, совсем нестарый еще, простой и свойский парень, и, смеясь, встает, подходит к своему столу, нажимает кнопку, и в кабинете появляется секретарша.

— Наташенька, — говорит он, — сообрази-ка нам кофе. Человек с дороги, надо угостить его, — и, подмигнув мне, улыбается: — Согласно законам кавказского гостеприимства, — и, развеселившись, заявляет: — Я и сам уже в некотором смысле осетин.

— Почетный осетин, — уточняю.

— Ха-ха-ха! — ликует он. — Ох-хо-хо!

Наташа приносит кофе в серебряном кофейничке, пирожные приносит, лимон, нарезанный дольками и посыпанный сахаром, и мы пересаживаемся за журнальный столик в уголке уютном, и, словно вспомнив, Васюрин вскакивает вдруг и направляется к стенке полированной — книги, книги, книги, — отпирает ключиком затейливым дверцу бара, достает початую бутылку коньяка и две серебряные стопочки.

— Мой любимый, — приговаривает Васюрин, наливая, — настоящий, из Армении прислали. У меня есть и «Мартель», но я предпочитаю этот. А может, вы хотите французский? — приостанавливается он, как бы спохватившись. — Пожалуйста...

— Нет, — успокаиваю его, — чего зря продукт переводить? — и, подняв стопочку, киваю: — Со свиданием.

— На здоровье, — кивает он в ответ.

Принимаемся за кофе, и Васюрин снова запекает хвалебную песнь:

— Настоящий. Бразильский. Приятель один привез. Из Сан-Пауло.

Песнопения эти во славу потребляемых продуктов начинают меня раздражать:

ТАКИЕ БАНКЕТЫ ЗРЯ НЕ ДАЮТСЯ.

— Вкус и аромат, — подпеваю мрачновато. — Тонизирующее действие. Тот, кто черный кофе пьет, никогда не устает.

— Верно, — соглашается Васюрин, — уставать нам нельзя. — Он берет за бутылку: — По второй?

— Знаете, — ворчу, — у меня складывается впечатле-

ние, что вы пригласили меня не для того, чтобы откусать со мной коньяка.

— Да, — улыбается он, — не только для этого.

— Ну, и давайте перейдем к делу, — предлагаю, — не зря же я одолел расстояние в полторы тысячи километров.

Он смотрит на меня внимательно, ставит бутылку и проносит с недоумением некоторым и даже с обидой:

— Мне хотелось обсудить все по-дружески, в застольном, так сказать, порядке, но если вы предпочитаете официальный стиль...

— Я предпочитаю ясность, только и всего.

— Ну, что же, — соглашается он, — и вы по-своему правы.

Он встает, уносит бутылку, запирает ее в бар, усаживается в кресло свое должностное, нажимает кнопку и говорит возникшей в дверях секретарше, и не только ей, но и для меня отчасти:

— Наташа, сотри-ка следы нашей трапезы бурной.

Она молча ставит на поднос кофейничек опорожненный, посуду задействованную, уходит, и, глядя ей вслед — фигуркой ее ладной любясь? — он роняет как бы между прочим:

— Садитесь поближе. Продолжим в стерильной обстановке.

Пересаживаюсь, и это

НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ,

и я жду слова, а Васюрин молчит, то ли не решаясь вступить, то ли проигрывая свою роль про себя, готовясь.

— Вы человек неглупый, — изрекает он наконец, — и, полагаю, догадываетесь, о чем пойдет речь, и потому говорить я буду открытым текстом.

— Благодарю, — усмехаюсь, — весьма польщен.

Не обратив внимания на реплику мою незамысловатую, он продолжает:

— Вам известно, конечно, что Заурбек Васильевич ушел на пенсию. Человек он заслуженный, и руководитель, наверное, был неплохой, но с фельдфебельскими замашками, и я не думаю, что вам удавалось ладить с ним, не тот у вас характер...

— Давайте оставим З. В. в покое, — предлагаю.

— Да, — соглашается Васюрин, — о покойниках плохо не говорят. Поэтому будем говорить о живых... Вам известно, видимо, и то, что образовавшуюся вакансию зай-

мет мой протеже, если выражаться по старинке. Не буду пока называть его фамилию, но смею уверить вас, что человек он вполне современный, с в о й ч е л о в е к, одним словом. Вопрос о его назначении решится через две-три недели, и сразу же по прибытии в Орджоникидзе он подготовит проект приказа о назначении вас на должность ведущего конструктора.

Васюрин улыбается, и улыбка застывает на его лице, словно приклеенная, и он смотрит на меня, ожидая и требуя немедленной, восторженной благодарности.

— Мерси, — киваю. — Но чем обязан?

— Давайте-ка без ложной скромности, — отмахивается он и тут же снова улыбается, но не требовательно уже, улыбается и головой покачивает озадаченно: — Целая группа ученых мужей во главе с вашим покорным слугой, — говорит, — а некоторые из мужей весьма имениты, — он умолкает, позволяя прочувствовать значимость этих слов и восхититься его способностью иронизировать по собственному адресу: — Ха-ха-ха, — выдает для верности коротенький смешок, и когда я откликаюсь наконец:

— Ха-ха-ха, — он продолжает:

— Целая группа ученых, в стенах головного НИИ ведомства, заметьте, в поте лица своего ведет исследования, разрабатывая технологию получения производного АВ, столь необходимого в народном хозяйстве. И вот, когда результат получен и найден простой и единственно верный, казалось бы, вариант технологического процесса, где-то на периферии, какой-то никому не известный Алан, — он обескураженно разводит руками, — предлагает конструкцию, которая перечеркивает труды именитых и позволяет, если это подтвердится исследованиями, создать эффективную линию для п р о м ы ш л е н н о г о п р о и з в о д с т в а АВ... Поздравляю! — смеется он. — Самолюбие ученых ущемлено, престиж института поставлен под удар и тут, согласно кондовой литературной схеме, а литература, как известно, отражает жизнь, должно произойти следующее: собирается ученый совет, и титулованные мужи, сплоченные общей обидой, рассматривают предложенный проект и отвергают его как нереальный, ошибочный и безграмотный даже, чтобы потом, когда страсти поутихнут, вернуться к нему, обосновать н а у ч н о и представить как собственное детище. Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха! — отвечаю. — А и Б сидели на трубе.

— А упало, Б пропало, — подхватывает Васюрин.

— Согласно литературной схеме? — усмехаюсь.

— Нет, — отвечает он торжественно, — мы будем делать дело, ибо оно превыше любых схем... Я давно уже слежу за вами, — в голосе его появляются задушевные нотки, — и должен признать, что человек вы, безусловно, талантливый. Но талант, — вздыхает он, — может проявиться по-настоящему лишь тогда, когда он сфокусирован на чем-то одном, важном и значительном. Вы же в силу самой специфики вашего предприятия вынуждены разбрасываться — сегодня одно, завтра нечто противоположное, и каждый раз это лишь часть чего-то целого, фрагмент, а то и просто вешалка для гардеробной или тележка для уборки отходов, я и об этом знаю, — он сокрушенно покачивает головой, — и, таким образом, изобретательство ваше носит случайный, спорадический характер. Однако последняя идея, предложенная вами, выходит за ряд случайностей, и для пользы дела я считаю целесообразным сделать вам следующее предложение, — он смотрит на меня, словно прикидывая мне цену и в то же время давая понять, что обхожусь я недешево, и, дав это понять и поразившись широте своей натуры, он восклицает с веселым отчаянием: — Вы станете ведущим конструктором не только в своем отделе, как я уже говорил, но ведущим конструктором на учной темы, которая разрабатывается под моим началом! Впряжетесь, так сказать, в один воз с учеными мужами, чтобы совместными усилиями свершить главное — освоить промышленное производство АВ. Таким образом, и волки будут сыты, и овцы целы, ха-ха-ха, и самолюбие мужей не пострадает, и вы получите возможность провести самостоятельную творческую работу. Все оборудование по теме будет конструироваться под вашим непосредственным руководством. Ну?! — восклицает он, то ли мной, то ли собой восхищаясь. — Что вы на это скажете? Вот вам и Алан с периферии!

Я уже догадываюсь, к чему он клонит, и чтобы помочь ему доиграть роль — героя или злодея? — подбрасываю реплику, вывожу его на финишную прямую:

— Все прекрасно, — вздыхаю, — но заявка на изобретение уже составлена, сдана в отдел технической информации нашего предприятия и, наверное, уже отправлена в Комитет по делам открытий...

— Это не имеет никакого значения, — роняет он не-

брежно. — Заявку можно вернуть для д о о ф о р м л е н и я и отправить снова. А вообще-то вы поторопились, конечно, сдать ее. Вас-то я понимаю, — он кивает мне одобряюще, — азарт, восторг, эврика, но руководители и ваш директор в частности, — он морщится, — могли бы и подсказать вам, что этой проблемой давно уже и небесплодно занимаются и другие. Идея, что называется, уже носилась в воздухе, когда вы ее ухватили, но, согласитесь, на этот зримый, доступный для п о т р е б л е н и я уровень она вознеслась не сама собой и не волею случая. Идея оформилась в стенах этого института, этого кабинета, если хотите. Более того, без нас вы бы и знать не знали о существовании реагентов А и В, прошу прощения, и, естественно, о производном АВ. Итак, мы написали предложение, а вы, честь вам и хвала, поставили точку.

— Да, соглашаюсь, — каждый внес свою лепту.

— Но точка — еще не конец, — продолжает он. — Мы должны провести исследования, спроектировать оборудование, изготовить его и, главное, своевременно внедрить новую технологию в промышленность, а внедрение-то и вызывает у меня наибольшую тревогу. Проектирование и изготовление будет осуществляться на вашем предприятии и, как я уже говорил, под вашим руководством, но и внедрением должны заниматься люди заинтересованные, иначе оно может затянуться на многие годы или не состояться вообще. Наиболее эффективно, как показывает немалый мой опыт, этот процесс протекает тогда, когда им управляют авторы изобретения, то есть люди к р о в н о заинтересованные. Но я боюсь, что вас о д н о г о на все это не хватит, — он сочувственно улыбается мне, — к тому же вы конструктор, а не технолог.

Киваю неопределенно и спрашиваю, подыгрывая ему:

— Значит, для дела лучше, когда авторов несколько? Когда изобретение к о л л е к т и в н о е?

— Безусловно! — оживляется он. — Еще лучше, если авторы — специалисты разного профиля.

Он окружает меня, обкладывает, как волка, но не флажками красными, а мотивациями разноцветными, аргументами и обещаниями, обкладывает и к здравому смыслу взывает.

— Ну и что вы посоветуете? — дурака валяю. — Что же мне делать?

— Не задавайте наивных вопросов, — морщится он. — Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь.

— Да, — говорю, — да, но кто же выступит в качестве авторов?

— Те, кто имеют на это моральное право, — отвечает он.

— А все-таки? — интересуюсь.

— Вы, конечно, — он загибает палец, — и еще двое, один из которых член-корреспондент Академии наук и в будущем наверняка будет вам полезен...

ЯРМАРКА ВРЕМЕН НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

— А второй? — спрашиваю.

— А второй — это я, — отвечает он простенько и паузу делает, ожидая моей реакции, но я молчу, и решив, видимо, что я удовлетворен не полностью, тут же цену набавляет: — Уверен, что втроем мы справимся со своей задачей самым блестящим образом, и производное АВ в скором времени будет освоено отечественной промышленностью. Но это лишь первое звено, а в будущем, весьма недалеком, кстати, мы возьмемся за следующую пару реагентов этого ряда, С и Д, в свойствах которых заложены интереснейшие возможности для творчества, и я обещаю вам, что в э т о й р а б о т е вы примете участие с самого начала, с нулевого цикла, выражаясь фигурально. Более того, — он понижает голос, — параллельно с исследованиями, а вернее в их русле, вы получите тему для кандидатской диссертации, и, — уверяю, у вас не будет никаких проблем с защитой. Считайте, что первый шаг уже сделан, и я готов стать вашим научным руководителем...

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА.

Он улыбается требовательно, смотрит на меня, и глаза его стекленеют в ожидании, а мне отец вдруг видится: изжелта-бледное лицо, костыли под мышками, зеленый горб на спине — вещмешок, и отцовская рука тянется ко мне, костистые пальцы, серая, пористая кожа — он хочет погладить меня по голове, но роняет костыль, хочет поднять костыль, но не может дотянуться, и лицо его искажается от боли, и я стою, оцепенев, мальчишка перепуганный, и слышу:

— Не век же вам прозябать в этом конструкторском отделе...

— Знаете, — произношу задумчиво, — я никогда еще

не выступал в качестве товара и не думал даже, что представляю в этом смысле какой-то интерес.

— Ха-ха-ха, — смеется Васюрин, словно остроту услышав, — вы меня неправильно поняли.

— Двадцать восьмого мая, — продолжаю, — мне исполнится тридцать лет, и я хотел бы, если позволите, подойти к этой дате в своем естественном качестве и прожить в нем следующие десять лет, и так далее — понимаете? — и так далее... А теперь разрешите задать вопрос.

— Пожалуйста, — Васюрин настороженно смотрит на меня.

— Вы меня вызвали только для э т о г о? — спрашиваю. — Для купли-продажи?

— Я отказываюсь разговаривать в таком тоне!

— В другой формулировке это может звучать так: у вас есть еще ко мне вопросы?

— Нет! — взрывается он. — С вами все ясно!

— Значит, командировку мою будем считать законченной, — говорю, — а в коммюнике можно записать следующее: переговоры протекали в сердечной и дружеской обстановке, но стороны к соглашению не пришли.

— Ваша заявка будет направлена на рецензию к нам в институт, — сообщает он официально и добавляет, не сдержавшись: — Я позабочусь об этом.

УЛЬТИМАТУМ.

— Простите, — пожимаю плечами, — но человек я по сути своей крайне легкомысленный...

— Оно и видно, — вставляет он.

— ... и потому мне плевать на ваши угрозы!

Поднимаюсь.

— Прощайте, — киваю, — надеюсь, не увидимся больше. — Беру свой портфельчик и, помахивая им, иду походочкой нарочито-легкой к двери и, распахнув ее, оборачиваюсь с порога: — Привет супруге.

Услышав последние мои слова, Наташа, секретарша, встречает меня благожелательной улыбкой:

— Все в порядке?

— Да, — отвечаю и приостанавливаюсь, уловив вдруг, что она не только на Майю похожа, вернее, их сходство промежуточно, но в обеих уже угадываются черты окончательности, той самой, которую они обретут, сделав выгодную партию, приютившись за железобетонной спиной

сановного супруга, черты Люды обретут, жены васюринской.

(Она на полянке на солнечной лежит, раскинувшись в неге, а я вопль свой слышу, обращенный к Майе:

«Но ты же не любишь его, своего будущего мужа!»

Слышу ответ деловитый:

«Он никогда об этом не узнает».)

— Как она поживает, кстати, — спрашиваю, — Люда?

Наташа удивленно смотрит на меня:

— Вам Юрий Степанович сказал?

— Что? — интересуюсь.

— Что мы сестры...

— Нет, — качаю головой, — не сказал, — усмеюсь, — но я же ясновидец.

— Ох, — смеется она, — как же я забыла? 1984

Достаю из кармана, кладу перед ней командировочное удостоверение:

— Отметьте, пожалуйста.

Она заполняет графу «прибыл-убыл», расписывается, достает из сейфа печать и, дохнув на нее, собирается поставить, но в это время раздается звонок — это Васюрин там у себя кнопку нажал — и, среагировав мгновенно, она с печатью в руке устремляется на зов, но я придерживаю ее за локоток обольстительный:

— Кончайте со мной, — прошу, — не откладывайте.

Она торопливо шлепает печатью и говорит:

— Дату отъезда проставите сами.

— Проставлю, — обещаю, — не забуду.

Выхожу на улицу, а в воздухе морозно, но на тротуаре слякоть — снег, расквашенный великим множеством ног, — и, постояв с минуту на нижней ступени подъезда, я бездумно включаюсь в эту теплотворную работу, иду, не ведая, куда приведет меня путь, где кончится, шагаю бесцельно, но не с обреченностью бродяги, а с легкостью праздного гуляки, а в окнах вспыхивают огни, напоминая о тепле, о домашнем уюте, а для меня, как вы знаете, забронирован номер в гостинице «Россия», и, оказывается, сам о том не подозревая, я именно к ней подвигаюсь и, поняв это, спускаюсь в метро, чтобы ускорить продвижение, и вот она, Кремлевская стена, Мавзолей, Спасская башня, храм Василия Блаженного, брусчатка под ногами, воспоминания —

ах, юность прошлая! — и, войдя в сверкающий вестибюль гостиницы, я уже знаю, что поднявшись к себе, ополоснусь под душем, закажу вина в номер, сяду за телефон и начну названивать друзьям своим, однокурсникам, и мы соберемся, как раньше — семь с половиной лет минуло с тех пор, как мгновение пролетело, — соберемся и посидим, поговорим-потрепемся,

КАК В ДОБРЫЕ СТАРЫЕ ВРЕМЕНА,

и, предвкушая радость встречи, я останавливаюсь у стойки, протягиваю паспорт дежурной и произношу с сознанием своей значимости:

— Для меня был заказан номер.

Дежурная перебирает свои бумажки, еще раз перебит и, перебрав, недоуменно смотрит на меня:

— Ничего нет...

— Как же так? — изумляюсь.

Она еще раз заглядывает в паспорт, повторяет вслух мою фамилию и вдруг, словно обрадовавшись, восклицает:

— Да, была бронь, точно! Но нам позвонили только что и попросили снять ее за ненадобностью.

Стою, растерянный, жду чего-то, и она, истолковав мое ожидание по-своему, возвращает мне паспорт и вздыхает, пожав плечами:

— Ничем не могу помочь.

А мне ничего и не надо уже, я не о том думаю.

— Может, — говорю, — скажете — кто звонил, мужчина или женщина?

Она поднимает сверху глаза — реснички накрашенные, челочка белобрысая, — застывает на миг, вспоминая, и говорит:

— Вроде бы женщина... Да, точно, женщина!

Так я и предполагал. Васюрин, при всех своих недостатках, не опустился бы до такой примитивной мести.

АХ, МАЙЯ-НАТАША-ЛЮДОК!

Но и я уже сообразил кое-что — нет, голыми руками меня не возьмешь! — глянул на часы и высчитал наскоро, что могу успеть на вечерний самолет, улететь с е г о д н я и, таким образом, достойно ответить на выпад противника.

ОКО ЗА ОКО.

(Да и о чем бы я рассказал друзьям-однокурсникам? О героическом подвиге своем в кабинете Васюрина?)

Сую паспорт в карман и скорым шагом, а может, и рысцой интеллигентной, устремляюсь к выходу и, чувствуя

спиной удивленный взгляд дежурной — глазки серенькие, — выскакиваю на улицу.

Метро, электричка, короткая пробежка, и вот она, стекляшка аэропорта, и вот уже я у кассы стою, беспокоясь — удастся ли? — и снова паспорт протягиваю, и кассирша без лишних слов выписывает мне билет, и, не в силах сдержаться, я благодарю ее, ликуя, и еще раз благодарю — спасибо! — но она, словно и не услышав, роняет сумрачно:

— Следующий.

Некто, сидящий рядом на чемодане, один из тех бывалых авиапассажиров, что налетали побольше иного летчика, усмехается снисходительно и, поумерив мою радость, объясняет ситуацию:

— Билетов навалом. Погода неустойчивая, — и, словно в подтверждение его слов, слышится металлический радноголос:

— Рейс 1265 Москва — Ростов — Орджоникидзе задерживается на два часа ориентировочно по метеорологическим условиям.

НИЧТО В ЭТОЙ ЖИЗНИ НЕ ДАЕТСЯ ЛЕГКО.

Однако билет у меня в кармане, и, наделенный известными правами, я прохаживаюсь в переполненном зале, озираюсь — а вдруг знакомого встречу? не я же один лечу в Орджоникидзе, — и, пройдя ползала, улавливаю глуховатый бубнеж гитары, непроизвольно меняю курс, двигаюсь на звук и вижу парней, устроившихся в углу, и девчонок веселых: они сидят на рюкзаках, странники, смеются беспечно и беспричинно, все в куртках стеганых, в свитерах, и один из парней, рыжий и кудрявый, самозабвенно лупит по струнам ржавой рукой, так лупит, что только щепки не летят от гитары, и люди, столпившиеся вокруг, улыбаются то ли одобрительно, то ли осуждающе, а сидящие на рюкзаках вдруг запевают громоподобно, и, застигнутый врасплох и оглушенный, я не различаю первых слов, а то, что различаю, кажется мне занятым, но поющие умолкают так же внезапно, как начали, и только гитара бубнит, и смех девичий, колокольчиковый переливается, и я стою и жду продолжения, а его все нет, и только ржавая рука мелькает над струнами, и, когда я уже собираюсь отойти, они запевают снова, но это не продолжение, а опять начало, хоть, может быть, вся песня эта и состоит из одного лишь начала:

Шея! Шея!
Шея человечья!
Пойдем, милый, погуляем,
Если делать нечего!

Вот я и прогулялся из Орджоникидзе в Москву, а теперь обратно собираюсь, а пока гуляю, свободный, среди свободных сограждан, место ищу, чтобы приткнуться на два часа ориентировочно, ищу и нахожу, представьте, креслице, незанятое у телевизора, усаживаюсь, шея человечья, и на экран взираю наскоса, а там пейзажи непривычные и непривычные строения: Аэрофлот, не в силах доставить меня домой, предлагает взамен телепутешествие в Японию, и я сопротивляюсь вначале, не желая принимать навязываемого, но понемногу свыкаюсь, и скепсис мой тает, улечучивается, и отлетают в забвение Васюрини, Наташа, гостиница «Россия» — абсурд бытовой, и я откидываюсь на спинку кресла и с наслаждением вытягиваю ноги.

ЕСЛИ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО.

А в Японии, явившейся мне, в хрупком, как спичечный коробок доме, живет старик, живет и быка черного держит — семья такая: бычок по имени Какузо и старик безымянный. Вот они на лужайку идут: бычок пасется — старик смотрит, старик серпом траву режет — бычок смотрит, и взгляд у обоих задумчивый и спокойный, и у обоих любовь в глазах. Так и живут они, Какузо, гигант шестилетний — вес 800 кг, и человек восьмидесятилетний, ростом по холку своему быку. Разговаривают иногда, вернее, говорит старик, а бычок только слушает, но оба понимают друг друга и без слов, двое на краю огромного мира. Так и живут, не торопясь, не суетясь, равные в главном — в любви, и каждый делает свое дело — старик подкармливает бычка, скребницей чистит, копыта моет, а бычок силу копит, готовится к тому дню, тому часу, когда всю ее без остатка нужно будет вложить разом, чтобы защитить общую, семейную честь. А день этот приближается, и Какузо начинает волноваться, но не по-бычьи, а по-человечески, и старик, успокаивая его, разговаривает больше обычного, рассказывает что-то — может быть, сказку? — и Какузо забывается, внимая, а вот уже и травку начинает жевать между делом, жует и на рассказчика посматривает, слушает.

И наконец он наступает, этот день. Старик и Какузо выходят со двора и неторопливо, но сосредоточенно спус-

каются по узкому проселку на поляну, где собрались уже зрители, человек пятьдесят, а может быть, сто, но не больше, собрались, чтобы посмотреть

БОЙ БЫКОВ.

Какузо уже участвовал в шестнадцати боях и одержал шестнадцать побед, но и соперник его — вес 790 кг — тоже не знает поражений, бычок бывалый, и вот их начинают сводить, и, содрогнувшись, я жду, когда они рванутся, освирепев, и будет нанесен первый удар, и мне представляются рога, вонзающиеся в живую плоть, а я успел уже полюбить и старика и Какузо, пару трогательную, и не хочу видеть крови, а быки сближаются шаг за шагом и, наконец, упираются лбами, и люди, сводившие их, отскакивают в стороны, и, выждав чуть, дав друг другу возможность занять удобную позицию, быки налегают, наваливаются, давят всей своей массой лоб в лоб, стараясь сдвинуть противника с места, заставить его попятиться, и это длится бесконечно долго — минуту? две? пять? — бугрятся мышцы, рвется пар из ноздрей, и Какузо пересиливает, теснит соперника, и тот подается назад, оседая на ноги, скользя и разворачиваясь боком, и тут же люди бросаются к быкам, втискиваются между ними, разводят, чтобы они сгоряча не пустили в ход рога, но еще на мгновение раньше Какузо, поняв, что победил, останавливается, благородный, как истинный победитель.

ЗВЕРИ, КАК ЛЮДИ. (И они же, японцы, дай им бог здоровья, придумали х а р а к и р и, которым успешно пользуются и по сей день, сводя счета с жизнью.)

Старик оттирает пот со лба и оттирает пот со лба Какузо, и, не задерживаясь, они уходят с поляны, поднимаются вверх по узкому проселку, шагают рядом, души родственные, и мне неизвестно, когда был снят этот фильм, и может быть, их обоих уже нет в живых, но я иду следом за ними, приближаясь к хрупкому, как спичечный коробок, дому, и мы входим во двор, и старик набирает в таз воды, бычка мыть собирается, а я косу отбиваю, косу точу, буду сено косить для Какузо...

— Рейс 1265 Москва — Ростов — Орджоникидзе задерживается на три часа ориентировочно по метеорологическим условиям.

Домой, в однокомнатную свою, я попадаю лишь в восемь часов утра. Никто не знает о моем возвращении, и, следовательно, я принадлежу только себе, и никому больше, свободный во времени и даже в пространстве (17,8 кв. м), зажигаю колонку газовую, становлюсь под души, совершая омовение, напеваю и насвистываю безмятежно и слышу сквозь шум струящейся воды голос Наташи: «Дату отъезда проставите сами», и отвечаю: «Проставлю, конечно, но завтрашним числом, если можно», а завтра суббота и, как вы помните, свадьба, Таймураз женится, и, значит, сегодня мне надо ехать в село, чтобы принять хоть какое-то участие в предсвадебных приготовлениях — я ведь не гость в отчем доме и не могу

ЯВИТЬСЯ НА ГОТОВОЕ,

и, осознав долг свой — или право? — я вытираюсь наскоро, завожу будильник на двенадцать и укладываюсь в постель, чтобы хоть три часа поспать после бессонной ночи, ложусь и отключаюсь, словно обесточенный.

БАЮШКИ-БАЮ. (Процесс восстановления и подзарядки систем жизнедеятельности.)

Слышу звонок, но это не будильник, соображаю, из беспамятства выбираясь, это телефон, догадываюсь, кто-то мой номер набрал по ошибке, размышляю, или на станции что-то замкнулось, а может, и нет, думаю, может, я нужен кому-то? — и, не очнувшись еще, встаю и, босиком и голый, оказывается, шлепаю к аппарату, беру трубку и хрипло возвещаю о своем присутствии:

— Да!

— Приехал? — слышу. — С благополучным прибытием.

Это Эрнст.

— Давненько не виделись, — ворчу. — Соскучился?

— Захирел без тебя, высох, — усмехается он. — Чем занимаешься?

— Сплю, — отвечаю. — Разве ты не слышишь храпа?

— Придется проснуться, — вздыхает он. — Директор тебя требует.

— Сколько времени? — интересуюсь. — Глянь-ка на часы.

— Пять минут второго.

Если бы я проснулся вовремя, я бы сидел сейчас в автобусе, ехал в село.

— Слушай, — спрашиваю, — откуда директор знает, что я здесь?

— Спросишь у него, — отвечает Эрнст. — Поторапливайся.

Он кладет трубку, и я одеваюсь не спеша и не спеша умываюсь, зная уже, зачем понадобился директору, и мне бы собраться поскорее, нанести ему визит и откланяться, торопясь на автобусную станцию, но я тяну время, предчувствуя долгий и неприятный разговор, и не спеша иду на кухню, завтракаю не спеша и заодно обедаю и, поев, слоняюсь по квартире, осматривая краны и выключатели — все ли в порядке? — и поглядываю на веник — хорошо бы пол подмести, — но это уж слишком, понимаю, так и до вечера можно провозиться, а в село надо приехать пораньше и неплохо бы отправиться прямо сейчас, но, увы, я отозвался на зов, на звонок телефонный и теперь должен подчиниться чужой воле и, покорившись в конце концов, я надеваю пальто, шапчонку нахлобучиваю и, переступив через гордыню собственную, выхожу из дому, дверь за собой захлопываю.

А на улице по-весеннему солнечно, тает снег, по тротуарам бегут ручьи, и горы ослепительно блистают в небесной дали, и я иду и вижу: какой-то мальчишка, не утерпев и оседлав до срока велосипед, несется по лужам, отчаянный, и я завидую, глядя, и мне бы крикнуть, остановить его: «Дай прокатиться!», вскочить в седло и, забыв обо всем, устремиться к радости — ах, детство живучее! — но я молчу, взнузданный, и улыбаюсь сдержанно, и снисходительно чуть, и даже насмешливо, а мальчишка пронесется мимо, весь конопатый от брызг и счастливый, и, проводив его взглядом, я замечаю вдруг наконец, что шагаю теперь веселее и дышу глубже, и запах весенний чувствую, и, миновав трамвайную остановку, продолжаю идти пешком и улыбаюсь все еще и, улыбаясь, вступаю в предел родного предприятия и, предъявляя пропуск бойцу ВОХР, делюсь с ним улыбкой благоприобретенной:

— Приветствую вас, Мухарби! Желаю счастья и многих лет жизни!

— И тебе того же, — бормочет он в ответ, — того же самого желаю, — бормочет, а сам дорогу мне загораживает, пропуск из руки тянет и, завладев им, на часы настенные показывает: — Десять минут третьего, — сообщает, — десять минут, как обеденный перерыв закончился.

Хватаюсь за голову:

— Пропал! Что же делать?!

Знаю, Мухарби подмигнет сейчас — усмешка лукавая, прищур вороватый, — оглянется с притворной боязливостью и прошепчет:

«Беги! Я тебя не видел!»

Во время войны он командовал диверсионной группой, прыгал с парашютом в немецкие тылы и, как подсказывает мой кино-телевизионный опыт, полз, подкрадывался, выжидал часами и сутками, и наконец в з р ы в а л, и уходил, отрываясь от преследования, назад, к своим, через лесные дебри, через болота, через линию фронта и, поймав Смерть во всех ее обличьях, научился насмешливой снисходительности к пустякам и формальностям, которыми опутана Жизнь.

ФРАГМЕНТ БИОГРАФИИ (Героический или сентиментальный?)

— Что будем делать? — повторяю. — Что?

— Всех опоздавших приказано отправлять к начальнику ВОХР, — отвечает он нерешительно.

Озираюсь, пытаюсь вовлечь его в старую игру:

— Никого нет! — шепчу возбужденно. — Я тихо, как мышь!

— Не могу, — жмется он, стесняясь самого себя, и объясняет, оправдываясь: — Начальник новый.

Когда-то он не боялся смерти, теперь боится своего начальника.

— Не может быть, — бормочу, — нет!

Поняв меня по-своему, он отвечает, приободрившись:

— Да, новый. Кто знает, что за человек?

Стою, смущенный, и, глядя в сторону, произношу вдруг с нахальным вызовом:

— Сейчас увидим! Сейчас проверим, что он за человек, этот новый начальник!

Иду через вестибюль в угол, где выгорожен его кабинет, открываю дверь и вижу, представьте себе, Габо. Примостившись у краешка стола, он сочиняет объяснительную, в опоздании кается, а в стороне, у окна стоит и смотрит во двор сам начальник грозный, и спина его широкая — офицерский китель без погон — кажется мне знакомой, и этот затылок морщинистый, и седина в русых волосах, и крупные, с розовато-синими прожилками раковины ушей: да, это он,

ПОЛКОВНИК ТЕРЕНТЬЕВ,

и я смотрю на него, и мне видится заснеженное, заморожен-

ное поле стрельбищ, и Миклош Комар в хромовых сапожках, и Хетаг, и остальные мои сопризывники, и мы стоим на снегу, а над нами, в белесоватой высоте студеного февральского неба летят журавли...

Но как же давно это было!

— Здравия желаю, товарищ полковник! — рявкаю. — Инженер-лейтенант такой-то по вашему приказанию прибыл!

Он оборачивается, узнает меня, улыбается:

— В отставке полковник-то, в отставке.

...и журавли, печально пролетая...

— Вы здесь работаете? — спрашивает он.

— Так точно! — отвечаю. — Будем трудиться вместе.

— Очень рад вам, искренне рад.

— Я тоже, — признаюсь. — Но вы же собирались к Хетагу, — вспоминаю, — в управление хлебопродуктов...

— Был у него, — говорит полковник, — но сразу он ничего предложить мне не смог, а ждать я не стал. Так и сказал ему — боюсь застояться.

— А как поживает мой друг Миклош? — интересуюсь.

— Все так же, — вздыхает он, — ни вперед, ни назад, на месте топчется...

Полковник умолкает, задумавшись, и собирается продолжить, но его опережает Габо. Поняв, что мы знакомы, и надеясь извлечь из этого некоторую пользу для себя лично, он роняет как бы между делом, голос подает:

— Вот же вилы! На пять минут всего опоздал...

ТАК-ТО ОН НАЧИНАЕТ СВОЮ НОВУЮ ЖИЗНЬ.
(Ах, белая овечка!)

Поняв его с полуслова, я обращаюсь к полковнику с ходатайством:

— Вы знаете, — говорю, — я собираюсь усыновить этого мальчика и обещаю вам, что он исправится.

— Пожалуйста, — невозмутимо отвечает полковник, — как только допишет объяснительную, можете сразу же усыновлять его.

— Написал уже, — ворчит Габо, — читайте на здоровье.

Полковник берет у него бумагу, просматривает и произносит миролюбиво:

— Вы свободны. Скажете, чтобы вам вернули пропуск.

Габо встает нарочито медленно и неуклюже — характер показывает, — выходит, шаркая ногами, хлопает дверью,

и, неодобрительно глядя ему вслед, Терентьев спрашивает:
— Вы пришли, чтобы его выручить?

— Он хороший парень, — улыбаюсь, — поверьте... А пришел я потому, — сообщаю, — что сам был схвачен за руку на проходной.

— Ах, вот оно что, — хмурится полковник. Протягивает мне лист бумаги и ручку шариковую: — Пишите.

Усаживаюсь за стол и, не раздумывая, повторяю текст той, прошлой объяснительной, если вы помните:

«Опоздал, потому что проспал».

Расписываюсь, вручаю документ Терентьеву и жду, улыбаясь, заранее готовясь посмеяться с ним вместе, но, прочитав, он озадаченно смотрит на меня — не помнит! — и наконец удивляется вслух:

— Как же так? Сейчас ведь не утро, обед уже кончился...

— А после обеда, — отвечаю беспечно, — каждого зверя клонит в дрему.

Он смотрит на меня, но не осуждая, а сожалея скорее, и мне вспоминается вдруг его фраза давняя: «А я ни разу в жизни не проспал, не было такой возможности», и становится стыдно, словно я что-то обидное сказал, сам того не желая, что-то ляпнул невпопад, и уже другим тоном и о другом думая, я спрашиваю и снова не к месту, наверное:

— Тоскуете по армии?

— Еще бы, — склоняет он голову, — конечно...

— Простите, — говорю, — за эту писульку, — оправдываюсь, — я только что вернулся из командировки.

— Что же вы сразу не сказали? — вздыхает он с облегчением. — Что же вы голову мне морочите?

— Виноват...

— Ладно, — говорит он, — идите, не теряйте рабочего времени.

РАЗГОВОР ОКОНЧЕН.

Выхожу, возвращаюсь к Мухарби, и, вручая мне отобранный пропуск, он спрашивает с надеждой:

— Ну как? Что за человек?

— Изверг, — жалуюсь, — динозавр.

— Так я и знал, — сокрушается он, — сразу его раскусил.

— Да, — подтверждаю, — кончилась вольница.

Покачивая головами и вздыхая, мы расстаемся, и я направляюсь в конструкторский отдел, шагаю по лестнице — первый пролет, второй, — и с каждой ступенькой

шаг мой ускоряется, и на третий этаж я не всхожу, а взбегаю, торопясь, как лошадь, почуявшая родное стойло, и мне уже слышится гвалт веселый: «Алан приехал!», и шутки друзей моих, конструкторов, и я чуть ли не рысцой трушу и прибавляю по мере приближения к заветной двери, и уже руку к ней протягиваю, но напрасно — она открывается сама собой, и в дверном проеме возникает хмурый лик Эрнста.

— Где ты шляешься? — спрашивает он, выйдя мне навстречу. — Директор каждые пять минут звонит.

— Значит, соскучился по мне, — улыбаюсь, — а если директор скучает по человеку, значит, человек чего-то стоит.

— Боюсь, что ты ошибаешься, — слышу в ответ, — он скучает наоборот.

Эрнст берет меня за плечи, разворачивает:

— Пошли.

— Куда? — спрашиваю, упираясь и оглядываясь на порог, через который так и не переступил.

— К директору, — отвечает Эрнст. Он косится на меня из-под очков: — Что у тебя вышло с Васюриным? За что ты его обхамил?

— Позвонил уже? — усмехаюсь. — Пожаловался?

Мы идем по коридору, спускаемся на второй этаж, и я рассказываю о командировочке своей постыдной, и Эрнст чертыхается, и, рассказывая, я распаляюсь все больше и больше, кляня Васюрина и понимая в то же время, что он не решился бы затеять торг с моим отцом и с Черменом не решился бы, и, значит, есть во мне самом что-то такое, что позволило ему надеяться на успех, и, казнясь, я пытаюсь на ходу, на тридцатом году жизни определить это в себе и сформулировать, и слышу возглас собственный: «Я не муж!», и вспоминаю о дикой груше, стоящей во спасение мне, и бросаюсь к ней, но она лежит мертвая на мокрой земле, и я бегу, спасаясь от себя уже и от Эрнста, естественно, но он не отстает, и, конвоируемый им, я врываюсь в приемную, и, как мужик взбунтовавшийся, рвусь к пузатой директорской двери и слышу строгий оклик:

— Директор занят.

МАЙЯ.

Она постукивает на машинке, а в Москве постукивает Наташа, а на полянке лежит, раскинувшись в неге, Люда-

Людок, и поздоровавшись, но без улыбки обычной я пове-
леваю раздраженно:

— Пойди и скажи ему: я здесь.

Удивленно глянув на меня, она поднимается нехотя,
идет в кабинет и, вернувшись, сообщает:

— Приказал ждать, никуда не отлучаться.

Мы усаживаемся в кресла, сидим молча, а Майя посту-
кивает себе, и постукивают часы напольные, вычитая из
нашей жизни секунду за секундой — тик-так, — и время
уходит, и вместе с ним уходит моя ярость, и я сижу и ду-
маю о том Великом Начальнике, который первым начал
выдерживать подчиненных в приемной, доводя их до кон-
диции — тик-так, — и чувствую, что созреваю уже и го-
тов к употреблению, раскисший от ожидания, перебродив-
ший и успокоившийся, и, поняв это и встрепенувшись, я
поворачиваюсь к Майе и, утверждая себя как личность,
спрашиваю бодренько:

— Скучала по мне?

— Нет, — отвечает она, постукивая, — как-то не до
тебя было.

Смотрю на нее, недоумевая — она не принимает игры! —
и, озадаченный, пытаюсь найти причину тому и из множест-
ва реальных и мнимых выбираю одну, наиболее вероятную —
да! — приехал жених ее, догадываюсь, аспирант, который
летом защитит кандидатскую, которому обеспечено место
на кафедре и докторантура в будущем, и мне слышится го-
лос Майи: «Он из хорошей семьи», и она сама из хорошей,
усмехаюсь, и, соединившись в браке, они создадут еще
одну х о р о ш у ю семью, надежную и прочную, ячейку
общества, и, усмехнувшись, я спрашиваю:

— Совсем не скучала?

— Представь себе, — отвечает она, и я мрачнею — уж
не от ревности ли? — и снова усмехаюсь, но по собственно-
му адресу на сей раз, и, взбеленившись, вскакиваю и го-
ворю Эрнсту:

— Идем отсюда! — и обращаясь к Майе: — Если по-
надобится — мы у себя в отделе.

— Как знаете, — пожимает она плечами, — но вам
приказано ждать.

— Мало ли что, — ворчу, и в это время, словно почуяв
бунт в приемной, директор нажимает кнопочку, раздается
звонок, Майя вскакивает резво, идет в кабинет, возвраща-
ется и произносит в пространство:

— Зайдите.

Входим, и я здороваюсь, но директор не отвечает и не предлагает нам сесть, и мы усаживаемся без приглашения, а он все молчит, продолжая выдержку, и только вздыхает горестно — раз, другой, третий, с равными промежутками и с равным зарядом горечи, — и мы сидим с Эрнстом, слушатели покорные, и почтительно внимаем, и дотянув паузу до возможного предела, директор спрашивает, не глядя на меня:

— Что вам предложил Васюрин?

Он обращается ко мне на «вы», а это означает крайнюю степень неудовольствия.

— Он предложил мне то, — отвечаю, — что лощеные господинчики предлагают красивым, но бедно одетым девушкам.

— А вы?

— А я ответил, как бедно одетая, но гордая девушка. Директор делает еще одну паузу, но покороче первой.

— Разве я для этого послал вас в командировку? — выговаривает он, будто через силу. — Я послал вас для того, чтобы вы по-деловому решили важный вопрос.

— Я сделал все, что мог, — объясняю. — Сберег свою девственность.

— Вы не выполнили командировочное задание, — повышает он голос, — и я прикажу сделать удержание из вашей зарплаты.

— Пожалуйста, — киваю. — Кстати, у меня осталось еще пять рублей, может, их сейчас вам отдать?

Теперь уже пауза возникает сама по себе.

— Ходят слухи, — вступает Эрнст, обращаясь к директору, — что вы хотите на базе нашего предприятия организовать ЦКБ?

— Не знаю, кто их распускает, — морщится директор, — но, ей-богу, никому из вас это не принесло бы вреда.

— Значит, правда? — напирает Эрнст. — Держите такую мыслишку?

— С вами сделай что-нибудь, попробуй, — жалуется директор, — с вами только бы инфаркт не получить...

Слушаю их и понимаю, что Эрнст не зря затеял разговор о ЦКБ, что это имеет прямое отношение к моей командировке, вернее, к Васюрину, который может поддержать, а может и не поддержать директора в его начинании, а даль-

ше все просто — директор насаживает живца на крючок и забрасывает удочку, а леска в полторы тысячи километров длиной, и Васюрин клюет, рыба хищная, но живец не дает себя проглотить, и это как раз то, что нужно директору, и теперь он может ставить свои условия — ЦКБ, — пообещав в ответ утихомирить живца-живчика, ребра ему помять, головой о стенку постучать и, снулого, еще раз забросить, или не забрасывать, а использовать в другом качестве, но с той же целью — мало ли, как можно использовать живца!

— Если начальником конструкторского отдела станет человек от Васюрина, — заявляю, вскипев, — я уйду по собственному желанию.

— Что?! — настораживается директор.

Это не входит в его планы.

— По собственному желанию, — повторяю.

— Не уйдешь, — улыбается он, — я тебя уговорю.

— Нет, — головой качаю, — не уговорите.

— Ну, что ж, сынок, — вздыхает он, — ты прав, пожалуй. Квартиру я тебе дал, теперь можно поискать себе директора получше.

— Не называйте меня сынком! — взрываюсь. — Сыновей на крючок не насаживают!

— Ты о чем? — он хмурится и краснеет одновременно. — Какой крючок?

Все-то он понимает.

— Вы знаете, — задумчиво произносит Эрнст, — я ведь, пожалуй, тоже уйду.

— На здоровье! — рывкает в сердцах директор. — Производство и без вас не остановится.

ПРОИЗВОДСТВО НЕ ОСТАНОВИТСЯ НИКОГДА.

Эрнст собирается ответить, высказать собственное мнение на этот счет, но открывается дверь, и в кабинет заглядывает Майя.

— Алан, — говорит она, — тебя к телефону, — и добавляет, словно обвиняя: — Женщина какая-то.

Директор улыбается, пытаясь разрядить обстановку:

— В таких случаях принято говорить: вас приятный женский голос спрашивает.

— Странный голос, — уточняет Майя.

Пожимаю плечами — мне никто никогда не звонил на работу, тем более сюда, в приемную.

— Простите, — встаю, — я сейчас вернусь.

Выхожу, беру трубку, отзываюсь и слышу:

— Алан... Приезжай... Скорее...

Это Зарина, и голос у нее действительно странный, и даже страшный, и мне вспоминается, как я впервые увидел ее, тогда еще незнакомую девушку, сидящую в кресле, и услышал: «У меня парализованы ноги», и в голове мелькает мысль о том, что с параличом можно разделаться своими собственными силами, а заодно разделаться и с самой жизнью, и голос ее подтверждает мою догадку, и я кричу в испуге:

— Подожди! — и осекаюсь, поняв, что тороплю ее тем самым, и, не находя других слов, повторяю: — Подожди! — а Майя смотрит на меня во все глаза, и, стараясь не встречаться с ней взглядом, я твержу: — Сейчас приеду! Сейчас...

Зарина, не ответив, кладет — или бросает? — трубку, и сорвавшись с места, я бегу вниз, в гардеробную — ах, вешалочка моя замысловатая! — срываю пальто, бросаюсь к выходу и натыкаюсь на твердую грудь Мухарби.

— Куда! — требует он.

— Несчастье, — говорю, — несчастье у меня!

— Ничего не знаю, — отвечает он. — Надо пропуск.

— Времени нет! — объясняю. — Некогда!

— Не могу! — он увеличивает громкость. — Без пропуска не выпущу!

Отталкиваю его, отчаявшись, уворачиваюсь, выскакиваю из парадного, бегу через дворик пригожий — округлости клумб под снегом, — и слышу топот сапог кирзовых и крик за спиной:

— Стой!

Бегу, не оглядываясь.

ТРЮКОВАЯ СЦЕНА. (Исполняется без дублеров.)

Выбегаю на улицу, машу рукой, останавливая машину, но она проносится мимо, и вторая тоже, а Мухарби трусит ко мне рысцой и что-то кричит, а вот и Терентьев появляется, бежит между клумбами, и я слышу фальцет его пронзительный:

— Вы па-а-ачему оставили пост?! Возвращайтесь немедленно!

Мухарби останавливается и поворачивает назад, а Терентьев ко мне спешит, брови бесцветные хмурит:

— Вы па-а-ачему нарушаете порядок?!

— Несчастье у меня, полковник, — бормочу, — несчастье...

Вижу — он выходит на середину дороги, властно поднимает руку, и, едва не уткнувшись радиатором ему в живот, перед ним останавливается «Волга», а в ней тузы какие-то, шапки ондатровые. Терентьев открывает дверцу и говорит:

— Подвезите товарища. Адрес он укажет.

— Но у нас полный комплект, — отвечает сидящий рядом с водителем — туз червовый, если исходить из картежной иерархии.

Комплект действительно полный: на заднем сиденье трое — туз бубновый, трефовый и пиковый.

— Один пусть выйдет и доедет на трамвае, — приказывает Терентьев, и я понимаю, что он не случайно дослужался до полковника.

— Только не это, — пугается пиковый туз, — как-нибудь поместимся.

Трое на заднем сиденье сдвигаются, я подсаживаюсь к ним, машина трогается, и червовый туз произносит озадаченно:

— Давненько мной никто не командовал, — и, обернувшись, спрашивает меня: — А кто он такой?

— Генерал армии, — отвечаю, чтобы ему было не так обидно. — Друг семьи, приехал погостить к нам.

— А как его фамилия?

— Не важно.

Туз понимающе кивает.

— А почему он без погон? — интересуется.

— Этот китель он дома носит, — объясняю, — вместо пижамы.

— Да-а, — уважительно тянет червовый, — настоящего генерала и без погон видно, — и, выполняя приказ генеральский, говорит шоферу: — Нажимай, Резван, товарищ торопится...

А вот и дом девятиэтажный, 8 подъездов, 36 квартир в каждом, 288 миров, разделенных бетонными блоками, и один из миров рушится сейчас — тихо и незаметно для остальных, — и, выскочив из машины, я бегу, взбегаю по лестнице, забыв о лифте, а в голове саднит та песенка пустая: «Шея человечья», и я никак не могу отделаться от неё, от мотивчика прилипчивого, и думаю на бегу о том, что мне придется ломать дверь, и вот уже примериваюсь

к ней, толкаю легонько для пробы, но она не заперта, и я врываюсь в прихожую — антресоли, зеркало, вешалка, все, как было, все на месте, — и, собравшись с духом, распахиваю следующую дверь и вижу:

ЗАРИНА СТОИТ

посреди комнаты, бледная до синевы, и слабо улыбается мне.

Бросаюсь к ней, словно обезумев, хватаю, прижимаю к себе и слышу:

— Не могу больше... Ноги как ватные... А сесть боюсь, вдруг не поднимусь больше...

Стою, обняв ее, и плачу от радости или от счастья, как говорилось раньше, когда людям была свойственна большая эмоциональность, и стесняясь слез своих, прячу лицо за ее плечом, и, чувствуя, она поглаживает меня по спине, успокаивая, и, благодарный, я поворачиваю ее осторожно, веду к креслу — шаг, еще шаг — и говорю:

— Ничего... Все будет хорошо, — обещаю, — все будет, как надо.

Усаживаю, и она откидывает голову на спинку кресла, а я топчусь рядом и, не зная, что бы такое сделать для нее, повторяю:

— Все будет, как надо...

Зарина долго молчит и наконец вздыхает, жалуясь:

— Я и домой тебе звонила, и в отдел... Еле нашла...

И будто испугавшись своих слов, говорит вдруг:

— А теперь уходи, — и еще раз испугавшись, поправляется: — Нет, я не то имела в виду... Просто хочется побыть одной...

— Да, — киваю, — да, конечно...

Иду по улице, а куда и сам не знаю, и надо бы вернуться и закончить разговор с директором, да настроение не то, и надо бы сесть на трамвай, поехать на автостанцию и дальше, в село, да остановка осталась позади, и мне бы забыть обо всем и смеяться, ликуя, но пережитый страх и пережитая радость, взаимно уничтожившись, образовали пустоту в душе, и я бреду устало — ах, что-то часто я стал уставать! — сворачиваю куда-то, еще раз сворачиваю и прибавляю шагу, через ручейки-ручечки прыгаю и улыбаюсь, догадавшись, что тороплюсь домой, к телефону, чтобы переждать немного и позвонить Зарине.

Достаю из кармана ключ, отпираю, вхожу, но звонить еще рано — нужно дать ей прийти в себя, отдохнуть, — и я валюсь на раскладушку и в памяти повторяются, но в обратном порядке, только что отмелькавшие кадры: мой панический бег вверх по лестнице, машина с четырьмя тузами, полковник Терентьев: «Вы па-а-ачему оставили пост?!», растерянный Мухарби, и я смотрю, как на экран, на потолок своей однокомнатной (17,8 кв. м) и слышу упрек директорский: «Конечно, сынок, квартиру я тебе дал», и отвечаю: «Я вам хоть завтра верну ордер, хоть сегодня, если не терпится», и знаю, что мог бы ответить так и в действительности, потому что в селе, в нашем доме, есть светлая комната, в которую я всегда могу вернуться, а в ней старый шкаф, в котором хранится выгоревшая, вылинявшая детская рубашонка, сшитая для меня матерью из довоенных ситцевых лоскутьев... Лежу и думаю об этом, и закрываю глаза, расстроганный, и прижимаюсь щекой к теплomu стволу дикой груши, и слышу шелест листьев над головой, спокойный и умиротворяющий, и слышу вдруг — стучат в дверь, и надеюсь, что это кто-то из них — мать или Чермен, а может быть, и отец, — подхватываюсь, открываю, и радость моя сменяется удивлением:

У ПОРОГА СТОИТ МАЙЯ. (Рабочий день еще не кончился, но разрешения на уход ей не требуется.)

Она стремительно входит в комнату, расстегивает пальто, швыряет его на кровать, срывает шапочку вязаную и, глядя на меня в упор, а в глазах огонь яростный, спрашивает резко:

— Это правда?!

Ах, до чего же она красива, Майя!

— Ты о чем? — недоумеваю.

(Как бы она свитерок сгоряча не сдернула и юбочку следом за ним.)

— Это правда, что ты связался с паралитичкой?

Ах, вот почему она так холодно встретила меня сегодня...

Пытаюсь ответить, но словом п а р а л и т и ч к а она, будто кляпом, заткнула мне рот.

— Да, — выдавливаю наконец, — правда. Откуда ты знаешь? — интересуюсь.

— В этом городе все обо всех известно! — выпаливает она.

Неизвестно лишь о наших с ней отношениях.

— Говорят, ее папаша дает тебе в приданое автомобиль?

ЗАНЯТНАЯ ВЕРСИЯ.

— Не только, — усмехаюсь. — Он дает еще и виллу на побережье Эгейского моря, и яхту со всеми удобствами.

ПАПАША-МИЛЛИОНЕР.

— Ну и что ты будешь делать на вилле? — шурится она. — В постели, я имею в виду!

— Ты! — бормочу. — Ты!

Подступаю к ней, освирепев, отступаю к кровати, беру пальто, подаю, кавалер галантный, ножкой шаркаю, выпроваживая:

— Прошу вас.

— Противно, когда женщина продается, но продажный мужчина — это мразь, мерзость!

Она шипит как кошка, не попадая в рукава, и мне бы годову ей разбить, а я стихи Апполинера читаю, улыбаясь:

Срываю вереск. Осень мертва.
На земле, ты должна понять,
Мы не встретимся больше. Шуршит трава.
Аромат увядания. Осень мертва.

И, помедлив чуть и посомневавшись, заканчиваю:

Но встречи я буду ждать.

Она замирает на мгновение, Майя.

— Дурак! — всхлипывает. — Я же люблю тебя!

Хватает пальто и, забыв об извечной своей осторожности, выскакивает раздетая, дверь за собой захлопывает.

ТАКАЯ ИГРА?

А шапочка ее вязаная — мохер греко-перуанский — лежит на столе, и рука моя вибрирует между нею и телефоном, как между полюсами магнита, и, преодолев наконец притяжение мохеровое, я снимаю трубку, набираю номер и слышу голос Зарины.

— Ну, — спрашиваю, — как дела?

— Сижу, — отвечает она.

— Вот и хорошо, — говорю, — все правильно. Тебе и не нужно вставать. Ты просто возьми и переставь левую ногу. Переставила?

— Да.

— А теперь правую. Получается?

- Да.
- Вот и все, и ничего не бойся...
- Алан, — слышу, — спасибо тебе, Алан.
- За что? — спрашиваю.
- Сам знаешь.

Вот и позвонил я, вот и позвонил, и теперь можно двинуть в путь, и, одевшись, я закрываю газовый кран на кухне, гашу свет в туалете — свод правил для человека, покидающего дом, — и, выйдя из подъезда и постояв в задумчивости на крыльце, направляюсь к трамвайной остановке, иду по невидимым следам Майи, но, заметив зеленый огонек, прерываю движение, поднимаю руку — у тротуара притормаживает, останавливается такси. Открываю дверцу, чтобы вступить в переговоры с водителем — мне до автобусной станции, если сообразовались, а дальше я сам, — но водитель опережает меня:

— Садись! — машет. — Куда скажешь, туда и поедem.

Я уже слышал этот голос, вспоминаю и, приглядевшись, узнаю своего старого знакомого. Да, это он:

ТАКСИСТ-КЛЯТВОПРЕСТУПНИК.

Усаживаюсь и неожиданно для себя не автостанцию называю, а конечный пункт, село свое родное.

ТАКОЙ ПОВОРОТ.

— Нет, — качает он головой, — оттуда мне порожняком возвращаться.

— Кого-нибудь прихватите, — обнадеживаю.

— К ночи подморозит, гололед будет на трассе, — произносит он как бы для себя самого.

— Но вы же обещали, — напоминаю.

— Если оплатишь оба конца...

— Ладно, — ворчу. — Сколько?

— Тридцать.

Это не вдвое, это втрое дороже.

— Тридцать четыре стоит авиабилет до Москвы, — сообщаю для сведения.

— В облаках гололеда не бывает, — пожимает он плечами.

Тридцать рублей — это все, что осталось у меня до зарплаты, из которой, возможно, будут вычтены командировочные:

ЦЕНА ВАСЮРИНСКОГО УГОЩЕНИЯ. (Согласно законам кавказского гостеприимства.)

— Вперед! — усмехаюсь. — Считаю, что тридцатка у тебя в кармане.

Раз в жизни даже простой трудящийся может позволить себе прокатиться в родное село на такси.

Машина трогается, унося меня из настоящего в будущее, и я сижу, безучастный, и думаю о том, что завтра позвоню Зарине — улизну со свадьбы на часок, схожу на почту, закажу междугородний, — и послезавтра тоже, а в понедельник мы с Эрнстом снова явимся к директору, и, войдя в приемную, я кивну Майе: «Здравствуй», и она ответит как ни в чем не бывало: «Здравствуй, — и улыбнется. — Что-то давно мы с тобой не виделись», а слово «видеться» в ее лексиконе имеет иной, как вы помните, отличный от общеупотребительного смысл, и, смутившись, я пробормочу: «Такая жизнь», и, недоуменно глядя на нас, Эрнст поинтересуется: «Это что, пароль?», и, окончательно растерявшись, я усмехнусь нахально: «Пароль и отзыв», и усядусь в кресло, ногу на ногу закину, и, высидев положенное время, мы войдем в кабинет, и директор скажет мне: «Прости, сынок, насчет командировочных я тогда погорячился», и я спрошу насмешливо: «А насчет квартиры?», и, вздохнув с печалью непонятого человека, он произнесет: «Разве я о себе беспокоюсь? — и головой покачает: — Что мне осталось? Лет пять, не больше, — и еще раз вздохнет, но с укоризной уже: — Хочу вам наследство получше оставить, о вашем будущем думаю», и я пригорюнюсь, не зная, как его утешить, и Эрнст ответит за нас обоих, твердо и непреклонно ответит: «Не нужно нам такого будущего».

А завтра он придет к нам на свадьбу, Эрнст, и еще человек десять с ним, друзья-коллеги — конструкторы, и они усядутся, конечно, вместе и, выпив, заведут разговор о производстве, чтобы потом в отделе поговорить о свадьбе, и, думая о них с улыбкой, я жалею, что не пригласил З. В. и в круговерти сегодняшней забыл пригласить Терентьева, и, возвращаясь в прошлое, говорю таксисту, радостью с ним делюсь, а заодно и о себе напоминаю:

— Та девушка, между прочим, встала на ноги...

Он косится на меня, то ли не узнавая, то ли не желая узнавать:

— Какая девушка?

— Которую мы с тобой возили в больницу.

(Я перешел с ним на «ты», полагая, что это, как и гололед, входит в стоимость проезда.)

— Не пойму, — хмурится он, — чего ты ко мне цепляешься?

Значит, помнит о клятве своей!

Проезжаем попутное селение, а на улице светло еще, и, глядя вперед, на дорогу, у обочины которой копошатся куры, он спрашивает вдруг:

— Давно из Москвы?

О стоимости авиабилета вспомнил, догадываюсь, тридцать четыре рубля.

— Сегодня, — отвечаю простодушно, — утром прилетел.

— Первый раз в Осетии? — вопрошает он, отрицая тем самым мое право на воспоминания.

Даю биографическую справку:

— Родился здесь, вырос и до сих пор дожил.

Пропустив это мимо ушей, он кивает на петушка, перебегающего дорогу:

— А петухи у вас в Москве есть?

— Есть, — отвечаю, — есть.

Однако у обочины разгуливают не только куры.

— А козлы у вас в Москве есть? — интересуется он.

— Есть.

— А ишаки у вас в Москве есть? — развлекается.

— Есть, — говорю, — есть.

Не знаю, как долго продолжался бы этот перечень — волы, бараны, хряки, — но селение кончается, а лис и шакалов давно уже перебили, и то ли скорбь о них, то ли о себе самом задумавшись, таксист умолкает, и теперь уже я спрашиваю:

— А попугаи у вас в Осетии есть?

— Нет, — отвечает он. — А у вас?

— Есть, — усмехаюсь, — в Москве все есть.

Дальше мы едем молча, и я смотрю на горы, возвышающиеся в стороне, на розовеющие облака над ними, и мне слышится голос Зарины: «Не могу больше... Ноги как ватные», и я снова обнимаю ее и плачу, и слышу отчаянный вскрик Майи: «Дурак! Я же люблю тебя!», и, словно из пут рванувшись, я резко подаюсь вперед к ветровому стеклу, вглядываюсь в пространство, пытаюсь различить вдали невидимые еще верхушки тополей и черепичные крыши своего села.

А вот и показалось оно, по-весеннему голое и неопрятное — островки ноздреватого снега у заборов и черная жижа перегной, — и, выехав на сельскую площадь, таксист

закладывает вираж по лужам, подруливает к автостанции нашей, к навесу, украшенному мозанкой, — горы, башки и тур круторогий размером с корову, — и, остановив машину, поздравляет меня:

— С приходом.

— Мерси, — говорю, — но мне дальше, мне к самому дому, пожалуйста.

— А улица у вас заасфальтирована?

— Нет, — отвечаю, — и даже не вымощена.

— Не поеду, — он показывает на лужи, — грязь.

— Ты считаешь, — спрашиваю, — что по грязи приятнее ходить, чем ездить?

— Сказал — значит, все! — отмахивается он. — Не уговаривай!

— Но деньги-то еще в моем кармане, — напоминаю, — пока еще в моем.

Он смотрит на меня зверем, но затеять скандал в чужом селе не решается.

— Знал бы, — рычит, — не посадил бы тебя!

— Вот и не сажай следующий раз, — советую, — а сейчас заводи, — говорю, — поехали, тут недалеко.

Глядя в сторону и тем самым как бы отстраняясь от происходящего, таксист включает стартер, включает передачу, и машина трогается как бы сама по себе, и я руковожу ее движением — налево, направо, — и она ползет, переваливаясь на ухабах и буксуя, и послушная моей воле, приближается к дому, возле которого росла когда-то дикая груша, и наконец останавливается у ворот.

На улице все еще светло, и я удивленно смотрю на часы — как прибавился день, как быстро пролетел февраль!

— Будь здоров, — говорю, протягивая деньги. — Удачи тебе на дорогах.

— И тебе, — не глядя на меня, отвечает таксист, — того же самого желаю.

Захлопываю дверцу, открываю калитку, слышу голоса, доносящиеся из глубины двора, огибаю дом, вижу мужчин, толпящихся у сарая, и останавливаюсь, радостный — это мои двоюродные братья, — останавливаюсь и с горечью думаю о том, что не слишком-то часто вспоминаю их. Раньше мы были дружны — ах, детство розовое! — но время развело, отдалило нас друг от друга — или меня отделило от них? — а совсем еще недавно, век, полвека назад, мы бы жили вместе, одной семьей, возвращали сообща свое

генеалогическое древо-деревце, и время обходило бы нас стороной.

Ах, не об этом ли мечтал мой отец? А братья его не мечтают ни о чем: они в земле лежат — один под Гомелем, второй под Артемовском, третий под Каунасом.

Они лежат в земле, а я смотрю на их сыновей, крепких, по-деревенски основательных мужчин, вижу седины в их волосах и думаю о том, как быстротечно время, и повторяю про себя как заклинание, как молитву повторяю их имена:

САРМАТ, БОЛА, ХАЗБИ, КАМАЛ, АХСАР, СОСЛАН, БАТРАЗ.

Они и на свадьбу Чермена пришли-приехали загодя, двоюродные мои, и сразу же взялись за работу, парни угловатые, юнцы безусые — поставили навес во дворе, сколотили скамейки, дров накололи и так далее, и тому подобное, и вечером, после трудов праведных мыли руки, плескались у сарая, потом сидели за столом на веранде, ужинали, а спать улеглись в моей просторной, только что отстроенной и выбеленной комнате — двое на диване, остальные на полу, восемь душ, если считать со мной, — долго шептались в темноте, смешное рассказывая, смеялись, уткнувшись в подушки, и расшумелись в конце концов, и умолкли, скрип кровати за стеной услышав и голос моей матери:

«Надо пойти уговорить их. Завтра рано вставать».

«Не надо, — ответил отец. — Пусть радуются друг другу».

Тринадцать лет прошло с тех пор, и вот они опять стоят у сарая, и я вижу, как племянники мои Беса и Алан-2, приносят умывальник гремучий, вешают его на стенку, на гвоздь, наполняют водой, подставляют табурет с тазом, повторяют то, что когда-то, еще до их рождения исполнил малолетний Таймураз, и двоюродные наши степенно засучивают рукава, и, засучив, и тоже, видимо вспомнив прошлое, заводятся, начинают толкаться, мужи солидные, и Сармат, старший из них, оттеснив, отодвинув всех и пробившись к умывальнику, произносит назидательно:

— В порядке живой очереди.

Значит, все уже сделано, все готово к свадьбе, и, гость в родном доме, я выхожу из-за угла, подкрадываюсь к ним сзади, пристраиваюсь и спрашиваю с виноватой улыбкой:

— Кто последний?

Они оборачиваются ко мне:

— Алан! Алан! Алан!

Услышав гвалт во дворе, из дому на веранду выходит Чермен.

— Алан? — улыбается. — Вовремя ты, мы как раз ужинать собираемся.

Если бы это сказал кто-то другой, я мог бы заподозрить подвох, но Чермен, знаю, говорит от чистого сердца.

Однако лучше бы ему не говорить этого.

— Алан всегда вовремя! — ликуют двоюродные мои. — Алан всегда был умнее всех!

Выбежавшая следом за Черменом Дина вступается за меня:

— Чего раскричались?! Всех собак переполошили!.. У Алана работа такая, — объясняет она, — он занят.

— Да, да, — киваю важно, — такая работа.

Не рассказывать же о Васюрине, не рассказывать же, оправдываясь, о Зарине.

— У него работа, — соглашаются, веселясь, двоюродные, — а мы что? — и подхватив, скандируют: — Мы — ничто! Мы — ничто! Мы — ничто!

На шум из дома выходят четыре женщины, невестки моего погибшего деда, и старшую из них вы знаете — это моя мать, а остальные — свояченицы ее, матери моих двоюродных братьев, вдовы: муж одной из них пал под Гомелем, второй — под Артемовском, третьей — под Каунасом, и они остались с осиротевшими детьми, которых надо было кормить неизвестно чем и неизвестно во что одевать, и надо было выжить при этом, и я смотрю на них, состарившихся, смотрю на женщин этих, родственниц, родных своих, и комом подступает к горлу слово с и д з а р г а с, и я не знаю, как перевести его на русский, но перевожу все-таки (для Габо, Берта и Заура), буквально перевожу:

ОХРАНЯЮЩАЯ СИРОТ.

Сколько же поколений осетин должно было вырасти без отцов — гунны, готы, монголы, — чтобы из двух простых слов, сидзар — сирота и гас — страж, образовалось односложное, суровое и трагичное в самом звучании своем:

СИДЗАРГАС.

А они улыбаются, трое, радуясь тому, что видят меня живым и здоровым, спускаются с веранды, подходят ко мне, обнимают, гладят по щекам, и я чувствую шершавую сухость их изработавшихся ладоней и слышу голоса ласковые:

— Мальчик... Мальчик... Мальчик...

Слышу — младшая из них, Джелло, говорит-приговаривает:

— Какой ты хороший был раньше. А теперь... Вспомни, когда ты был у нас в последний раз?

— Не так уж и давно, — слышу лепет свой, — недавно как будто бы...

— Нет, мальчик, нет, это в августе прошлого года было...

— А что это за машина у ворот? — спрашивает с веранды мать.

Оборачиваюсь, а заодно и от стыда отворачиваюсь, и вижу зад своего приятеля-клятвопреступника, копающегося в моторе.

— Такси, — говорю, — я на нем приехал.

— Совсем городским стал, — качает головой Джелло. — Человек привез тебя, а ты его даже в дом не приглашаешь.

— Это я мигом, — отзываюсь, — это я в момент.

Выхожу, и, услышав скрип калитки и шаги мои, таксист ворчит, не разгибаясь, из-под открытого капота вещает:

— Свечи забрызгались.

— Ладно, — говорю, — оставь их. Зайди в дом, посиди с нами, а свечи за это время высохнут.

— Грамм не могу! — отмахивается он. — При исполнении.

— Никто и не собирается тебя поить, — усмехаюсь, опешив слегка. — Поужинай и езжай себе на здоровье.

— Сказал — значит, все! — он выпрямляется и то ли всерьез, то ли в насмешку добавляет: — Спасибо за приглашение.

Разглядев его, выпрямившегося, Джелло срывается с места, семенит через двор, выбегает из калитки и протягивает к нему руки:

— Мурат!

Она обнимает его, как обнимала только что меня, а я стою и наблюдаю с ревностью некоторой, и, повернувшись ко мне, Джелло объясняет, счастливая:

— Это же сын Касполата!

Касполат, соображаю, Касполат, какой-то дальний родственник. Он бывал у нас когда-то, вспоминаю, бывает и сейчас, наверное, но я-то далеко, я в городе живу...

Джелло подталкивает меня к таксисту:

— Вы даже не знаете друг друга... Ох, жизнь, жизни!

Обмениваемся рукопожатиями:

— Алан.

— Мурат.

А из калитки одна за другой выходят женщины, и сыновья их выходят — образуется небольшая толпа, и женщины обнимают моего таксиста и представляют ему сыновей, и Чермен, конечно, знаком с ним, а двоюродные наши подходят к нему в порядке старшинства — Сармат, Хазби и так далее, и наконец наступает очередь племянников, и они чинно протягивают руки:

— Беса.

— Алан.

Теперь Джелло подталкивает Мурата:

— Пойдем, обрадуем Бесагура! — и, повернувшись ко мне и вздохнув, она произносит вполголоса: — Он что-то не в настроении сегодня. Наверное, нога болит.

Ах, это не нога, если вы помните, это душа у него болит!

Женщины ведут Мурата в дом, чтобы обрадовать отца, и, сознавая значимость своей миссии, он с достоинством поднимается на веранду, входит, а следом за ним и свита многочисленная — Чермен, Сармат, Хазби и так далее, и мы остаемся во дворе вдвоем с Сосланом, сыном Джелло, стоим и улыбаемся, смущаясь,

ДВОЮРОДНЫЕ БРАТЬЯ,

и надо бы хоть слово молвить, а мы на месте топчемся — кто первый? — и наконец Сослан делает шаг, то ли со мной сближаясь, то ли из прошлого в настоящее вступая, и, замерев в неопределенности, делает второй, в будущее, и продолжая улыбаться, спрашивает:

— А когда же мы твою свадьбу сыграем?

Надо бы отшутиться, да язык не поворачивается, и, неуклюже уклоняясь от темы, я вопрошаю покровительственно:

— Как ты живешь?

— Ничего, — пожимает он плечами. — А ты?

— И я ничего...

Дина выручает нас. Выйдя на веранду, она зовет:

— Алан, Сослан, идите, пора за стол садиться!

Вхожу, здороваюсь с отцом, и он говорит, не глядя на меня:

— Приехал? — так говорит, будто и не надеялся на мой приезд.

«Человек все должен делать вовремя, — слышится мне снова, — родиться, повзрослеть, жениться, вырастить детей»...

Ах, я не поспеваю, не поспеваю за временем!

Смотрю на отца, словно прощение вымаливая, и он добавляет, поняв:

— Мы тебя завтра ждали.

Стою одинокий в шумной комнате и слышу будто издали голос матери:

— Садитесь, а то все остынет.

И голос Чермена:

— Мальчики, идите к себе.

Вижу — племянники мои нехотя направляются к двери, и Алан-2 обиженно ворчит на ходу:

— Как работать, так мы мужчины, а как за стол садиться — мальчики.

Отец едва заметно улыбается Чермену:

— Пусть остаются, заслужили.

Усаживаемся по старшинству, как и положено — отец, Чермен, Сармат и так далее и, наконец, Беса и Алан-2, а женщины то входят, то выходят, то одно вносят, то другое и, наконец, три пирога ставят на стол, но сами не садятся, словно соблюдая древний обычай, которого никто и никогда не придерживался в нашем доме, и я собираюсь сказать об этом, об эмансипации напомнить, но догадываюсь вдруг, что они и не хотят садиться, нет, им приятно видеть взрослых сыновей со стороны, видеть их мужчинами среди мужчин, и пока я размышляю об этом, женщины уходят в соседнюю комнату, чтобы сесть там за отдельный стол, поесть спокойно и спокойно поговорить о прошлом, о невеселой молодости своей поговорить, о детях, о жизни, прожитой во имя будущего.

А мы сидим, мужчины, и отец мой, никогда не веривший в бога, произносит благодарственный тост за то, что все мы живы и здоровы, и собрались вместе по радостному поводу, а то, что мы вместе — уже само по себе радость, и тост этот традиционен в осетинском застолье, но я знаю, что отец не просто традиции следует — он о мечте своей говорит, он все еще верит в нее, надеется:

— За семью, которая родится завтра! За то, чтобы род наш прибавился! Чтобы и в будущих поколениях, и через тысячу лет наши потомки помнили о своем родстве!

Он говорит, а мне вспоминается З. В., который, стоя

на деревянной вышке, мечтает усадить за единый стол все человечество, и, вспомнив, я думаю о нем с любовью и жалостью, и думаю о женщинах, сидящих в соседней комнате, и снова повторяю про себя: «Сидзаргас», и слышу, как братья мои, завершая тост, рвякуют дружно и восторженно:

— Оммен!

Разомлев от избытка чувств, ко мне подвигается таксист-клятвопреступник, или Мурат, или сын Касполата — так будет вернее, — подвигается и шепчет жарко:

— Хорошо, что познакомились.

— Да, — улыбаюсь, — хорошо.

— А то могли бы подраться где-нибудь.

— Ты что, со всеми незнакомыми дерешься? — интересуюсь.

— Нет, — отвечает он, — но ты не похож на осетина.

— Значит, ты дерешься со всеми неосетинами? — удивляюсь.

— Нет, — говорит он, — но ты же осетин.

ЗАДАЧА НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ.

Разбираю ее условие, но решить не успеваю — открывается дверь, и в комнату заглядывает Таймураз.

— Привет честной компании! — насмешничает он. — Приятного аппетита!

— Жених! — ликуют двоюродные наши. — Встречный ему! Штрафной!

Пятеро из них моложе Чермена, но старше меня, двое — мои ровесники, а после войны родился лишь Таймураз, один-единственный родился.

— Штрафные чуть позже! — успокаивает он двоюродных. — У меня еще есть кое-какие дела... Алан, — зовет, — ты мне нужен.

Спросив позволения у отца, я встаю из-за стола, выхожу на веранду, а на улице все еще светло, день еще не кончился, и, словно удивляясь этому, Таймураз стоит и задумчиво смотрит куда-то вдаль.

— Слушай, — говорит, не поворачиваясь ко мне, — ты же знаешь их, — кивает на дверь, и я понимаю, что он имеет в виду отца, мать и Чермена, — они ведь не решатся сказать тебе...

— О чем? — спрашиваю. — Не тяни.

— Понимаешь, — мнется он, а из-за двери слышится голос отца, второй тост слышится, и тоже традиционный —

за дороги, которыми мы идем, за то, чтобы дороги эти всегда были прямыми, и, послушав, Таймураз повторяет: — Понимаешь, — и, решившись, выпаливает разом: — Если ты не против, мы с Дзерой займем твою комнату...

Дзера, сообщая, это имя его невесты, которой я так и не видел до сих пор.

— Она же все равно пустует, — оправдывается Таймураз. — Ты ведь раз в месяц приезжаешь, не чаще... Так мы займем? — в глаза мне заглядывает. — Ладно?

— Конечно, — киваю, — конечно, — по плечу его хлопываю, — о чем речь?

КОМНАТА, В КОТОРУЮ Я ВСЕГДА МОГ ВЕРНУТЬСЯ.

— Ну, я пойду? — нерешительно произносит Таймураз. — Мне еще нужно повидать кой-кого...

— Иди, — подталкиваю его, — иди...

Возвращаюсь к столу, а там веселье — Сармат рассказывает о чем-то, и все смеются, но я пропустил начало и не могу понять продолжения, и не могу смеяться со всеми, сижу, печальный, и о комнате своей думаю, о том, что надо будет как-то незаметно снять со стены авторские свидетельства и увезти их в город, и увезти в город ту самую рубашонку, сшитую когда-то матерью из довоенных ситцевых лоскутьев... Сижу, задумавшись, а таксист-клятвопреступник что-то в карман мне сунуть норовит, да не попадает никак, и, догадавшись, что он пытается тайком вернуть мне деньги за проезд, я отстраняюсь, и, разоблаченный, он шипит яростно:

— Не имеешь права! Мы — родственники!

Отодвигаюсь еще дальше, усмехаюсь:

— Какие могут быть счеты между родственниками?!

Слышу взрыв смеха — это Сармат заканчивает свой рассказ.

Слова, слова, слова.

Слышу — отец говорит:

— Все это хорошо, конечно, но что за стол без песни?

— Чермен! — слышу. — Давай, Чермен!

Чермен отнекивается, улыбаясь смущенно, но уступает в конце концов:

— Какую?

— Давай! — подбадривают его. — Сам знаешь!

Гвалт обрывается разом, все умолкает и ждут, замерев, но это еще не тишина, и Чермен тоже ждет, и вот она при-

ходит неслышно, как бы извне является, чистая, дарует пространство и принимает в дар высокий, светлый голос:

— Ой, пастух Черной горы!

Это мой старший брат поет.

— Ой-ой! — дружно и слаженно вторят двоюродные наши, и, глядя на широкие, крестьянские лица поющих и гордясь родством, я подхватываю:

— Ой, пастух Черной горы!

(Это пастух с Белой горы кричит, предупреждает тебя — слышишь? — к тебе скачут хищники-князья, сильные мира сего, у них повышенные потребности, они угонят твою стару, а тебя самого убьют для забавы — слышишь?! — они уже близко, готовься встречать их, не робей.)

— Ой-ой!

Из соседней комнаты выходят, становятся вдоль стены, слушая своих сыновей, женщины. Это для них я пою о безымянном пастухе, который, преодолев страх перед силой, умерил потребности алчных, сведя их к нулю, и тем самым еще раз подтвердил возможность преодоления в настоящем и в будущем.

В каком это веке было? Кто помнит?

— Ой, пастух Черной горы!

Таксист-клятвопреступник толкает меня локтем в бок. Поворачиваюсь к нему недоуменно.

— Хорошо поют, — кивает он на братьев моих. — Не мешай.

Умолкаю на мгновение, и вспоминается мне, как в детстве мы ходили после уроков к реке — пятеро друзей-одноклассников, — усаживались на берегу и пели цыплячьими голосами, вернее, учились петь:

— Ой, пастух Черной горы!

Один из нас стал военным летчиком, если вы помните.

Второй работает в Садоне на руднике.

Третий строит БАМ.

Четвертый сидит в тюрьме за махинации с сухофруктами.

А пятый — я сам:

— Ой-ой! — пою-подпеваю.

Вижу — отец головой качает: не получается, мол, у тебя, не получается...

Когда же я пел последний раз? Когда это было?

— Ой, пастух Черной горы!

К матери поворачиваюсь с надеждой, но и она хмурится,
палец ко рту прикладывает...

Умолкаю.

Я умею петь молча.

Умею петь.

Молча.

Вы слышите меня?

Сажу на крылечке, созерцаю закат. Бычок Какузо задумчиво чешет бок о ствол дикой груши.

Руслан Хадзыбатырович Тотров

ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ

Роман

Редактор В. Ягунин

Художник Р. Вейлерт

Художественный редактор В. Покусаев

Технический редактор Л. Киселева

Корректоры Т. Люборец, З. Князькова

ИБ № 1710

Сдано в набор 29.01.80. Подписано к печати 27.06.80. А09032. Формат 84×108/32. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 15,69. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1057. Цена 1 р. 10 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Отпечатано с матриц Саратовского ордена Трудового Красного Знамени полиграфического комбината Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Саратов, ул. Чернышевского, 59, на Книжной фабрике № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

Ір. ІОк.

•СОВРЕМЕННОК•